

КАК ГОСУДАРСТВО
БОГАТЕЕТ...

Дмитрий Травин

Как государство богатеет...

Путеводитель
по исторической
социологии

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА · 2022

УДК 316.94
ББК 65.9
Т65

Травин, Д. Я.

Т65 Как государство богатеет: путеводитель по исторической социологии. — Москва : Издательство Института Гайдара, 2022. — 400 с. — ISBN 978-5-93255-585-9

В этой книге Дмитрий Травин — научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге — рассказывает о важнейших научных теориях, объясняющих причины формирования современного общества. На страницах путеводителя по исторической социологии речь идет о том, почему одни страны богатые, а другие — бедные, почему в одних случаях развитие оборачивается разрушительной революцией, а в других — нет, почему демократия приходит на смену авторитарным политическим режимам, и о многих других вопросах, интересующих сегодня в России широкие круги интеллектуалов. Книга будет полезна всем читателям, желающим в простой и доступной форме получить представление о сложных научных теориях, объясняющих развитие обществ.

УДК 316.94
ББК 65.9

ISBN 978-5-93255-585-9

© Травин Д. Я., 2022
© Издательство Института Гайдара, 2022

Содержание

Предисловие	9
Глава 1. Великие расхождения	15
Как возник наш мир. <i>Ричард Лахман о том, для чего существует историческая социология</i>	15
Бандиты у истоков цивилизации. <i>Парадоксальный взгляд Франца Оппенгеймера</i>	21
Рациональный мир модерна. <i>Что же на самом деле писал Макс Вебер</i>	27
Когда Европа стала успешной. <i>Кеннет Померанц и его теория «Великого расхождения»</i>	33
Великое расхождение континентов. <i>Джаред Даймонд показывает, где было сытно с давних времен</i>	39
Теорема успешного развития. <i>По мнению Иэна Морриса, нам помогают лень, жадность и страх</i>	45
Шелковые пути человечества, или <i>История для неленивых Питера Франкопана</i>	51
Как стать богатыми и здоровыми. <i>Нил Фергюсон дает общую картину формирования цивилизации</i>	57
Глава 2. Теория модернизации	64
Как мир стал современным. <i>Толкотт Парсонс и создание теории модернизации</i>	64
Три пути в современный мир. <i>Баррингтон Мур показывает, как все на самом деле не просто</i>	70
Прекрасный модерн и ужасная модернизация. <i>Как Самюэль Хантингтон выложил всю правду-матку</i> ..	76

Откуда проистекает столкновение цивилизаций. <i>Как Самюэль Хантингтон сделал внешнеполитические выводы из своей теории</i>	83
Хотите демократии — разбогатеите! <i>Мартин Липсет о неочевидной пользе большого ВВП.</i>	89
Нужна ли России гражданская культура. <i>Габриэль Алмонд и Сидней Верба о том, что в этом вопросе всё не очевидно</i>	95
Отставать выгодно... но очень опасно. <i>Александр Гершенкрон и экономический анализ возможностей модернизации.</i>	101
Этапы больших перемен. Антикоммунистический манифест Уолта Ростоу	107
Соблазн высокой цивилизации. «Восхождение Запада» в концепции Уильяма Мак-Нила	114
Демократия как побочный продукт творчества. <i>Рональд Инглхарт о значении ценностей самовыражения в модернизации</i>	120
Глава 3. Институциональный анализ	127
Как поставить правителя под контроль. <i>Дуглас Норт с соавторами о борьбе человечества против насилия</i>	127
Славная революция и бесславные правители. <i>Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон о пользе хороших институтов</i>	133
Как при входе в коридор не разбить нос о косяк. <i>Советы Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона по построению демократии</i>	139
Свобода и защищенность. Так Запад стал богатым, по мнению Натана Розенберга и Л. Е. Бирдцелла	145
Почему так сильны «слабые» меньшинства. <i>Мансур Олсон объясняет логику коллективных действий</i>	151
Почему процветает Китай, а не Россия. <i>Неочевидный ответ Мансура Олсона</i>	158
Как бы нам стать Данией? Фрэнсис Фукуяма определяет, что нужно обществу для успеха	164
Тайное «оружие» Китая, открытое Рональдом Коузом и Нином Ваном	170
Когда мы станем жить как в Германии? Проблема отставания России в интерпретации Егора Гайдара	176

ГЛАВА 4. Что, если не институты?	183
Почему же Британия? Экономический подход Роберта Аллена	183
Кто изобрел изобретение. Теория просвещенной экономики Джозеля Мокира	189
Чье право «правее». Джек Голдстоун объясняет, почему Европа успешна	195
Как чашка кофе создала новый мир. В теории «Революции трудолюбия» Яна де Фриса	201
Плодитесь и размножайтесь. Грегори Кларк о влиянии демографии на развитие	208
Легенда о Великом протекционисте. Экономическая теория Эрика Райнерта	214
Почему у Германии получилось. Рэндалл Коллинз и роль образования в развитии общества	220
ГЛАВА 5. Вне мейнстрима.	227
«Тайное учение» австрийской школы. Фридрих фон Хайек об ошибках разума и воле случая.	227
Человечество в сетях. Бескрайний социальный мир Майкла Манна	233
Что для нас сделали римские папы. Дипак Лал о важности непреднамеренных последствий в истории	239
Имеет ли культура значение? Как Лоуренс Харрисон решает этот вопрос	245
Рождение свободы или каша из топора, сваренная Кристианом Вельцелем?	252
Гуманитарная революция. Стивен Пинкер о том, как становятся цивилизованными	258
Закат Европы 2.0? XXI век глазами Ивана Крестева	264
Надо ли нам платить долги. Теория неусердной бедности Дэвида Гребера	270
Возомнившая о себе обезьяна. «Вегетарианская» история человечества Юваля Ноя Харари.	276
ГЛАВА 6. От империй к государствам.	283
Как разрушаются империи. Падение великих держав в трактовке Пола Кеннеди	283
Почему Россия не стала Англией. Военно-налоговая теория Чарльза Тилли.	289

Как преуспеть случайно. <i>Ричард Лахман</i> <i>о возникновении капиталистов поневоле</i>	295
У каждого свой путь в Модерн. <i>Мир-система</i> <i>Иммануила Валлерстайна</i>	301
Гегемоны всемирной истории. <i>Джованни Арриги</i> <i>ищет путь к «мировому правительству»</i>	307
Государство как побочный продукт агрессии. <i>Война и мир Филипа Боббитта</i>	314
Глава 7. Революции и борьба	321
Как возникают революции. <i>Научный переворот Теды Скочпол</i>	321
Нищета как нормальное положение дел, <i>или Пять условий революции Джека Голдстоуна</i>	327
Можно ли не попасть под локомотив революции. <i>Мартин Малиа и его</i> <i>европоцентричная трактовка истории</i>	333
Сад, нефть или озеро? <i>Чарльз Тилли</i> <i>размышляет о том, что такое демократия</i>	339
Революционный экстаз. <i>Шмуэль Эйзенштадт</i> <i>и связь общественного устройства с революцией</i>	346
Кто же на самом деле сотворил революцию? <i>Крестьянство в теории Теодора Шанина</i>	352
Старой власти уже нет, а новой еще нет. <i>Революция глазами Егора Гайдара</i>	358
У революции нет цели. <i>В концепции</i> <i>Владимира Мау — это лишь механизм решения задач</i> . .	364
Революция как побочный продукт модернизации. <i>Борис Миронов о проблемах</i> <i>перехода от традиции к модерну</i>	370
Странные ошибки «специалиста» по революциям. <i>Джин Шарп и его теория</i> <i>освобождения</i>	377
Историческое счетоводство. <i>Как Вальтер Шайдель</i> <i>просчитал жизнь человечества давних веков</i>	383
Библиография	390

Предисловие

Двести лет назад Александр Сергеевич Пушкин рассказал читателям про своего героя — Евгения Онегина, который «...читал Адама Смита / И был глубокий эконо́м, / То есть умел судить о том, / Как государство богатеет, / И чем живет, и почему / Не нужно золота ему, / Когда простой продукт имеет». Шотландский мыслитель Адам Смит уже тогда считался классиком экономической науки, слава которого прошла через всю Европу, дойдя даже до России. Остался он классиком и по сей день. Значение теории Смита не вызывает сомнений, однако все чаще мы обнаруживаем, что хорошее знание экономики никак не способствует ни хорошему экономическому развитию, ни росту богатств государства и населения.

За двести лет, прошедших с пушкинских времен, часто так бывало, что по какой-то причине вполне образованные правители той или иной страны на деле применяли совсем не те методы, которые считали нужным применить очень хорошо образованные экономисты. Правители при этом жили весьма неплохо. Друзья их тоже не бедствовали. Деловая элита более-менее приспособлялась к ситуации. А вот к остальной части населения экономика поворачивалась задом.

Другая печальная история связана уже не с правителями и их друзьями, а с этой самой «остальной частью населения». Часто случалось, что, несмотря на хороший рост валового продукта и успех,

демонстрируемый многими другими экономическими показателями, в той или иной стране возникала вдруг революция. Значительная часть народа высказывала недовольство тем, как страна управлялась, хотя, кажется, жизнь людей становилась лучше, чем жизнь их отцов и дедов. А по итогам революции все вдруг начинали жить хуже: от старых правителей (если, конечно, их вообще оставляли в живых) до рядовых граждан. Лишь новые правители, поднявшиеся на революционной волне, часто преуспевали в подобной ситуации.

Правители и революционеры по разным причинам не обращают внимания на то, как государство богатеет с точки зрения последователей Адама Смита. Но сближает их общее стремление добиваться каких-то иных целей, нежели экономическое развитие страны. Поэтому и мы должны сегодня разобраться не только в том, что говорят о развитии экономисты, но также в том, как объясняют поведение правителей политологи, как объясняют поведение широких народных масс социологи и, наконец, в том, как ученые разных направлений понимают общую логику развития общества.

Сам я первую половину своей жизни был «экономом». Не таким, может, глубоким, как Евгений Онегин, но все же разбирающимся в том, как государство богатеет согласно учению Адама Смита. Но во второй половине жизни занялся иной наукой — исторической социологией, в которой надеялся найти ответ на вопрос, почему «экономы» не могут объяснить нам многие возникающие в ходе развития общества проблемы. Ответ на вопрос, что такое историческая социология, будет чуть дальше, а пока я объясню другую не вполне понятную часть названия этой книги. Она представляет собой не научную монографию и не учебник для студентов, а нечто напоминающее именно путеводитель. Причем путеводитель для русскоязычного читателя, желающего за небольшой про-

межуток времени получить максимум информации на родном языке об интересующих его достопримечательностях.

Путеводитель — это первое, что попадает в руки пытливому путешественнику. Держа его в руках, он движется от одной достопримечательности к другой, постепенно формируя собственное мнение и обращаясь в дальнейшем за разъяснениями к дополнительной литературе. Похожую на путеводитель книгу получает сейчас читатель, желающий разобраться в том, как государство богатеет. Я постарался здесь дать краткий обзор максимально возможного числа интересных научных книг по исторической социологии, существующих в настоящее время на русском языке. Как хороших, так и тех, что дают с моей точки зрения плохие ответы на важнейшие вопросы, но по какой-то причине стали весьма популярными. Ознакомившись с моим путеводителем, читатель сможет сам разобраться в том, что из предложенного набора стоит внимательно прочесть, а чем можно и пренебречь. При этом тот, кто пожелает двинуться дальше в научном поиске и по-настоящему профессионально изучить интересующий его вопрос, имеет возможность определить круг необходимого чтения по библиографиям книг, которые я здесь обзреваю.

Случается порой так, что, взяв в руки некий путеводитель, читатель с удивлением обнаруживает, что в той стране, которой посвящена эта книга, есть множество интересных мест, про которые не знают широкие массы туристов. Мне кажется, что с исторической социологией обстоятельства складываются похожим образом. В России часто даже не представляют, как много серьезных исследований сделали в этой области знаний зарубежные авторы. В России плохо понимают, насколько утвердилась на Западе та наука, которую у нас порой принимают за публицистику из-за ее «всеохватности». Надеюсь, мой путеводитель, затраги-

вающий лишь видимую русскоязычному читателю верхушку айсберга, поможет скорректировать сложившиеся представления и отнестись к науке именно как к науке.

Путеводитель ни в коей мере не является заменителем путешествия. Он бывает полезен только в том случае, если вы лично странствуете, держа его в руках. Путеводитель краток. Он неизбежно многое упрощает, а кое-что, увы, и искажает. Хотя в этой работе я старался по мере сил искажений избежать, в полной мере добиться такого результата, скорее всего, не удалось. Поэтому тот, кто, опираясь на мою работу, захочет вообще избежать дальнейшего чтения классиков, совершит ошибку. Нельзя сказать, что вы знаете Париж или Рим, если только почитали об этих городах, но не приехали туда лично. И точно так же нельзя сказать, что вы знаете Дугласа Норта или Иммануила Валлерстайна, если взглянули на их труды лишь через путеводитель по исторической социологии.

Путеводитель — это не научная монография, поскольку дает общий обзор интересующей нас проблематики, а не погружается глубоко в отдельную проблему. Путеводитель — это и не учебник, поскольку содержит не последовательное изложение проблем как таковых, а рассказ о достопримечательностях (важнейших книгах), встречающихся на нашем пути в исторической социологии. При этом путеводитель, хотя направлен, скорее, вширь, чем вглубь, может дать обзор лишь определенного ограниченного объема литературы. В данном случае я постарался включить в свой анализ подавляющее большинство важных книг, вышедших на русском языке и, значит, доступных широкому кругу интересующихся данной проблемой читателей, но сознательно не стал затрагивать те работы, которые не переведены и, следовательно, малодоступны. Ссылки на некоторые такие исследования зарубежных авторов читатель может при желании найти

в тех моих книгах, которые представляют не путеводитель, а научную монографию.

У этого путеводителя не длинная, но важная история. Примерно пять лет назад я решил написать серию очерков о книгах по исторической социологии и предложил ее для публикации замечательному интернет-изданию *Economy Times*, которое, с одной стороны, ориентировано на широкого читателя, интересующегося социальными науками, а с другой — позволяет своим авторам писать серьезные тексты, не гонясь за дешевой популярностью. Тем не менее мне поначалу представлялось, что редакция примет к публикации лишь десяток-другой текстов, а затем попросит перейти на иные темы. Но, к моему удивлению, интерес *Economy Times* сохранялся долго, и я в общей сложности опубликовал там более полусотни статей, которые в сильно доработанном виде и составили сейчас эту книгу. Я от всей души благодарю руководство издания и особенно Андрея Колесникова за такую поддержку моей инициативы. Без его доброжелательного отношения и дружеского содействия эта книга, наверное, не была бы написана, поскольку возможность быстро знакомить читателя с новыми текстами сильно стимулировала меня к столь необычной работе, как написание путеводителя по исторической социологии.

В наименьшей степени я благодарен Валерию Анашвили за возможность публикации этой книги в Издательстве Института Гайдара и за то множество переводов важнейших зарубежных работ по исторической социологии, которое он организовал в различных научных издательствах нашей страны. Российский читатель даже не представляет себе, сколь многим он обязан Валерию. Бесспорно, и мои знания в данной области были бы намного меньше, если бы я не имел возможности за последние десять-пятнадцать лет обращаться к изданиям, выполненным под руководством Анашвили.

С удивительным чутьем и упорством он поставлял на российский книжный рынок именно те новинки, которые позволяли нам следить за важнейшими достижениями зарубежной исторической социологии.

Я должен, конечно, выразить признательность и моему петербургскому коллеге, профессору НИУ ВШЭ Андрею Заостровцеву, который еще в 2014 году опубликовал недооцененную, к сожалению, книгу «О развитии и отсталости: как экономисты объясняют историю?». Мы с ним неоднократно обсуждали эту работу, и, хотя я во многом гляжу иначе на объяснение истории, да к тому же привлек для своего анализа значительно больше авторов, чем Андрей, мой интерес к исторической социологии, бесспорно, пробуждался во время этих обсуждений.

Наконец, я хочу поблагодарить Отара Маргания, президента Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге (М-центра), и Владимира Гельмана, исполнительного директора М-центра, за возможность много лет заниматься моей любимой наукой. Отар создал М-центр и предоставил его сотрудникам максимальную свободу, а Владимир взял на себя все организационные хлопоты. Таким образом, при работе над этой книгой, как и при работе над другими исследованиями, я имел возможность полностью погружаться в интересующую меня проблематику, не отвлекаясь на другие дела.

И последнее. В путеводителе я лишь анализирую чужие теории, но не излагаю своих взглядов на модернизацию общества. Тот, кто захочет с ними познакомиться, может обратиться к другим моим книгам [Травин, Маргания 2004; Травин, Гельман, Заостровцев 2017; Травин 2018, 2019, 2020, 2021].

Великие расхождения

Как возник наш мир

*Ричард Лахман о том, для чего существует
историческая социология*

ПОЧЕМУ Россия отстала? Можем ли мы включиться в догоняющую модернизацию или это отставание навсегда? Преодолимо ли наше имперское наследие? Могут ли случиться новые революции и не опасно ли в этой связи «раскачивать лодку»? Зависит ли развитие от культуры, от институтов, от исторического пути, от наших географических, биологических особенностей или только от реформаторов?

Подобные вопросы не обсуждает только ленивый. Но при этом в российской науке сегодня существует явный перекося. Серьезные, профессиональные исследования этих проблем осуществляются редко. В науке они являются скорее исключением, чем правилом. Или, точнее, подобные исследования иногда становятся побочным продуктом научных работ историков, экономистов, социологов и политологов, но углубляются специалисты в эти «вечные» вопросы как-то стыдливо. Боясь, по всей видимости, что коллеги упрекнут их в намерении объять необъятное.

Тем не менее, поскольку проблемы существуют реально и становятся, увы, с каждым годом все актуальнее, они все равно широко обсуждаются, но отдаются при этом на откуп дилетантам. Специалист, опасющийся, что у него недостаточно фактов для широко-

масштабного междисциплинарного исследования, добровольно уступает место писателю, кинорежиссеру или философствующему политику, которые вообще фактов не знают и знать, в общем-то, не хотят. Благодаря своему звучному имени они просто навязывают обществу концепции, которые даже научной фантастикой назвать трудно в связи с полным отсутствием в них признаков научности.

А тем временем наука, изучающая «вечные российские вопросы», существует и активно развивается за рубежом. Называется она историческая социология. То есть та социология, которая не играет в циферки безумно популярных у нас массовых опросов, а стремится делать выводы о развитии общества на основе комплексного анализа «долгого времени». И начать наш путеводитель по исторической социологии логично было бы с книги, рассказывающей об этой науке в целом: Ричард Лахман. Что такое историческая социология? М.: Дело, 2016. Известный американский социолог в этой небольшой книжке формулирует основные проблемы, стоящие перед исторической социологией, и показывает нам в общих чертах, как их решают сегодня западные ученые.

Почему не социология и не история

Надо заметить, что Лахман весьма иронично относится к тому, во что превратилась за последнее время обычная социология, зарождавшаяся когда-то как историческая дисциплина.

Сперва мы рождаемся, и легионы демографов объясняют, почему нашим матерям в этот момент было 26,2, а не 25,8 лет. Мы узнаем о сексе и вступаем в половую жизнь, и тут являются социологи, чья память постоянно воскрешает их подростковые годы и которые занимаются исследованием вопросов потери девственности

или каминг-аута гомосексуалов. Во взрослом возрасте нас ждут криминологи, чтобы поведать нам, кто из молодых обитателей гетто обчистит нас на улице, а кто станет «ботаником» в своей захудалой городской школе. Социологи медицины расскажут нам, почему на старости лет нас будут пичкать избыточным количеством лекарств и выставлять чрезмерные счета. В большинстве своем эта исследовательская деятельность аисторична и не предполагает использования сравнительных методов, сосредотачиваясь на последних пяти минутах жизни в Соединенных Штатах [Лахман 2016: 17–18].

Про последние пять минут жизни в России можно сказать, наверное, то же самое. Сегодня мы получаем все больше узкоспециализированной информации о нашей стране, но по-прежнему блуждаем в потемках при попытке понять суть того исторического пути России, который привел нас через века именно в такое общество.

Иронию Лахмана (наряду с моим дополнением) не следует воспринимать как отрицание важности исследований этих пяти минут, но, скорее, как предостережение от ухода в крайность. Грустно, когда целая наука занимается вопросом, при каких обстоятельствах грабят на улице отдельного человека, игнорируя вопрос, при каких обстоятельствах происходят революции, разоряющие целое общество. Более того, западные ученые, в принципе, могут, наверное, позволить себе игнорировать подобные проблемы, поскольку перед их странами они — вроде бы — уже не стоят. Но игнорирование исторической социологии, или по крайней мере малый интерес к ней, в российской науке выглядит весьма странно, если принять во внимание, что вопрос об опасности «цветных революций» различные политические силы трактуют сегодня в свою пользу, практически не ссылаясь ни на какие серьезные исследования.

Но, может быть, историческая социология лишь дублирует то, чем занимаются историки, а потому в ней нет особой потребности? С точки зрения Лахмана, история и историческая социология — это разные (хотя и сближающиеся) науки. Для историков каждое событие конкретно. Это определяется тем, как их готовят к научной работе в молодости и тем, как они привыкли вести свои исследования. У историков нет привычки работать с общими понятиями. Например, Французская революция для них уже тем отличается от Китайской, что произошла в другой стране и в другую эпоху [Там же: 24–25]. Историк легко приведет множество различий между революциями, сочтет, что все обобщения поверхностны и что они ведут не к научным исследованиям иного рода, а к публицистике. То, что для специалиста в области исторической социологии является попыткой ответить на актуальные вопросы, волнующие общество, для историка оказывается недопустимым упрощением проблемы. Естественно, историк может отойти от своей «конкретики» и погрузиться в историческую социологию, если заинтересуется соответствующими вопросами (и таких случаев трансформации научных интересов немало), но тогда ему придется использовать непривычные методы работы и, возможно, терпеть косые взгляды некоторых коллег.

От себя добавлю, что подобные проблемы испытывают и экономисты, если вдруг погружаются в историческую социологию, пройдя через экономическую историю. В такого рода исследованиях невелико значение математики, которой современная экономическая наука уделяет большое внимание. Экономист скептически смотрит на то, что не удастся математизировать. Историческая социология для него слишком описательна. Но она не может быть иной, хотя бы по той простой причине, что в давние времена не имелось статистики,

которая позволяет сегодня осуществлять расчеты, а косвенные количественные оценки минувших веков слишком неточны.

Долгий путь научного поиска

Историческая социология охватывает различные проблемы, но, думается, в ней существует внутренняя логика. Начинается все с вопроса о том, как и почему в мире вдруг возникает капитализм? Или конкретнее: существуют ли общие условия для возникновения рынка и демократии или у отдельных стран и цивилизаций — своя судьба? Нам трудно понять то, что происходит в России со времени Великих реформ императора Александра II, если мы не изучим, как шла модернизация в Англии, Франции, Германии или Испании. Поверхностный взгляд на проблему состоит в том, что на Западе рынок и свобода существовали всегда. А серьезный анализ со стороны исторической социологии позволяет понять, что же реально способствовало развитию тех стран, которые когда-то были не более развитыми, чем Россия.

Но вот, допустим, изучили мы возникновение капитализма. Однако нам ведь не все равно, возникает ли он сравнительно гладко, как в скандинавских странах, или же в череде кровавых революций, как во Франции. А вот другой аспект данной проблемы: наблюдается ли в ходе революций явное движение вперед, как в Англии XVII века, или раздираемая противоречиями страна кружит на месте, как, скажем, Испания XIX столетия. В России часто спорят о том, стала ли наша революция 1917 года следствием общей неразвитости общества, заговора темных сил или же противоречий, возникших в ходе модернизации? Но те же самые вопросы обсуждались раньше и применительно к революциям, случившимся в других странах. Сравнительный анализ мирового опыта позволяет понять суть отечественных проблем.

Если в ходе революции происходит распад государства, то появляется вопрос о том, как возникает это государство и почему долгое время оно остается устойчивым, но вдруг рассыпается при определенных обстоятельствах. При прояснении данного вопроса мы можем обнаружить, что за самим словом «государство» в разных случаях кроются разные институты. Одно дело — империя. Другое дело — современное национальное государство, возникающее часто на развалинах старых империй. И вот выходит так, что для понимания возможностей мягкого развития капитализма (без революций и гражданских войн) мы должны обратиться к анализу долгой истории государственного строительства.

А обнаруживая, насколько связаны в процессе модернизации рынок, капитализм, революции и государство, мы сталкиваемся с почти неразрешимой в нашей стране научной проблемой. Рынок как таковой изучают экономисты. Капитализм как систему — социологи. Государство и революции — политологи. Сферы исследований жестко разделены. Но при анализе модернизации обособить их невозможно. Узкий характер исследований скорее исказит анализ, чем позволит получить научные результаты. И вновь получается, что без исторической социологии нам не обойтись.

Причины интересующих нас исторических перемен часто бывают сильно удалены от них как во времени, так и в пространстве. Например, успешные экономические преобразования последних столетий могут сильно зависеть от тех политических событий, которые происходили еще в Средние века. Причем совсем не от тех, которые бросаются в глаза при изучении школьного курса истории. Революции Нового времени могут не иметь прямой связи с крестьянскими восстаниями далекого прошлого, но определяться недавними экономическими сдвигами, международной обстановкой, распространением неортодоксальных идей и т.д. Распад

империй может определяться не тем, что творится в центре, в непосредственном окружении императора, а теми колоссальными, но не слишком заметными изменениями, что происходят на имперских окраинах, где формируются нации. Путь научного поиска, связывающий причины и следствия, долг и нелегок. «Задача сравнительной исторической социологии состоит в том, чтобы проследовать этим путем» [Там же: 217]. Этим мы сейчас и займемся с помощью десятков выдающихся авторов.

Бандиты у истоков цивилизации

Парадоксальный взгляд Франца Оппенгеймера

Книга немецкого профессора-социолога первой половины XX века Франца Оппенгеймера «Государство» (М.: RUSTATE.ORG, 2020) может шокировать человека, сформировавшегося в СССР или в современной России. Нас ведь всегда учили, что государство — это хорошо. Ну, пусть не всегда и не во всем оно идеально, если уж быть точным. В советской системе считалось, что феодальное или буржуазное государство обслуживает интересы господствующего класса и лишь государство социалистическое в полной мере стоит на страже интересов каждого человека. Но сегодня, когда социальный строй у нас вполне буржуазный, идеология откровенно стала государственным делом. Всякое потрясение государственных основ опасно, уверяют нас идеологи. Распад государства — это хаос, это угроза революции, угроза стабильности и процветанию. Такие строители государства российского, как Владимир Святой, Александр Невский, Петр Великий и даже наш «дорогой товарищ Сталин» возносятся на пьедестал. Именно эти исторические персонажи рассматриваются как главные герои, обеспечившие нашей стране правильную веру, победоносную армию и неуклонное расширение государственных границ.

Отнимать и делить

И что же мы узнаем теперь из книги Оппенгеймера? Мы узнаем, что государство, оказывается, в далеком прошлом формировалось вовсе не ради стабильности и процветания народов, а для того, чтобы всевозможным бандитам тех давних времен (пусть даже они мягко именуются кочевниками) проще было грабить трудящееся население. Мы узнаем, что для человека существует лишь два способа обретения благосостояния. Первый — это трудиться, зарабатывать, копить, обретать собственность... Второй — это отнимать то, что заработано у честных тружеников. Первый способ можно назвать экономическим, второй — политическим [Оппенгеймер 2020: 76–77]. Именно для второго способа обретения благосостояния и существует с незапамятных времен государство. Причем в отличие от марксистов Оппенгеймер дает понять, что оно не является просто инструментом господствующего класса, с помощью которого эксплуататоры эксплуатируют трудящихся. Государство опасно как для трудящихся, так и для собственников, инвестирующих капиталы в производство. Поскольку люди, стоящие за государством, могут отнимать всё у всех. Они являются грабителями по отношению к обществу в целом. Причем, наверное, даже в большей степени по отношению к имущим слоям населения. Ведь у тех можно больше отнять денег и собственности, чем у слоев неимущих, которым, как уверяли в свое время Маркс с Энгельсом, нечего терять, кроме своих цепей.

Отнимать можно по-разному. В давние-давние времена кочевники своими набегами полностью уничтожали имущество оседлых производителей. Грабили, что могли... А что не могли, сжигали и разрушали. Часть награбленного продавали для того, чтобы купить еды, коней и оружия, становясь таким образом еще сильнее и возобновляя

грабительские набеги ради получения новых денег и нового имущества для продажи.

Но во времена просто давние грабители стали превращаться в государственников, которые вместо того, чтобы уничтожать всё на своем пути, уничтожали лишь малую долю, а остальное сохраняли, предоставляя побежденным народам возможность трудиться и платить дань своим господам [Там же: 84–89].

Наконец, во времена сравнительно не столь уж давние труженики, торговцы и организаторы производства настолько привыкли к постоянному взиманию с них налогов, что даже перестали рассматривать государство в качестве разбойника, отнимающего их деньги, и сами (добровольно) стали платить налоги, полагая, будто эти платежи идут на их же собственные нужды: на обеспечение стабильности и процветания, на поддержку малоимущих, на охрану рубежей от врагов, мечтающих захватить нашу богатую и обильную родину [Там же: 104].

Выигравшие и проигравшие

Конечно, нельзя говорить сегодня, будто государство — это абсолютное зло, будто оно лишь грабит население страны, не давая ему ничего взамен. Некоторые группы населения от государственной деятельности даже выигрывают: для них бюджетные поступления превышают налоги. Но при этом другие группы проигрывают: они отдают государству значительно больше, чем сами от него получают. А иногда они не получают практически ничего, отдавая при этом в виде налогов довольно большую долю своих доходов. При этом риторика государственных деятелей часто такова, что, послушав их, можно подумать, будто бы даже эти проигрывающие группы населения кормятся за счет государства.

Раскрывая историю происхождения государства от бандитских набегов на древние цивилизации, Оппенгеймер существенным образом смещает акценты в наших представлениях о соотношении власти и общества. Можно даже сказать, пользуясь любимым образом некоторых классиков марксизма, что он ставит эти представления с головы на ноги. Он помогает увидеть государство таким, какое оно есть.

Нормальное мышление для человека, проникшегося государственной идеологией, таково: государство — это благо, но есть пока в его деятельности еще отдельные недостатки, связанные с недобросовестными чиновниками. Поэтому человек ищет хороших чиновников, а не найдя таковых, уповает на «доброго царя», способного навести порядок в стране. Представление, будто бы «добрый царь» сам является создателем системы, из которой прут сплошные недостатки, а благ почти не видно, пугает такого человека и заставляет принимать защитную стойку.

Нормальное мышление для человека, прочитавшего книгу Оппенгеймера, будет совсем иным: государство работает на себя, «государевы люди» чтут прежде всего свои собственные интересы; и лишь в той мере, в какой они вынуждены считаться с давлением общества, эти «государевы люди» будут возвращать обществу часть средств, забранных у него через налоги. В давние времена никакой возможности выразить свои интересы у общества не имелось. Но в конституционном государстве ситуация становится иной. Можно не уповать на «доброго царя». Можно добиться перемен, загоняя государство в угол, где ему и следует сидеть.

Человек, проникшийся государственной идеологией, выглядит просителем перед властями. И он рад, если хоть что-то удастся у государства добыть: маленькую пенсию, бесплатный прием у терапевта, скидку с коммунальных платежей. Человек, прочитавший Франца Оппенгеймера, будет размыш-

лять по-другому: государственные служащие живут на налоги, которые мы платим, а потому они достойны что-то получать лишь в том случае, если эффективно распоряжаются нашими бюджетными средствами. Не работают нормально — пусть вымечаются.

У истоков исторической социологии

Думается, что постановка проблемы государства Францем Оппенгеймером закладывает основы подавляющего большинства современных исследований в области исторической социологии. Методология этого автора помогает понять, почему одни страны богатые, а другие бедные, почему разного рода революционеры так стремятся переустроить мир на свой лад и почему в результате их упорной «созидательной» деятельности бедствия народов столь часто усиливаются. Оппенгеймер, конечно, не мог сто с лишним лет назад сам проанализировать всё, что нас ныне волнует. Но он предложил схему, в которую вписываются многие современные размышления о соотношении насилия и созидания. Нынешняя историческая социология наполняет конкретным содержанием давние размышления немецкого профессора, предлагая для анализа значительно больше фактов, чем собрано в сравнительно тонкой книжке Оппенгеймера. Если в начале XX века эта работа могла затеряться на фоне популярных марксистских изысканий, то ныне самое время читать не «Манифест Коммунистической партии», а «Государство».

Вопрос о происхождении государства чрезвычайно важен. Его изучение сильно прочищает нам мозги. Мы постепенно начинаем разбираться в том, что здесь главное, а что случайное. Мы начинаем понимать, в чем состоит основная деятельность государства, а в чем — побочная. Более того, серьезный анализ истории камня на камне не оставляет от популярных ныне в России представлений, буд-

то существуют «правильные» и «неправильные» народы, то есть такие народы, которые всегда хорошо развиваются, контролируя свое государство с помощью демократических механизмов, и такие — которые стоят на месте, поскольку государство у них хищническое. «Гипотеза об одаренности какой-либо конкретной расы, — справедливо отмечает Франц Оппенгеймер, — не использовалась нами, и мы в ней не нуждаемся. Как говорил Герберт Спенсер, это самая глупая, из всех мыслимых попыток, попытка построить философию истории» [Там же: 201].

Подобное утверждение очень важно для сегодняшней России, где все больше людей, понимающих, что так дальше нельзя жить, впадает в апатию и приходит к мысли, будто бы наш народ вообще «не одарен» ни экономически, ни политически. Изучение книги Оппенгеймера показывает, что проблемы-то — совсем в другом.

Не следует, конечно, идеализировать автора. Наверняка, многие читатели найдут в этой книге положения, кажущиеся сомнительными. Мне, например, сомнительным показался тезис, что поскольку в перспективе «государство останется без классов и классовых интересов, то бюрократия будущего действительно сможет достичь того идеала беспристрастного блюстителя всеобщих интересов, к которому в настоящее время она с таким трудом упорно стремится. „Государством“ будущего будет „общество“, регулируемое самоуправлением» [Там же: 233–234]. Думается, что Оппенгеймер здесь идеализировал бюрократию и слишком оптимистично исключал из анализа будущего различные групповые интересы, которые станут влиять на ее поведение. Возможно, ему хотелось, чтобы в конечном счете отмерло государство с его многочисленными негативными чертами. Однако подобные ожидания в свете наших сегодняшних знаний о развитии общества выглядят не слишком реалистично.

Впрочем, Оппенгеймер ценен не ошибками в предсказании будущего, которое нам всегда хочется видеть лучшим, чем на самом деле, а профессиональным анализом прошлого, помогающим понять мироустройство. И еще он ценен тем, что был хорошим учителем. Людвиг Эрхард — один из самых ярких экономистов-реформаторов истории Европы — учился именно у Оппенгеймера. Два нестандартных мыслителя нашли друг друга и создали весьма плодотворный союз. Так что нынешняя развитая германская экономика — детище профессора Эрхарда — во многом обязана и профессору Оппенгеймеру.

Рациональный мир модерна

Что же на самом деле писал Макс Вебер

Трудно выделить группу классиков, заложивших основы современной исторической социологии. Левые ученые разойдутся во взглядах с правыми, кого считать «отцами-основателями». А европейцы могут не согласиться в этом вопросе с американцами. Однако, скорее всего, подавляющее большинство все же сойдется в том, что важнейшей фигурой для нас является немецкий социолог Макс Вебер с его книгой «Хозяйство и общество» в 4 томах; М.: Изд. дом ВШЭ, 2016–2019).

Наверное, большинство образованных людей слышали это имя, даже если не сталкивались с социологией напрямую. Но среди тех, кто слышал, Вебер слывет, в первую очередь, автором книги «Протестантская этика и дух капитализма» (Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990). Ключевые положения «Хозяйства и общества» часто приписываются «Протестантской этике...», поэтому современный «массовый Вебер» весь состоит из ошибок восприятия, в которых надо разобраться, прежде чем выделить то главное, на чем основана историческая социология.

Этика и дух

Важнейшая проблема Вебера состоит в том, что он дал своей знаменитой книге несколько эпатажное название, которое и по сей день привлекает к ней внимание широкой публики, но в то же время вызывает критику со стороны большого числа тех, кто кроме названия ничего не прочел, а иногда довольствуется слухами о том, что якобы написано в этой книге. Подобная судьба часто постигает авторов удачных названий. В последние десятилетия много нелепостей говорилось о книгах Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» и даже Томаса Пикетти «Капитал в XXI веке». Их критики порой полагают, будто Фукуяма утверждал, что мир перестал развиваться, Хантингтон призывал мочить другие цивилизации, а Пикетти является ортодоксальным марксистом. Но мы сейчас об этих авторах говорить не будем: вернемся к Веберу.

Выделим несколько ключевых пунктов критики со стороны людей, не читавших «Протестантскую этику...». Как ни странно, именно на эту критику приходится обращать больше всего внимания, поскольку она всегда на слуху даже в научных кругах, тогда как настоящие дискуссии привлекают внимание лишь узкого круга.

Чаще всего Веберу достается за то, что он якобы выводил возникновение капитализма *только* из протестантизма. Но на самом деле он специально написал:

мы ни в коей степени не склонны защищать столь нелепый доктринерский тезис, будто «капиталистический дух» <...> мог возникнуть только в результате влияния определенных сторон Реформации, будто капитализм как хозяйственная система является продуктом Реформации. <...> Мы стремимся установить лишь следующее:

играло ли *также* и религиозное влияние — и в какой степени — определенную роль в качественном формировании и количественной экспансии «капиталистического духа» и какие конкретные стороны сложившейся на капиталистической основе культуры восходят к этому религиозному влиянию [Вебер 1990: 106].

Иногда Вебера критикуют за то, что он якобы «не увидел» капитализма в католическом обществе XII–XV веков. Однако на самом деле он был прекрасно образован и, конечно, писал в своих книгах об этом обществе, о его успехах в экономике. А тезис о роли протестантской этики состоит совершенно в другом. Дело в том, что рыночное хозяйство (и особенно взимание процентов по ссудам) в ранней католической Европе, да и вообще во всех этических учениях докапиталистической эпохи, просто «терпели, рассматривая либо как этически индифферентное явление, либо как печальный, но, к сожалению, неизбежный факт» [Там же: 79]. Неудивительно, что уважающий себя человек часто хотел уйти из бизнеса, вложив заработанные там деньги в землю и титулы. Значение протестантской этики, появившейся в XVI столетии, состоит в том, что ее приверженцы оказались воодушевлены своей верой в Бога не на уход от мира (как католические монахи) и не приобретение титулов (как знать), а на достижение успеха в будничной жизни — в труде и предпринимательстве.

Как ни странно, у Вебера есть немало поклонников, не читавших его знаменитой книги. Они, в отличие от критиков, очень любят говорить, что настоящий успех в экономике возможен только у протестантов, а потому Россия, в частности, всегда будет отсталой. Но на самом деле уже в эпоху Вебера (а ныне тем более) всякая связь между протестантской этикой и духом капитализма была утрачена, о чем сам автор прямо написал: «капиталисти-

ческое хозяйство не нуждается более в санкции того или иного религиозного учения» [Там же: 91]. И действительно, мы сегодня видим, что европейские католические страны в среднем достигли того же уровня развития, какого достигли и протестантские, что лидерами экономического роста стали восточные государства, среди которых лишь в Южной Корее силен протестантизм, и что православные люди вполне могут быть хорошими предпринимателями и работниками, если им не мешает власть.

Название книги Вебера не только эпатажное, но и не вполне точное по отношению к собственному содержанию. Это порой трудно заметить даже тому, кто ее читает. Автор проводит по ряду пунктов принципиальное различие между лютеранской и кальвинистской этикой. Связь между религиозной жизнью и земной деятельностью, согласно Веберу, близка у католиков и лютеран, но совершенно отлична у кальвинистов. Поэтому книга, по сути дела, прослеживает связь между кальвинистской этикой и духом капитализма. Ошибается тот, кто сегодня выводит экономические успехи скандинавских стран, государств Балтии (Эстонии, Латвии) или восточногерманских земель из теории Вебера. Она, скорее, относится к некоторой части голландцев, англичан и швейцарцев, а также к значительной части переселенцев, уехавших из Европы в Америку в поисках места для свободного исповедания истинной веры — так называемого града на Холме.

Творчество и смерть

Таким образом, в «Протестантской этике» Вебер решал «частный вопрос», который из-за плохого знания наследия классика стал в глазах многих людей основным. А если попытаться выразить одним словом то, чем Вебер действительно занимался всю свою жизнь (и что проходит красной нитью по большей части его трудов), так это про-

блема рационализации человеческой деятельности. О рационализации немало сказано и в «Протестантской этике», но в основном она исследуется в «Хозяйстве и обществе». Эта книга совсем не эпатажная. Более того, к сожалению, она почти не пригодна для массового просвещения. Она составлена после ранней смерти Вебера из целого ряда его неопубликованных текстов.

Вебер писал как будто бы для самого себя, а не для читателя (возможно, именно так и было!), а потому не выделял главное. Главное ведь всегда находится в голове у автора и не требует дополнительной фиксации, а на бумагу ложатся лишь размышления, которые ему хочется зафиксировать, структурировать и хорошенько проанализировать. Трудно представить, когда тебе немногим за пятьдесят, что жизнь скоро кончится и надо успеть подвести ее итоги. Кажется, будто время еще есть и можно прочесть еще десяток-другой книг, тщательно продумывая все свои мысли. Кажется, что можно отложить еще на годик-другой подготовку того окончательно-го текста, который будет хорошо понятен читателю. Но тут приходит смерть и человечество получает лишь тексты, написанные до нее. Да и то если кто-то из близких соберется подготовить их к печати.

Поэтому «Хозяйство и общество» нужно уметь читать. Скажем, в четвертом томе российского издания содержится истинная классика — социология господства, откуда идут все наши представления о власти и легитимности. Здесь же — блестящий очерк о том, что такое западный город и почему он столь много дал человечеству. А вот в первом томе не меньше половины объема занимает конспект авторских мыслей об экономике, из которых разве что специалист сможет нечто полезное для себя извлечь. Во втором томе доминирует социология религий, демонстрирующая феноменальную эрудицию Вебера: читаешь ее и чуть не плачешь, поскольку хочется больше фактов, примеров,

пояснений. А в третьем томе — социология права, изложенная автором, по всей видимости для себя, причем столь хаотично, что, по словам одного американского правоведа, это лишь «гигантская куча-мала из идей и наблюдений <...> все свалено вместе на случайный манер так, что читатель переходит от одной темы к другой, с одного уровня обобщения на другой, даже не совсем понимая, есть ли связь между ними» [Вебер 2018, т. 3: 12].

Подвиг вдовы

Впрочем, если предельно просто изложить суть идеи Вебера, то она такова. Наш современный мир возник из мира традиционного. Почему? У разных авторов есть много разных концепций, но Вебер полагает, что именно благодаря рационализации.

В силу различных причин люди в какой-то момент начинают действовать не по традиции, а по зрелом размышлении. Так возникает предпринимательство. Так возникает и бюрократия. Так возникает даже Церковь, если под ней понимать организацию, а не харизматичных, полубезумных проповедников. По сути дела, именно от концепции рационализации Макса Вебера происходит современная теория модернизации. В отличие от разного рода теорий, стремящихся убедить нас в зависимости развития от культуры того или иного народа, теория модернизации показывает, что в основе преобразований лежит свойственное любому человеческому обществу стремление поступать рационально.

Интересно наблюдать, как в «Хозяйстве и обществе», где нет даже специального раздела о рациональности, это понятие всплывает на каждом шагу, постоянно вылезает из любого рассуждения, просачивается сквозь строки, посвященные, казалось бы, чему-то совершенно иному. Возможно, проживи Макс Вебер еще десяток-другой лет, наука имела бы

сегодня абсолютно рационально выстроенную книгу о рациональности. Но жизнь не всегда рациональна. Вебер умер в 56 лет от воспаления легких в тот год, когда по всей Европе бушевала «испанка».

Его творческое наследие нам подарила вдова — Марианна Вебер. Она прошла с ним долгий жизненный путь, была рядом в период тяжелейшего психического срыва, поразившего Макса в еще сравнительно молодом возрасте, когда блестящий мыслитель годами не мог ни мыслить, ни писать, ни выступить с лекциями. Она выволакивала его из этого кризиса, как могла, ставила на ноги, возвращала науке и очень мало за это требовала [Вебер 2007]. А когда он умер, выполнила с лихвой все то, что он мог бы с того света потребовать от нее.

Когда Европа стала успешной

*Кеннет Померанц и его теория
«Великого расхождения»*

Хотя историческая социология началась, конечно, не с книги американского историка Кеннета Померанца «Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой экономики» (М.: Дело, 2017), ее название фактически обозначило одну из ключевых проблем науки, существовавшую задолго до 2000 года — года, когда это исследование впервые вышло в свет на английском языке. Суть проблемы в том, почему уровень развития экономики и уровень жизни на Западе оказался с определенного времени значительно выше, чем на Востоке и на Юге.

Роковой XVIII век

По сути дела, именно загадку Великого расхождения между успешной Европой с одной стороны и отставшими от нее знаменитыми цивилизациями

прошлого с другой мы пытаемся сегодня решить в первую очередь. Для того, в частности, чтобы понять, имеет ли отставание России неустранимые культурные причины или связано лишь со спецификой нашего сложного исторического пути.

Проще всего было бы решить загадку, утверждая, будто Европа постоянно была впереди планеты всей. За счет афинской демократии, столь контрастирующей с восточным деспотизмом. За счет английской Великой хартии вольностей, наделившей народ правами. За счет римского права, обеспечивающего Западу частную собственность в отличие от Востока, где тысячелетиями царила патримониальная система, отдающая тиранам безграничную власть над имуществом подданных. Такого рода истолкования часто встречаются даже в научной литературе. Но как многие простые объяснения сложных проблем, они неверны.

Заслуга Кеннета Померанца, долгое время профессионально изучавшего Китай, состоит в том, что он сумел четко определить реальный исторический период, когда произошло великое расхождение. Это отнюдь не глубокая древность. И даже не эпоха великих географических открытий, когда европейцы за счет использования огнестрельного оружия уже могли одерживать победы над представителями иных цивилизаций. Это — середина XVIII века [Померанц 2017: 12]. Лишь 250–300 лет назад отдельные европейские страны резко ускорили свое экономическое развитие. В итоге там повысился уровень жизни. Люди стали лучше питаться и больше потреблять. Со временем начали путешествовать. В конечном счете они укрепили здоровье за счет хорошей медицины и оснастились бытовой техникой.

Современный образ жизни отсутствовал во всех странах мира еще сравнительно недавно. Включая Европу и Китай. Но при этом с какой стороны мы ни зашли бы в Китай далеких веков, придется признать, что он развивался тогда ничуть не хуже,

чем Европа. Или, точнее следовало бы сказать, что такие разные по своему историческому пути регионы мира, как Западная Европа, Центральная Европа, Россия, Китай, Индия, Ближний и Средний Восток, до начала Великого расхождения были в равной степени обществами отсталыми, то есть сильно не похожими на нынешний Запад. Большие различия в культуре между ними, конечно, всегда имелись, но в экономическом и политическом плане расхождение было не таким уж значительным в сравнении с различиями между всеми цивилизациями прошлого в целом и современным западным миром.

Европа и Китай

В Китае, как и в Европе, имелась, естественно, рыночная экономика. Хотя и несовершенная. Кеннет Померанц даже утверждает, что «Китай XVIII века (а возможно, и Япония) был ближе к неоклассическому идеалу рыночной экономики, чем Западная Европа» [Там же: 139]. При этом в Китае существовали ограничения на распоряжение собственностью, но они ведь и в Европе имелись [Там же: 140–149]. В Китае был период крепостничества, как в России. Однако без личной зависимости работника в определенную эпоху не обходилось подавляющее большинство европейских стран [Там же: 153–160]. Но в то же время «у китайских крестьян по сравнению с европейскими было гораздо больше свободы заниматься производством ремесленных изделий на коммерческой основе, продавая их конкурирующим между собой торговцам» [Там же: 166].

Как мы знаем, Макс Вебер обратил в свое время внимание на постепенную рационализацию жизни европейцев. В сфере коммерции, в частности. Европейцы уже в Средние века использовали векселя, бухгалтерский учет, разные формы объединения капиталов и страхования рисков. Но Померанц отмечает, что китайская бухгалтерия была

не менее совершенной. И крупные предприятия в Китае имелись. И формы аккумуляции капиталов там существовали [Там же: 291–296].

Таким образом, европейцы не имели преимуществ в производительности труда и, следовательно, по мнению автора книги, «представляется маловероятным, чтобы общий уровень применявшихся ими технологий был выше уровня технологий, использовавшихся в других регионах мира [Там же: 97–98]. Более того, иногда он оказывался даже ниже: «как правило, там, где оружие не было главным козырем, европейцы проигрывали конкуренцию китайцам, гуджаратцам и другим азиатским торговцам или же объединялись с ними по крайней мере не реже, чем брали верх в конкурентной борьбе» [Там же: 315].

Похожими были также структура и объемы потребления этих двух цивилизаций до начала Великого расхождения. Никак нельзя сказать, будто бы китайцы веками бедствовали, тогда как европейцы постоянно процветали. Соответственно, и «продолжительность жизни населения разных частей Азии, судя по всему, как минимум не уступала показателям Западной Европы» [Там же: 86]. Китайцы на протяжении веков не уступали европейцам по стремлению трудиться, поэтому нет оснований для противопоставления «инволюционного» Китая «трудолюбивой» Европе [Там же: 182]. Примерно одинаковым был и доступ к капиталу. Тем более что для начала промышленной революции XVIII века больших капиталов вообще не требовалось. А требовалось что-то совсем другое. То, что обнаружилось в Европе, но не в Китае. В общем, констатирует Кеннет Померанц, развитие в разных частях планеты осуществлялось довольно ровно, к серьезному экономическому прорыву «не шел ни один регион мира: никто из основных специалистов конца XVIII века, включая европейских, ничего подобного не предполагал» [Там же: 354].

Тот факт, что Великое расхождение представляет собой сравнительно недавний феномен, принципиально важен для всех отстающих стран, включая Россию. Если не существует фатального тысячелетнего отставания, значит, можно догонять и даже перегонять тех, кто по каким-то причинам оказался лидером модернизации. Беды отстающих стран не заложены в генах населяющих их народов, не заложены в национальной культуре, не заложены в природе.

Правда, если мы будем лишь постоянно болтать о своем величии, но на практике станем вести деструктивную экономическую политику, то отстанем, конечно же, еще больше. Однако если возьмемся за ум и если объективные обстоятельства будут нам способствовать, то есть возможность переломить «судьбу».

Заокеанские земли

С чем же все-таки связан феноменальный успех Европы? На данный вопрос в науке дается много разных ответов, и они будут в этой книге проанализированы. Но у Померанца есть свой весьма нестандартный ответ, не совпадающий в основном с позицией других авторов. С одной стороны, этот ответ явно вписывается в не слишком популярную ныне левую научную традицию, обращающую внимание на проблемы эксплуатации. С другой — он обращает внимание все же на реальные исторические события XVIII века, а не исходит из старых схоластических теорий.

Понятно, что успех Европы определялся промышленной революцией, благодаря которой резко возросла производительность труда в некоторых отраслях экономики. Важно обратить внимание на то, какие конкретно это были отрасли. Началось все в Британии с хлопчатобумажной промышленности. Новые дешевые ткани изготавливали зна-

чительно эффективнее, чем старые шерстяные или льняные. Изобретения английских мастеров позволили одеть всю страну с помощью хлопка, а также наладить массовый экспорт тканей за рубеж. Однако откуда взялся хлопок?

Специфика британской колониальной системы состояла в том, что она обладала землями, чрезвычайно удобными для его выращивания. И даже когда на этих землях после американской революции возникли южные штаты США, кооперация между заокеанскими аграриями и английскими промышленниками не прервалась. Только в рамках подобной кооперации смогла совершиться промышленная революция. В 1815 году Британия ввезла более 100 миллионов фунтов произведенного в Новом Свете хлопка, а к 1830 году данный показатель составил 263 миллиона [Там же: 463].

Если бы Британия имела иные земли — скажем, те, на которых целесообразно было бы выращивать сахарный тростник, кофе, какао или бананы, — английская промышленность могла бы остаться без сырья, хотя плантаторы, возможно, наживались бы на своих товарах не хуже, чем на хлопке. А если бы так называемый американский юг оказался вдруг колонией какой-то другой европейской страны, то, возможно, именно в ней, а не в Англии, произошла бы промышленная революция.

В общем, значение колониальной системы для резкого ускорения индустриального развития трудно переоценить. Международный рынок XVIII века не был свободным. На нем далеко не всегда можно было за деньги купить товар по рыночной цене. Скорее, можно говорить, что действовал принцип: «кто первым встал — того и тапочки». Кто захватил земли, тот их и эксплуатирует в своих интересах, блокируя стремление конкурентов из иных стран воспользоваться чужими ресурсами.

Можно обсуждать, конечно, вопрос, насколько пригодны были для выращивания хлопка колонии,

принадлежавшие Франции, Испании или России. Возможно, эти страны тоже при наличии должного объема промышленного спроса смогли бы обустроить необходимые плантации. Но вообще без колоний получить сырье в условиях XVIII века, по мнению Померанца, вряд ли было возможно. Сырье для промышленности той эпохи являлось своеобразным «узким местом». Кто не добыл его, тому не помогут ни совершенные технологии, ни емкие рынки.

Правда, проблема доступа к сырью — это только часть большой проблемы Великого расхождения. Наличие удобных плантаций в колониях не объясняет большого числа важных технических изобретений, осуществленных именно в XVIII веке. И также не объясняет того, почему изобретатели были европейцами. А самое главное — не объясняет, почему именно английские предприниматели столь успешно изобретения внедряли и, соответственно, формировали широкий спрос на поставки хлопка. Для ответа на эти вопросы следует обратиться к иным исследованиям в области исторической социологии, о которых у нас пойдет разговор в дальнейшем.

Великое расхождение континентов

*Джаред Даймонд показывает,
где было сытно с давних времен*

Популярная книга Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь» (М.: АСТ, 2010) не вполне вписывается в эту книгу, анализирующую крупнейшие работы по исторической социологии, поскольку автор исследует в ней слишком давние события. Вопрос о том, где и как в истории человечества возникло производство продовольствия, казалось бы, слабо связан с такими интересующими меня проблемами, как причины экономического роста или революций Нового времени. Но во-первых, Даймонд, фактически рассказывает нам в своей книге о Великом

расхождении далекого прошлого, а во-вторых, повествуя о событиях, происходивших десятки тысяч лет назад, дает столь удачный подход к исследованию, что он помогает лучше понять современность.

Будет хлеб — будут и песни

Когда мы размышляем, почему возникло некое социальное явление, то обычно ищем, кто его придумал, или по крайней мере какова была рациональная причина его возникновения. Даймонд же, рассказывая о том, почему в некоторых местах планеты возникло производство продовольствия, поступил иначе. Он вывел на первый план географию и показал, как много разных условий сходится вместе для того, чтобы люди стали выращивать зерно или разводить домашний скот. «Журналисты часто просят авторов, — написал Джаред Даймонд, — уже в прологе сформулировать содержание их объемистых трактатов в одном предложении. Для этой книги оно у меня сформулировано: „История разных народов сложилась по-разному из-за разницы в географических условиях, а не из-за биологической разницы между ними самими“» [Даймонд 2010: 29].

Если от одной фразы перейти к одному абзацу, то получается вот такая картина. Тот народ, которому удастся осуществить одомашнивание животных и растений, получит много пищи, а благодаря этому будет плодиться и размножаться. Возникнут оседлые и передовые в техническом отношении общества, у которых экономика начнет прогрессировать. А это, в свою очередь, породит письменность, стальное оружие и империи. География предопределила, что все это возникло в Евразии, и лишь позднее — или никогда — на других континентах [Там же: 11]. Более того, внутри Евразии условия тоже были настолько неоднородны, что самостоятельное производство продовольствия возникло лишь в нескольких регионах, тогда как жители других регионов либо

заимствовали опыт пионеров, либо были вытеснены ими со своих привычных мест обитания [Там же: 126].

Ну а если абзац развернуть в целую книгу, то возникнут и объяснения связи истории с географией у разных обществ. Далеко не все дикие растения и животные вообще пригодны для domestikации. Не во всех климатических условиях можно разводить даже тех, которые пригодны. Не во всех направлениях могут легко распространяться те аграрные инновации, которые люди смогли обеспечить в отдельных местах. И вот когда мы смотрим, какое большое число факторов разного рода должно в конечном счете сойтись для того, чтобы у нас возникло сельское хозяйство, то понимаем, насколько это сложный процесс. Его невозможно спланировать или даже спрогнозировать. Только тысячелетия естественного развития приводят к тому, что люди в одних местах планеты добиваются успеха, а в других нет. Необходимость схождения множества факторов для продовольственного успеха Джаред Даймонд выразил одной фразой, слегка перефразировав Льва Толстого: «Все одомашниваемые животные похожи друг на друга, каждое неодомашниваемое животное неодомашниваемо по-своему» [Там же: 198].

В итоге получилось, что, например, в определенных районах юго-западной Азии (так называемый Плодородный полумесяц) сошлись разные позитивные для производства продовольствия обстоятельства, а в Новом Свете не было одомашнено ни одного животного, способного тянуть за собой плуг [Там же: 159, 169–179].

«Одомашнивание» Европы

Примерно так же, как в случае с формированием продовольственной базы человечества, мы должны размышлять, если хотим понять, почему за последние столетия Запад стал успешен в экономике и политике. Мы вряд ли что-то поймем, если

постараемся исходно выделить какую-то важную черту современного Запада (политическую свободу, экономическую эффективность, христианскую веру и т. д.), а затем попытаемся показать, как эта самая черта обеспечила модернизацию. На самом деле успех Запада стал следствием сочетания множества разных обстоятельств, некоторые из них мы сейчас более-менее понимаем, а о значении других, пожалуй, до сих пор не догадываемся.

В силу ряда причин быстрое экономическое и политическое развитие началось в Северной Италии в позднее Средневековье. Там сошлись обстоятельства, которых в совокупности не было нигде. Выгодная левантийская торговля, дополнительные барыши от крестовых походов и относительная независимость городов, связанная с борьбой между Империей и Святым Римским престолом. Проще говоря, итальянцы неплохо зарабатывали благодаря удачной конъюнктуре, а «силовики», которые могли бы состричь с них шерстку, оказались нейтрализованы друг другом.

Успехов Северной Италии, впрочем, хватило, чтобы создать Ренессанс — богатые многонаселенные города с высокой культурой, — но не хватило, чтобы создать современное государство. Для государственного строительства вновь понадобился целый комплекс обстоятельств. Этот комплекс возник во Франции в начале Нового времени. Большая территория, оказавшаяся под властью одной короны уже в XV веке, позволила создать армию, финансируемую за счет налогов, взимаемых с многочисленного населения. Большая армия позволила завоевать еще больше территорий (давших дополнительные деньги королевской казне), а также подавить сопротивление усилению фискального бремени внутри страны.

Французских успехов хватило для того, чтобы сформировать Классическую эпоху — богатое государство, единый рынок, рационалистическую фи-

лософию, — но не хватило для того, чтобы обеспечить технический переворот и экономический прорыв, сделавший Европу однозначным лидером мира. Для великого расхождения Запада со всеми другими цивилизациями понадобился еще один комплекс обстоятельств. И он возник в Англии Нового времени. Славная революция 1688 года обеспечила защиту собственности предпринимателя от наездов государства. Высокая цена рабочей силы стимулировала технический прогресс. Обширные американские колонии дали сырье для хлопчатобумажного производства — первой высокомеханизированной отрасли промышленности.

Даже этот краткий экскурс в историю показывает, сколько разных обстоятельств должно было сойтись в разное время в разных местах для того, чтобы мир модернизировался. Причем итальянский, французский и английский случаи были связаны между собой. Без коммерческого прорыва итальянских городов не возникла бы французская экономика, а без французского рационализма не случилось бы того технического переворота, который произошел в Англии. Поэтому серьезное исследование того, как на самом деле происходила модернизация, должно кропотливо, факт за фактом собирать десятки исторических обстоятельств, прослеживая медленный ход европейского развития. Казалось бы, взлетела Венеция в XV веке — вот он мировой лидер! Но нет, не сложился ряд обстоятельств и в XVII столетии про венецианцев никто не вспоминает, а все взоры обращены на «короля-солнце» Людовика XIV. Казалось бы, мир падет перед его мощью... Но вновь не сложилось, и в XIX веке всемирная промышленная мастерская возникает в Англии, куда устремляются доходы с разных сторон света. Именно для того, чтобы учесть весь этот исторический опыт, нужно знакомиться с десятками разных исследований, обозреваемых в этой книге.

Только репа — наша скрепа, а картофель — от Госдепа

Похожим образом обстоит дело и с «узкими местами» модернизации. Даймонд показывает, что в огромной Евразии вероятность успешного развития была выше, поскольку на этом континенте инновации могли перемещаться из одного региона в другой. Но пересечь океан они в далеком прошлом не могли. Поэтому в Америку или в Австралию не попадали те достижения в производстве продовольствия, которые имелись у древних евразийцев. Похожие обстоятельства помогали (или мешали) ходу модернизации в последние столетия. В некоторых случаях достижения легко распространялись из одного места в другое, а в некоторых — застревали из-за трудностей коммуникации между странами, цивилизациями, религиями.

Например, успехи экономики и культуры итальянского Ренессанса быстро попали во Францию, Англию и Германию вместе с итальянскими купцами, заводившими там свой бизнес. В Польшу или Скандинавию эти успехи шли дольше и труднее из-за малой привлекательности европейской периферии для бизнеса флорентийцев и генуэзцев. А в Россию инновации практически не приходили вообще.

Дело в том, что до петровских времен заимствования с Запада у нас осложнялись тем, что это были заимствования у «латыньских еретиков», которые, как полагала Церковь, подрывали позиции православной веры. Петр сломил сопротивление Церкви, и заимствования в XVIII–XIX веках пошли у нас столь энергично, что Россия фактически стала своей в кругу европейских стран. Но при советской власти проблема вновь встала в полный рост. Только на этот раз мешала не православная вера, а марксистская идеология, объявлявшая «еретическим» все, что происходило в условиях капитализма. Идеологический барьер отсекал передовой зарубежный опыт, и мы опять отстали на десятилетия.

Завершая аналогии между производством продовольствия и модернизаций, можно сказать, что импорт институтов похож на освоение картофеля. На протяжении веков картошки у нас не было просто потому, что ее вообще не разводили в Старом Свете. Должно было сойтись много обстоятельств, чтобы европейцы открыли Америку. Должно было сойтись много обстоятельств, чтобы Россия «прорубила окно» в Европу. Должно было сойтись много обстоятельств, чтобы европейский опыт стал привлекателен для русских. И вот наконец картошка у нас. После преодоления всех преград оказалось, что на нашей почве она растет не хуже, чем на иностранной, и даже вытесняет такие исконные плоды отечественного земледелия, как репа.

Можно, конечно, заявить, что репа — это наша скрепа, а картофель нам насадили Госдеп и ЦРУ, но вряд ли подобная глупость кому-то понравится. Так же и с модернизацией: после прохождения ряда «узких мест» заимствование рынка и демократии прекрасно происходит на отечественной почве.

Теорема успешного развития

*По мнению Иэна Морриса, нам помогают лень,
жадность и страх*

Нам порой кажутся очевидными те ответы на вопрос о причинах развития общества, которые давались великими умами в давно прошедших столетиях. Ну, например, разве не очевидно, что человечество развивается потому, что становится более просвещенным, как полагали в эпоху Просвещения? А для тех, кому не нравятся столь мирные трактовки, ответ на все вопросы дает марксистская теория классовой борьбы: мир развивается, поскольку недовольные борются за свои права. Англо-американский профессор истории и археологии Иэн Моррис в книге «Почему властвует Запад... по крайней

мере, пока еще» (М.: Карьера-пресс, 2016) подошел к вопросу совершенно с иной стороны.

Без ложной скромности он сформулировал теорему развития и назвал ее своим именем. Теорема Морриса гласит:

Причиной перемен являются ленивые, жадные и испуганные люди, которые ищут более легкие, более прибыльные и более безопасные способы что-либо сделать. И они редко знают, что они делают. История учит нас, что, когда возникают затруднительные обстоятельства, — начинаются перемены [Моррис 2016: 34].

Подобная трактовка исторического развития плохо соотносится с представлениями о созидательной роли королей, президентов, военачальников, просветителей или вождей восставшего пролетариата, но с теорией Макса Вебера ее, думается, вполне можно соединить.

Какой народ нужен для перемен

Естественно, полушутливую «теорему Морриса» не следует воспринимать с унылой наукообразной серьезностью. Речь идет вовсе не о «созидательной роли» всяких обломовых, скруджей и тальбергов. Речь идет о том, что в стремлении обеспечить себе приемлемый образ жизни (без опасностей, перенапряжения и нищеты) люди совершают различные технические, экономические и социально-политические изобретения. Чаще даже заимствуют их у соседей, если видят, что те лучше живут или лучше воюют. Но в любом случае эти изобретения являются продуктом их рациональных действий. Они внедряют в свою жизнь разнообразные новшества не потому, что стремятся к великим целям, а потому что хотят лучше жить, однако все эти преобразования имеют разумные основания. Страх, лень и жадность, конечно, иррациональны, но загнать

эти страсти в «дальний угол своего сознания» можно лишь осуществляя осмысленные мероприятия.

Несмотря на кажущуюся банальность «теоремы Морриса», ее значение мы в обыденной жизни далеко не всегда осознаем. Нам, например, кажется, будто для позитивных перемен в стране требуется умный, честный и смелый народ, не какое-то «быдло», ленившееся трудиться и боящееся сопротивляться властям. А вот по Моррису главным является совсем иное. Мы должны стремиться к переменам, даже если они порождаются нашими пороками. Остальное со временем приложится. Но, естественно, лишь в том случае, если перемены будут соответствовать ленивой, жадной и испуганной природе человека. Коммунизм или какую-нибудь иную утопию, не признающую «теоремы Морриса», мы никогда не построим даже с помощью просвещения и классовой солидарности. А вот капитализм со всеми его плюсами и минусами создадим. Поскольку именно к нему и тянемся.

Положа руку на сердце, надо признать, что мы — люди, живущие сегодня в России, — ленивы, жадны и перепуганы. Жизнь каждый день демонстрирует эти свойства, присущие нашему народу, как, кстати, и всем прочим народам мира. Поэтому в деле преобразования нашей жизни Россию рано или поздно ожидает успех. Тем более что всяких свойств, препятствующих модернизации, у нас нет. Что бы ни писали в свое время разные спорные классики, у нас, к счастью, нет ни народа-богоносца, ни пролетарского интернационализма, ни других мифических черт, которыми люди хотели гордиться в прошлом. Мы вполне вписываемся в «теорему Морриса».

Место красит человека

В этом месте скептик, конечно, должен задать вопрос: так почему же, несмотря на наши феноменальные лень, жадность и страх, Россия до сих пор

отстает от других стран, которые вроде по этим качествам не сильно нас опережают?

Дело в том, что здесь не существует прямой корреляции. Ленъ не создает автоматически высокую механизацию труда: над созданием экономящих труд механизмов следует сначала потрудиться. Рост жадности не порождает адекватного роста ВВП. А усиление страха не выражается в укреплении демократических институтов. Мы должны оказаться в соответствующих обстоятельствах, чтобы ленъ породила технические усовершенствования, жадность обусловила накопление капитала, а страх заставил так прогрессировать науку, чтобы она нам давала не только вооружения, но и общий уровень знаний, при котором растет экономика.

Иэн Моррис полагает, что подобные объективные обстоятельства формировались на протяжении тысячелетий человеческой истории, в первую очередь, географическими условиями. То место, в котором народ находится на карте, может облегчить ему движение вперед, а может осложнить. Рано или поздно все, конечно, прогрессируют, но в хорошем месте делать это естественнее. Оспорив известную поговорку, мы должны признать, что не человек красит место обитания, а место — человека.

Как у подавляющего большинства западных исторических социологов, у Морриса почти нет размышлений о России. Наша страна так мало волнует американцев, что ее изучают обычно лишь узкие специалисты. Но общие примеры, демонстрирующие, почему Запад в свое время опередил Восток в развитии, в книге Морриса приводятся. И по ним можно судить о справедливости суждений автора.

Великие географические открытия, как известно, совершили европейцы, а не китайцы. Хотя в XV веке у китайцев уже имелся очень сильный флот. Император Поднебесной по не вполне ясным причинам заблокировал его активность, тогда как европейские монархи по вполне понятным причинам

стимулировали поиски за морем дорогостоящих пряностей и благородных металлов. Разбогатеть им удалось с помощью технических изобретений, способствовавших мореплаванию и совершенствованию системы вооружения. Тем самым, несмотря на известный консерватизм католической инквизиции, Европа все же перестала препятствовать инновациям. И в XVII веке там произошла научная революция. В Китае же ничего подобного не случилось, поскольку без сопоставимых с европейскими географических прорывов, стимулирующих техническое обновление, ментальная сфера контролировалась консервативной конфуцианской идеологией. Она оптимально подходила для сохранения *status quo* гигантской империи... Пока не пришли европейцы со своим всепокрушающим огнестрельным оружием.

«Проблемы, которые порождали новые атлантические пограничья, привели на Западе к появлению людей, требовавших ответов на новые виды вопросов. Ньютоны и Лейбницы, дававшие такого рода ответы, добились славы и успеха, о которых ученые прошлых времен не могли и мечтать, а теоретики нового типа, — такие как Локк и Вольтер, — на основании этих достижений делали выводы касательно социального устройства. В противоположность этому новые степные пограничья у Китая порождали куда меньшие проблемы. Хорошо оплачиваемые ученые в научных институтах, созданных [императором] Канси, не ощущали необходимости изобретать новое исчисление или понять, что Земля движется вокруг Солнца. Здесь представлялось куда более выгодным обратить математику — подобно медицине — в отрасль исследования классической литературы. И Восток, и Запад получили те идеи, в которых они нуждались» [Там же: 479].

Констатируя это, Моррис, правда, оговаривает, что «окажись у людей Востока достаточно времени, они, вероятно, сделали бы те же самые открытия и у них была бы своя промышленная револю-

ция. Однако география сделала это намного более легким для людей Запада» [Там же: 562]. Развернутого анализа механизмов, с помощью которых Запад трансформировал свои Великие идеи в Великое расхождение, основанное на промышленной революции, Моррис в своей книге не дает. Это уже тема для отдельных исследований, предпринятых другими учеными.

Как прожить без наложниц

Я привел лишь тот пример, который ближе к нашему времени. Но Моррис анализирует развитие человечества с незапамятных времен. Иногда он, правда, так увлекается описаниями деталей, что в его очень толстой книге теряется нить повествования и у читателя возникает впечатление, будто автор просто решил написать еще одну популярную всемирную историю. Но затем Моррис «вспоминает» про свою главную цель и вновь начинает сводить историю с географией.

Еще одна проблема автора — слишком большое стремление сделать бестселлер. Поэтому в некоторых местах, честно говоря, доверие к адекватности изложения теряется. Например, здесь:

Когда в 1644 году маньчжуры захватили Пекин, иезуиты предложили провести публичное состязание по предсказанию солнечных затмений и выиграли его. Их престиж никогда еще не был так высок, а в 1656 году на протяжении нескольких головокружительных месяцев дело даже выглядело таким образом, что император может обратиться в христианство. Победа казалась уже в руках, покуда до монарха-подростка не дошло, что христианами нельзя иметь наложниц. В результате вместо этого он обратился к буддизму [Там же: 476].

Прямо скажем, корреляция между сексом и религией выглядит не столь убедительно, как корреля-

ция между географией и историей. Кто-то, возможно, по этой причине сочтет книгу Морриса попой и отвергнет его выводы в целом. На мой взгляд, не стоит этого делать. Думается, что принципиальные выводы автора все же верны.

Есть целый ряд интересных случаев (увы, проигнорированных в книге Морриса), когда местоположение страны или города сильно влияло на развитие. География может дать ответ на вопрос о причинах взлета торговых городов Италии в Средние века. И на вопрос о том, почему Великая хартия вольности помогла развитию Англии, а такой же документ, появившийся в то же самое время в Венгрии, ничего хорошего не дал. Очень сильно повлияло на развитие русских земель их периферийное положение на восточной окраине Европы, не защищенной от набегов кочевников, но сильно удаленной от итальянских коммерческих центров. География может многое объяснить в причинах слабости Новгорода и Пскова при сравнении их с Венецией и Генуей. География проясняет успех затерянной в лесах Москвы. География показывает, почему вторичное закрепощение крестьян случилось лишь восточнее Эльбы. В общем, исследуя вопрос о том, почему общество развивается, нам, бесспорно, стоит временами поглядывать на карту.

Шелковые пути человечества,

или История для неленивых Питера Франкопана

В русском переводе книга британского историка Питера Франкопана называется «Шелковый путь: дорога тканей, рабов, идей и религий» (М.: Эксмо, 2021). Такой перевод искажает как истинное ее название, так и основную идею, которую автор вложил в книгу. Маловероятно, что она вообще попадет к тому читателю, для которого предназначена, поскольку, взяв ее в руки в магазине, покупатель подумает,

будто этот томик посвящен Великому Шелковому пути. Но на самом деле книга Франкопана о другом. Предназначена она не столько любителям Востока, сколько тем читателям, которые желают понять логику всемирной истории с древности до наших дней.

Что породила Греция

К счастью, взяв книгу с прилавка магазина, потенциальный читатель увидит и титульный лист с настоящим названием: *The Silk Roads. A New History of the World*. Речь у автора идет именно о попытке изложить по-новому историю. А шелковыми путями (именно так: во множественном числе) он называет пути развития человечества, или, точнее, те перемены, которые происходят в ходе развития. Возможна и еще одна интерпретация авторского замысла: это многочисленные пути (разветвленные сети), которые связывают людей в единое целое так, что перемены, произошедшие в одной части мира, оборачиваются переменами и в другой. Великий Шелковый путь — лишь один из примеров таких связей, и непосредственно его роли в жизни человечества Франкопан посвятил не так уж много страниц.

Хотя «Шелковый путь» можно читать просто как всемирную историю, автор ставит перед собой более амбициозную задачу. Новизна его подхода состоит в попытке обратить внимание не только на Европу, но и на Азию. Особенно на Центральную. Уже в предисловии Франкопан цитирует антрополога Эрика Вульфа, по мнению которого «общепринятая „история для ленивых“ утверждает, что Древняя Греция породила Рим, Рим породил христианскую Европу, христианская Европа положила начало Возрождению, Возрождение привело к Просвещению, которое, в свою очередь, привело к демократии и промышленной революции» [Франкопан 2021: 11].

Новая история предлагает иную, более сложную схему. Конечно же, новизна этой схемы весьма отно-

сительна. Хотя Франкопан в самом начале книги критикует коллег и предшественников за евроцентризм, сама по себе критика такого рода давно уже не является новостью. Немало историков обращало уже внимание читателей на то, что нельзя изучать Европу и Северную Америку лишь изредка дополняя их историю событиями, происходящими в иных регионах. Немало историков утверждало, что в этих иных регионах происходили события, столь же важные, а забывают про них исследователи потому, что сами происходят из Европы или Северной Америки. Франкопан в своей книге идет по их следам. Однако особенность его подхода состоит в стремлении увязать историю всех регионов, связанных «шелковыми путями», в единое целое и показать, что некоторые интригующие нас события прошлого можно понять, если бросить взгляд одновременно в разные точки мира.

Немало у нас существует книг, в которых читателю предлагают последовательно погружаться в историю разных регионов. Перевернув последнюю страницу раздела «Европа», он про Европу забывает и погружается в раздел «Азия», написанный иными авторами — зачастую такими, которые сами плохо знакомы с европейской историей. Ну а про то, что написано в разделе «Африка», вообще мало кто знает что-то определенное, кроме африканистов. В таких книгах почти никогда не прослеживается, как некий «вызов», брошенный, скажем, европейцами, получает «ответ» в азиатских степях или на островах Карибского моря. А ведь всемирная история — это не совокупность отдельных региональных историй. Это единый процесс, в котором всё взаимосвязано. Ну или почти всё...

Глобализация до Глобализации

Франкопан обращает первостепенное внимание на взаимосвязи, демонстрируя, например, как христианство в свое время распространялось не только

в Европе и на Ближнем Востоке, но также в Центральной Азии, где было очень много его поклонников. Автор рассматривает при этом разные важные процессы (в первую очередь, конфликт между Византией и Персией, ослабивший обе великие державы), демонстрируя, почему все же христианство там не утвердилось в отличие от Европы. По сути дела, Франкопан изучает глобализацию в эпохи, предшествующие той (примерно последние полстолетия), которую мы сегодня называем эпохой глобализации. Впрочем, на самом деле в ту давнюю «глобализацию» простые люди были вовлечены значительно меньше, чем сейчас. Жизнь миллионов крестьян в разных частях мира могла быть никак не связана с импортными товарами или идеями. Но этого мира на страницах книги Франкопана практически нет. Автор пишет «новую историю мира», но при этом забывает о важнейших элементах этой истории, уделяя внимание преимущественно тем аспектам, которые близки именно ему.

Впрочем, это беда простительная. У любого автора надо искать то, что он нам предлагает, а не то, что по какой-то причине он упускает. Нельзя впихнуть всю мировую историю даже в самый толстый том, а потому 700 страниц «Шелкового пути» следует воспринимать лишь в качестве важного дополнения к тому, что мы можем почерпнуть из иных источников. Лишь прочтя десяток-другой «всемирных историй», можно получить реальное представление о Всемирной Истории.

Чрезвычайно интересен рассказ Франкопана, как вызревали противоречия между Британией и Россией перед Первой мировой войной. Мы ищем обычно противоречия в Европе, поскольку война, хоть и названная мировой, велась именно там. Но автор показывает, какое большое значение имела напряженность в Азии, где Россия наступала с Севера, а Британия — с Юга (из Индии). Однако и здесь «Шелковый путь» не безгрешен. Думается,

роль Балкан в вызревании войны была значительно больше, чем роль Центральной Азии, и недаром Британия с Россией оказались союзниками, а Австро-Венгрия стала их противником.

Но недостатки «Шелкового пути» не должны затемнять его главного достоинства. А оно, думается, состоит в том, что автор книги показывает равнозначность Европы и Азии на протяжении столетий. Проще говоря, автор показывает, что Азия долгое время не была беднее или слабее Европы. Более того, отдельные ее регионы были значительно успешнее и богаче. Они больше, чем европейские земли, привлекали внимание завоевателей, стремившихся этими богатствами поживиться. Сам Александр Македонский «в сторону Европы даже не смотрел. Европа не сулила ничего. Там не было городов, культуры, славы, богатства. Для Александра, как и для всех древних греков, — по мнению Франкопана, — идеи и возможности, а также угрозы, происходили с Востока. Неудивительно, что его внимание было приковано к величайшей силе Античности — к Персии» [Там же: 23].

Европейцы не имели с самого начала своей истории каких-то особых преимуществ. Нельзя сказать, что они были лучше приспособлены к развитию, к формированию демократии или рыночной экономики. Нельзя сказать, будто Запад представлял собой высшую в сравнении с Востоком цивилизацию, которой на роду написано было стать богаче и успешнее. По мнению автора «Шелкового пути» (думается, все же весьма спорному), «история была полностью перекроена, чтобы обосновать идею подъема Запада, как логичного и неизбежного продолжения событий прошлого» [Там же: 18]. Вряд ли кто-то специально перекраивал историю. Подобный глобальный заговор историков невозможен. Но уровень наших сегодняшних знаний показывает, что успех Европы не был предопределен. В истории всяко могло сложиться.

Почему Британия была успешна

Франкопан отмечает, что лишь примерно с эпохи великих географических открытий Запад стал выглядеть успешнее. И это вполне справедливый вывод. Правда, почему это случилось, автор толком не анализирует. Во всяком случае, отдельные факторы, определившие успех Британии, на которые он мельком указывает, представляют собой плохо сваренную кашу, а не серьезное исследование.

«Ученые отмечали, например, — пишет Франкопан, — что экономическое неравенство там было ниже, чем в остальных странах Европы, и что низшие слои населения в Британии потребляли больше калорий, чем на континенте» [Там же: 364]. При этом непонятно, что значит «на континенте». В богатой, преуспевающей Венеции или же в отсталой Польше? В Голландии, ставшей европейским торговым лидером даже раньше Англии, или в Неаполитанском королевстве, где толпы нищих осаждали монастыри, раздававшие бесплатную еду? «Успех Британии обусловлен еще и тем, — добавляет Франкопан, — что там проживало большее количество новаторов» [Там же: 364]. Но откуда, интересно, взялись эти «новаторы»? Если британцы являются новаторами от рождения просто в силу генетических или культурных особенностей, то почему же преимущества Британии не сказывались до XVII века? А если новаторство появилось в определенный момент, то серьезный исследователь должен не просто констатировать данный факт, а объяснять, каковы же его причины. Наконец, Франкопан утверждает, что

...главным козырем, который невозможно было побить, оказалось географическое положение. Англия или Британия после объединения с Шотландией в 1707 году получила естественный барьер, защищающий ее от противников, — море.

Такой барьер был полезен с точки зрения отражения военной угрозы и совершенно незаменим, когда дело касалось государственных расходов. Так как у Британии не было границ, которые нужно было защищать, ее военные расходы были гораздо ниже, чем у континентальных противников [Там же: 365].

С одной стороны, автор здесь прав, поскольку низкие бюджетные расходы позволяют собирать небольшие налоги, а это значит, что государство оставляет деньги бизнесу на экономическое развитие. Но с другой стороны, известно, что как раз в XVIII веке Британия стала активно воевать на континенте и ей понадобилось много денег, что не остановило ее феноменальный экономический рывок.

В общем, аргументация слабовата. И в данном случае нельзя сказать, что это мелочь. Если большое значение Востока для всемирной истории является основной темой книги, то надо было больше уделить внимания и вопросу о том, что же вынудило Восток отстать в определенный момент от Запада. Увы, эту тему явно надо изучать по другим книгам, а не по книге Питера Франкопана.

Как стать богатыми и здоровыми

Ниал Фергюсон дает общую картину формирования цивилизации

Британский историк Ниал Фергюсон — один из самых популярных в мире популяризаторов (если можно так выразиться). Причем не только истории, но и исторической социологии. В книге «Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира» (М.: АСТ, CORPUS, 2014) он очень просто, без зауми и множества утяжеляющих текст цифр разбирает вопрос о том, почему именно западные страны стали богатыми и здоровыми, тогда

как остальные долгое время были бедными и больными (а многие остаются таковыми и по сей день). Или, как сформулировал сам автор, «почему примерно с 1500 года горстка маленьких государств на западной оконечности Евразии стала повелевать остальным миром, в том числе густонаселенными, развитыми странами Восточной Евразии?» [Фергюсон 2014: 9].

Несмотря на популярный характер книги (она одновременно создавалась и как телесериал), автор осуществляет весьма профессиональный разбор проблемы, отвергая ненаучные мифы и выделяя в огромном массиве информации именно то, что нам надо принять во внимание. К проблемам, которые поднимает Фергюсон, мы будем неоднократно возвращаться при анализе сугубо научных книг по исторической социологии, а сейчас сделаем с его помощью общий обзор.

Конкуренция и наука

Фергюсон с самого начала отрицает утверждения, будто успех Запада стал следствием империализма или особенностей географии, климата, культуры [Там же: 39–42]. Более того, как хороший профессионал, он не разделяет, естественно, популярного в некоторых кругах представления о старой доброй Англии, где успех, мол, определялся тем, что с незапамятных времен в этой стране были защищены права собственности и гарантирована личная безопасность человека. Он честно демонстрирует, что, скажем, в XIV–XV столетиях дела там обстояли никак не лучше, чем в нынешних опасных для жизни и собственности странах, таких как Колумбия, ЮАР или Ямайка. Резня была среди англичан страшная, а собственников запросто изгоняли из дома. Причем в других европейских странах ситуация была даже хуже, чем в Англии [Там же: 62–63]. В общем, причина нынешнего успеха Запада не в том,

что там всегда все было хорошо, а в том, что по каким-то причинам с какого-то времени европейцы стали менять институты, то есть правила игры, на базе которых строятся политика и экономика [Там же: 42–45].

Так что же помогло Западу стать иным?

В первую очередь Фергюсон обращает внимание на конкуренцию европейских стран, в ходе которой могли сформироваться наиболее работоспособные институты. «Характерная для Европы политическая раздробленность не позволяла построить что-либо даже отдаленно напоминающее Китайскую империю» [Там же: 78]. В других частях мира, где существовали гигантские деспотии, такой конкуренции не возникало. Проще говоря, если в Европе появлялось сравнительно успешное государство, оно начинало доминировать над соседями. В давние времена — благодаря своему военному успеху. В современную эпоху — потому, что успешный народ стимулирует соседей перенимать институты, этот успех обеспечившие. А вот за пределами Европы подобной конкурентной среды не складывалось, и потому, скажем, китайский император смог пресечь в XV веке практику мореплавания и остановить развитие для всей Поднебесной. Причем случилось это именно тогда, когда Португалия, Испания, Голландия, Англия, Франция стали соревноваться друг с другом в том, кто лучше освоит море и извлечет из него больше богатств.

Второй важной причиной европейского успеха стало развитие науки. С одной стороны, для науки важно уже то, что страны конкурируют друг с другом, и отстающие вынуждены поощрять исследования (хотя бы в военной сфере). Однако, с другой стороны, Фергюсон выделяет не менее важный момент — отделение науки от религии, произошедшее у христиан, но не у мусульман [Там же: 104]. Ислам задавил исследования, тогда как в Европе даже инквизиция этого в большинстве стран не добилась.

В частности, «во второй половине XVII века, пока Османская империя пребывала в полусне, правители Европы поощряли развитие науки — как правило, игнорируя мнение церкви на этот счет» [Там же: 115].

Собственность и труд

Третий фактор развития — защита собственности. Хотя она не была у европейцев защищена изначально, в Англии ситуация стала со временем улучшаться благодаря парламенту, противостоящему монархическому деспотизму при сборе налогов, и независимым судам, противостоящим тирании в деле защиты прав отдельных лиц.

Билль о правах (1689) подвел итог спору о налогах: «Взимание сборов в пользу и в распоряжение короны <...> без согласия парламента <...> не законно» [Там же: 161].

Более того, Фергюсон отмечает еще и важность демократизации собственности. Ее он рассматривает путем сравнения английских колоний в Америке с испанскими. Земли за океаном было много, и там, где государство ее не монополизировало, каждый колонист мог стать собственником и добиваться успеха. А там, где государство способствовало формированию крупных плантаций, бедняк оставался бедняком и не возникало социальной мобильности. Первый случай — это США, выросшие из английских колоний. Второй — это нынешняя Латинская Америка, возникшая на месте колоний испанских и португальских.

Ключом к успеху явилась социальная мобильность. Даже простой человек мог буквально ни с чем приехать в американскую глушь и уже через несколько лет стать собственником и избирателем. <...> В испанских колониях земля была распределена прямо противоположным спосо-

бом. С начала XVI века Испания ограничивала эмиграцию в американские колонии. В результате колонистам не был доступен ни один из путей восходящей мобильности, имевшихся в Британской Америке [Там же: 167–168].

На все эти проблемы накладывалась еще и расовая разобщенность, характерная для Южной Америки в гораздо большей степени, чем для Северной [Там же: 182].

Впрочем, наличия хороших институтов, по Фергюсону, недостаточно, чтобы объяснить успех Англии (и ее колоний) в ходе промышленной революции. Он полагает, что европейские правила игры были, конечно, лучше, чем азиатские, но Англия в этом плане не отличалась от Франции, Германии или Голландии в XVIII–XIX столетиях. А вот чем Англия отличалась от них, так это дороговизной труда и дешевизной угля [Там же: 279]. То есть из-за высоких зарплат у английского бизнеса появились стимулы осуществлять различные технические усовершенствования, позволяющие относительно уменьшить численность людей, занятых на производстве. При этом разработанные изобретателями машины оказались недороги в эксплуатации, благо топливо имелось по соседству с промышленной зоной.

Наличие запасов топлива и впрямь очень важно. Но уголь ведь имеется в достатке во многих странах Европы, поэтому, когда дело дошло до индустриализации Франции, Германии, Бельгии и даже Польши с Россией, он сыграл ту же роль, что в Англии. Но началось-то все именно в Англии. Почему? Сами по себе залежи угля не дают ответа, тогда как трансформация институтов английский успех объясняет.

Что же касается дороговизны труда, то следует объяснить, по какой причине он именно на острове был так дорог, а не на континенте. Уж не пото-

му ли, что экономика хорошо развивалась и создала огромный спрос на труд, вынуждавший бизнесменов платить большую зарплату? Но если именно так, то, значит, английское экономическое чудо создало дороговизну труда, а не наоборот.

Что внутри «черного ящика»

Похоже, все-таки роль прогрессивных английских институтов, сформировавшихся к XVIII веку, следует учитывать в первую очередь при попытках ответить на вопрос о причинах европейского успеха. Подробнее об этом пойдет речь в разделе этой книги, непосредственно посвященном институциональному анализу. И в этой связи возникает еще один вопрос, на который не дает ответа Ниал Фергюсон: каким конкретно образом конкуренция европейских стран в борьбе за правильные институты привела к достижению позитивного результата?

Конкуренция ведь возникла с момента распада Римской империи. Государства воевали между собой, совершенствовались вооружения, искали оптимальные способы ущучить противников. И постоянно их находили. То одна страна, то другая достигали могущества. Англия долгое время доминировала над Францией в Столетней войне. Потом лидерство захватила Испания, контролировавшая практически пол-Европы в XVI столетии. А дальше Франция ее обошла, став в XVII веке ведущей державой. При Петре I в большую европейскую политику энергично включилась Россия. К концу XIX века наметилось лидерство объединившейся наконец Германии.

Между моментом, когда соперничество европейцев началось, и моментом, когда оно обеспечило Западу преимущества, прошло много веков. Почему конкуренция стран не дала результата раньше? А если дала, то в чем это выразилось? Как отмечал Кеннет Померанц в книге «Великое расхождение»,

о которой шла речь раньше, до XVIII века Европа не способна была добиться большего, чем Китай. Фергюсон же считает, что преимущества Запада выявились на пару столетий раньше. «В 1600 году ВВП Англии на душу населения уже на 60% превышал ВВП Китая» [Там же: 402]. Это весьма спорный аргумент, поскольку сравнивать надо либо Европу в целом с Китаем в целом, либо наиболее успешные регионы Европы и Китая между собой. Но даже если предположить, что Фергюсон прав, все равно в книге «Цивилизация» трудно найти объяснение, почему конкуренция между европейскими государствами не привела к формированию прогрессивных институтов в XII веке.

Наверное, соперничество европейцев между собой обеспечивало какие-то важные промежуточные результаты. И, может быть, попеременное лидерство то одной страны, то другой было с этим связано. Если это так, то интересную и разумную историко-социологическую схему, нарисованную Фергюсоном, надо еще наполнять дополнительным конкретным содержанием. Она представляет собой что-то вроде «черного ящика». На «входе» — соперничество. На «выходе» — хорошие институты. А что между ними? Что внутри у «черного ящика»?

Впрочем, вне зависимости от ответа на данный общий вопрос, можно зафиксировать важный для нашей страны вывод, вытекающий из книги Ниала Фергюсона. Россия проигрывает в конкуренции с Западом. Мы все больше чувствуем наше отставание. И, если принять во внимание мировой опыт, это наше чувство рано или поздно станет (как и в других странах) важнейшим двигателем преобразований.

Теория модернизации

Как мир стал современным

Толкотт Парсонс и создание теории модернизации

РАССУЖДАЯ о «судьбах родины», мы часто говорим о необходимости ее модернизации — превращения в современное общество с эффективной рыночной экономикой и демократией. Но вот парадокс: когда ученые начинают вести свои споры о модернизации, сплошь и рядом можно слышать, что эта теория устарела, что она искажает развитие общества и даже служит чьим-то корыстным интересам. Получается путаница: пока мы не погрузились в «науку», мы жаждем модернизации, а как только погрузились — начинаем ее опасаться. На самом деле разобраться с теорией модернизации легко и в то же время очень сложно. Большая часть того, что про нее пишут в научной среде, — это не объективная оценка, а идейная полемика.

От марксизма и расизма

Первый шаг к осмыслению сути теории сделать трудно. Для этого надо понять, как ученые смотрели на развитие общества сразу после Второй мировой войны, в эпоху, когда зарождалась теория модернизации. По сути дела, тогда имелось лишь два подхода, но весьма глобальных — марксистский и расистский.

Марксисты разных направлений говорили, что все человечество может развиваться в лучшую сто-

рону, но эта «лучшая сторона» — коммунизм. Были, конечно, и серьезные ученые, исповедовавшие марксизм. Они исследовали при этом реальный процесс становления абсолютизма или капитализма, а не фантазировали о светлом будущем человечества. Однако в конечном счете принципиальные для марксизма классовый подход и теория пролетарской революции сильно мешали науке.

Расисты же полагали, что лишь отдельные народы могут быть успешными. Не обязательно это были сторонники нацизма. Некоторые ученые могли исходить из того, что есть культуры, способствующие развитию, и культуры, препятствующие ему. Но как бы то ни было, подобная «наука» возводила стену на пути многих развивающихся государств к рынку и демократии. Проще говоря, это направление исходило из представления, будто культура, экономика и демократия, созданные белым человеком, в принципе не могут распространиться по всей планете.

При этом долгое время вопрос о развитии не казался человечеству таким уж актуальным. Ведь раз слаборазвитые народы живут в колониях, вопрос об их самостоятельном развитии все равно на практике не стоит.

Лишь когда стали распадаться колониальные империи и возникло множество независимых государств, думающих о своих перспективах, выяснилось, что марксистские и расистские подходы сдерживают научные исследования. Теория модернизации предложила третий вариант анализа данной проблемы. Суть его состоит в том, что все народы (а не только условные «арийцы») имеют возможность двигаться к рынку и демократии, но при этом движение к коммунизму исторической необходимостью не является. Иными словами, теория модернизации — это база для исследований того, почему одни страны богатые, а другие бедные, почему в одних государствах возникают революции, а дру-

гие развиваются гладко, почему распадаются империи и формируются нации, почему некоторые люди хорошо умеют адаптироваться к изменившимся жизненным условиям, тогда как другие оказываются жертвами своей неспособности меняться. Все, что не является марксизмом и расизмом, так или иначе сводится к исследованию модернизации, к анализу того, как происходит переход от традиционного общества к современному.

При этом в рамках данного подхода есть множество направлений и множество авторов. Некоторые авторы написали умные, содержательные книги, некоторые — глупые или поверхностные. Противники теории модернизации берут порой книги некомпетентных авторов и утверждают, что вся концепция, мол, такова. Но на самом деле давать оценку теории модернизации в целом имеет смысл лишь в сравнении с марксизмом и расизмом. Все более конкретные оценки говорят не о теории модернизации вообще, а лишь об отдельных ее представителях.

Из северо-западного угла Европы

Для первичного знакомства с теорией модернизации лучше всего выбрать книгу американского социолога Толкотта Парсонса «Система современных обществ», опубликованную в США в 1971 году и изданную в России лишь через четверть века (М.: Аспект Пресс, 1997). Парсонс — бесспорный классик науки, опирающийся на труды великого немецкого мыслителя Макса Вебера. А «Система современных обществ», хоть и не разобралась во многих волнующих нас проблемах модернизации, задала общий подход к решению вопроса. Важнейший тезис Парсонса — происхождение современных обществ в XVII веке из «северо-западного угла» Европы. Первыми современными обществами он считает Англию, Голландию и Францию,

которые «каждая своим путем вышли на лидирующие позиции в системе держав XVII века. Эти три страны возглавили процесс модернизации на его ранней стадии» [Парсонс 1997: 77]. Причем наибольших успехов тогда добилась Англия. Позднее другие западные страны стали входить в систему современных обществ, и особое значение в наших нынешних условиях приобрели США. Северная Америка в XX веке, по мнению Парсонса, начала играть ту роль, которую в XVII столетии играл северо-западный угол Европы.

Парсонс настолько уверен в приоритете этого «угла», что даже открывает введение к своей книге словами:

тезис, лежащий в основе этой работы <...> состоит в том, что современный тип общества возник в единственной эволюционной зоне — на Западе, который, по сути, представляет собой часть Европы, ставшей наследницей западной половины Римской империи к северу от Средиземного моря [Там же: 11].

Неудивительно, что сегодня, когда подчеркивать какие-либо преимущества европейцев считается делом неполиткорректным, Парсонс подвергается критике. Сам он в том же введении отметил:

многие воспримут <...> тезис о том, что общества современного типа обладают более высокой и обобщенной, чем все другие, адаптивной способностью и что все они имеют единое западное происхождение, как «культурно-центристский» и оценочный [Там же: 13].

Но если вдуматься в то, что Парсонс на самом деле сказал, получается вывод весьма благоприятный для незападных обществ.

Принципиальным моментом теории модернизации является утверждение, что не было никакого извечного Запада с современными нормами

жизни, не было извечного преимущества западных народов над восточными. Весь мир меняется, и Запад в том числе. Успех Запада — плод долгого труда, а вовсе не исходно существующих культурных, или тем более генных, преимуществ. Чтобы понять суть современных обществ, надо изучать динамику, а не статику. Надо осмыслить историю, как систему постоянных трансформаций, приводящих к изменению нашей жизни.

Даже эпоха Ренессанса — это еще не современность, хотя многие утверждают, будто именно культурный перелом, происходивший в ту эпоху, создал наш нынешний мир. Согласно Парсонсу, скорее, в основе движения к современности лежал тот религиозный распад, что произошел в христианстве в XVI–XVII столетиях. На фоне этого распада исчезла фактически старая Империя (реально существовавшая в Германии, но претендовавшая на большее), возникли система суверенных государств и новая система международных отношений [Там же: 77–80]. В новых государствах возникла проблема легитимации власти, поскольку в связи с религиозным кризисом Европы старая система легитимации, в основе которой лежит представление, будто государь — помазанник божий, перестала эффективно работать.

Но если власть — не от Бога, то на чем же она держится в современном обществе? Ответ дал еще Вебер. На законе. На тех нормах, которые устанавливают люди. Если, конечно, они признают эти нормы справедливыми. Законы существовали, конечно, и раньше, но в современных обществах их роль стала качественно иной.

Две настоящие революции

Раз современное общество — это общество, основанное на законе, то его отличает от традиционных обществ еще два момента. Во-первых, важнейшую роль в нем играют представительные органы

власти, а не только правительство. Во-вторых, закон защищает права человека: его личность и его собственность. И впрямь, будет ли власть, основанная на законе, легитимной, если человек не может на нее влиять (например, избирая своих представителей), а сам остается не защищенным от произвола? Этот чрезвычайно важный момент в теории Парсонса можно понять, лишь если принять во внимание то, что до XVII–XVIII столетий даже в Европе все было устроено по-другому. Парламенты не столько творили законы, сколько были органами, с которыми короли вели переговоры, когда хотели раскрутить общество на «бабки» для ведения очередной войны. Если они могли содрать семь шкур с подданных без парламентов, то запросто это делали. Если же не могли, то вступали в переговоры. Защищенность прав подданных была весьма условной. Скорее, лишь слабость монарха, чем нормы закона, обеспечивали такую защиту.

Именно в ходе модернизации мир стал иным. А когда он стал иным, возникла возможность осуществить две революции, которые Парсонс считает важнейшими для перехода к современности. Речь, конечно, идет не о пролетарской революции, экспроприирующей экспроприаторов (характерной для марксистских представлений о мире), а о революциях промышленной и демократической (которые в XIX веке были еще дополнены революцией, произошедшей в системе образования). Мир, согласно концепции Парсонса, идет не к тому социализму, при котором национализируется собственность, а к дальнейшему развитию свободного предпринимательства с минимальным государственным контролем [Там же: 102–115].

Думается, что Парсонс нарисовал совершенно правильную общую схему развития общества. И в этом смысле его теория модернизации верна. Она не опровергнута поверхностными критиками. Другое дело, что она в полном смысле схема-

тична. «Система современных обществ» — краткая работа, где нет места для множества важных деталей, объясняющих, как и почему та или иная страна сумела модернизироваться. Даже отличия Англии от Франции изложены схематично. А уж о причинах проблем Испании, Германии, или тем более России, из книги Парсонса трудно что-то узнать. Поэтому за десятилетия, прошедшие с момента создания теории модернизации Парсонса, появилось множество научных работ, рассказывающих о том, как конкретно шли преобразования в разных странах в разные годы. Эти книги, по сути дела, дополняют и совершенствуют теорию модернизации даже в том случае, когда формально ее критикуют. И без таких работ невозможно представить себе эту теорию так же, как без книги Парсонса.

Три пути в современный мир

*Баррингтон Мур показывает,
как все на самом деле не просто*

Для того чтобы теория модернизации превратилась из голой схемы в серьезный научный анализ, необходим детальный разбор вопросов, связанных с особенностями исторического пути разных стран. Необходимо четко понимать, почему, скажем, английский путь к современности отличался от французского, почему германский оказался столь жестоким и кровавым, почему испанский характеризовался быстрым стартом, за которым последовало резкое замедление, почему великий Китай «проспал два столетия» и, конечно же, почему российский путь завел нас в марксистский тупик, притом что не Россия породила марксизм. Одним из первых ученых, взявшихся за осуществление таких историко-социологических исследований, был американский социолог Баррингтон Мур младший, опубликовавший в 1966 году кни-

гу «Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира» (М.: Изд. дом ВШЭ, 2016).

Данного автора не принято относить к числу классиков теории модернизации, но он постоянно использует это понятие в своей книге. Модернизация для него — это не концепция, а просто процесс движения народов к современному состоянию. И он фактически сам выстраивает концепцию, объясняющую, по каким трем важнейшим дорогам это движение осуществлялось в истории человечества.

Мне представляется, что Мур был настоящим новатором в своем подходе и не случайно его книга актуальна по сей день. Она с полным правом может считаться классикой исторической социологии. Если сказать предельно просто, то в старом популярном марксистском подходе делался упор на классовую борьбу, поскольку главным являлся вопрос о переходе от одной социально-экономической формации к другой. Такие интересующие нас сейчас «детали», как внезапное появление диктатуры, процесс «буржуазной» демократизации, быстрое экономическое развитие одних и долгий застой других стран, оказываются в марксизме малозначащими промежуточными явлениями на пути от классового к бесклассовому обществу. В книге Баррингтона Мура упор делается не на огромные расплывчатые классы, которые на самом деле никогда не вступают в борьбу «единым фронтом», а на отдельные социальные группы. И вдруг оказывается, что от того, как эти группы взаимодействуют между собой, от того, враждуют ли они, а может, сотрудничают, от того, в каком отношении они находятся с монархией, и от ряда других факторов зависит, будет ли общество развиваться мирным демократическим путем (Англия XVIII–XIX веков) или двигаться к демократии через революции (Франция XVIII–XIX столетий), а может, формировать кровавую диктатуру без кровопролитных

революций (Германия XX века) или же с революциями и гражданскими войнами (Россия XX века). Баррингтон Мур как будто бы брал пазл, состоящий из одинаковых элементов, перекладывал «пазлинки» различными способами, отражая на своей картинке различные условия, существовавшие в Англии, Франции, США, Китае, Японии, Индии, и получал объяснения того, почему Англия не Франция, а Франция не Америка. Автор «Социальных истоков диктатуры и демократии» показал, по сути дела, как из важных различий исторического пути народов (даже таких близких по своей культуре, как народы европейские) могут получиться различные (иногда трагичные для миллионов людей) «загогулины».

Демократический путь к современности

Как возникает демократия? «Первым условием демократического развития, установленным в нашем анализе, — отмечает Баррингтон Мур, — было возникновение баланса сил, помогающего избежать как слишком мощной королевской власти, так и слишком независимой землевладельческой аристократии» [Мур 2016: 386]. При этом «второе необходимое условие — поворот к подходящей форме коммерческого сельского хозяйства либо со стороны землевладельческой аристократии, либо со стороны крестьянства» [Там же].

Самый яркий пример такого развития — это Англия в XVI–XIX веках. Объективно представившаяся англичанам возможность хорошо зарабатывать на продаже шерсти стимулировала как крестьян-йоменов, так и помещиков-джентри активно заниматься бизнесом, огораживая общинные земли и стремясь утвердить в аграрной сфере настоящую частную собственность Нового времени вместо размытой системы средневековых земельных владений.

Коммерциализация сельского хозяйства означала переход от феодального сеньора, который был в худшем случае незаконным тираном, а в лучшем случае — деспотичным отцом, к господину, который был ближе к пронизательному дельцу, эксплуатирующему материальные ресурсы поместья с расчетом на прибыль и эффективность [Там же: 25].

Английское государство по разным причинам стремилось вмешиваться в дела формирующихся частных собственников и ограничивать их права. Что, конечно, ни йоменам, ни джентри не нравилось. Поэтому главным вопросом восстания 1640-х годов стала борьба «против вмешательства короля и радикалов низших сословий в права собственности землевладельцев» [Там же: 31]. В отличие от марксистов, для которых монарх — это всегда представитель господствующего феодального класса, Баррингтон Мур пишет, что «в результате войны (гражданской. — *Д. Т.*) был устранен король как последняя защита крестьянства от посягательств со стороны высших классов землевладельцев» [Там же: 34]. Королевскую власть в Англии потом, правда, восстановили, но долгие перипетии борьбы за власть сформировали баланс между монархом и парламентом. Ни одна сторона не могла подавить другую.

Мы, воспитанные на советском марксизме, привыкли жалеть крестьян, страдавших от огораживания. В эмоциональном плане их, конечно, и впрямь жаль. Но резкое уменьшение численности крестьянского класса, превращение одной части селян в богатеев-йоменов или успешных фермеров-арендаторов, а другой части — в городских наемных рабочих «означало, что модернизация продвигалась в Англии при отсутствии запаса консервативных и реакционных сил, которые на определенном этапе существовали в Германии и Японии, не говоря уж

об Индии. Кроме того, это, разумеется, снимало с исторической повестки возможность крестьянской революции на русский или китайский манер» [Там же: 42].

Авторитарный путь к современности

Оставим в стороне французский и американский опыт, который подробно разбирает автор «Социальных истоков», и отметим, что такие страны, как Германия и Япония, модернизировались совершенно иным путем, нежели Англия, Франция и США. Баррингтон Мур полагает, что в основе этих автократий находились реакционные коалиции, опасавшиеся за свое экономическое положение из-за конкуренции со стороны более эффективных сельскохозяйственных стран. Например, экспорт дешевого зерна из Америки в конце XIX века подрывал позиции юнкеров и крестьян в Германии. Они хотели автократии, готовой их защитить, тогда как, скажем, в Англии подобной потребности у аграрных классов не возникало [Там же: 46–49, 391].

В Японии нижние слои самураев вообще не занимались никакой хозяйственной деятельностью. Они превратились «в странствующих искателей приключений, ронинов, не состоявших ни у кого на службе и готовых ввязаться в любую авантюру» [Там же: 217]. Эти люди, радикально отличавшиеся от английских джентри и даже французских аристократов, имевших экономические интересы, связанные с ведением хозяйства или хотя бы с государственной службой, готовы были стать инструментом любого насилия и хорошо поддавались реакционному влиянию. Свои экономические интересы в Японии имела, конечно, буржуазия, но она была слабой, покорной и опасливой, а потому не могла противостоять влиянию консерваторов.

В общем, сильные группы в этих странах были настроены на то, чтобы двигаться вперед, ничего по большому счету не меняя. Как написал Баррингтон Мур, они хотели «провести модернизацию без изменения социальной структуры» [Там же: 395]. Единственным вариантом такой «консервативной модернизации» оказался милитаризм, сплотивший высшие классы и направивший агрессию вовне, для того чтобы и другие группы населения получили какие-то выгоды от консерватизма. Если не материальные, то хотя бы моральные: гордость за свою державу, за победу над врагами, за господство над значительной частью мира.

Получилось так, что в Англии разные модернизаторские группы элиты объединялись в политические партии, соперничали друг с другом за народную поддержку и не давали противнику монополизировать государство, тогда как в Германии или Японии элита сплотилась под властью государства для того, чтобы контролировать широкие народные массы и временами создавать у них иллюзию успешной модернизации.

Революционный путь к современности

Этот вариант Мур разбирает в основном на примере Китая. Крестьянская революция с его точки зрения возникает тогда, когда господствующие группы в деревне не коммерциализируются и повышают свое благосостояние в значительной степени за счет эксплуатации крестьянства, но при этом сильно дистанцируются от крестьян, становятся для них настолько чужими, что работники перестают понимать, зачем им вообще следует кормить неработающую элиту. Крестьяне могут даже в материальном отношении жить лучше, но при этом копить возмущение, поскольку нарушаются вполне рациональные народные представления о справедливости. «Тезис, который здесь предлагается, со-

стоит в том, что вклады тех, кто сражается, правит и молится, должны быть очевидными для крестьян, а ответная их плата не должна быть явно несообразной по отношению к оказанным услугам» [Там же: 422].

При этом, если крестьянское сообщество разлагается и частично перебирается в город, как при движении по первому пути модернизации, его протестная активность не сможет набрать силу, достаточную для революции. А если крестьянское сообщество сохраняется почти неизменным, как при движении по второму пути, но остается тесно связанным в деревне с господствующим классом, то вместо революции этот консервативный союз устроит автократию. Лишь в том случае, если огромные крестьянские массы остаются в деревне и перестают считать помещиков авторитетами, возникает, по теории Баррингтона Мура, революционная ситуация.

У нас в России именно так дело и обстояло накануне 1917 года. Правда, для того, чтобы объяснить причины революции, мы обязательно должны рассматривать не только деревню, но и город. Однако это уже иная проблема, выходящая за пределы той научной задачи, которую поставил перед собой Баррингтон Мур.

Прекрасный модерн и ужасная модернизация

*Как Самюэль Хантингтон выложил
всю правду-матку*

Книга Самюэля Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах» (М.: Прогресс-Традиция, 2004) принадлежит к классике теории модернизации. Автор написал ее в 1968 году — даже несколько раньше, чем Толкотт Парсонс выпустил свою «Систему современных обществ». Хантинг-

тон, как и Парсонс, полагает, что модернизация стран Запада начинается в XVI–XVII веках, когда на смену средневековому политическому миру приходит современное государство. Но политолога Хантингтона в отличие от социолога Парсонса интересует не столько общая картина модернизации или причины важнейших социальных трансформаций, сколько проблемы, возникающие под воздействием перемен. Поэтому хоть книга Хантингтона и охватывает более узкое пространство, чем книга Парсонса, но зато она значительно глубже. Ведь Хантингтон видит, что модернизация — это не только экономическое развитие, демократизация и появление способности адаптироваться к переменам. Модернизация — это еще и социальная нестабильность, политическое насилие, военные конфликты, революции, государственные перевороты.

Темная сторона Силы

В модернизации есть не только светлая сторона, но и темная. Обыкновенному наблюдателю хочется светлое от темного отделить, сказать, что в одном случае, мол, модернизация, а в другом — контрмодернизация. Но серьезный ученый выдвигает иную гипотезу. «Моя идея состоит в том, — пишет Хантингтон, — что они (насилие и нестабильность. — Д. Т.) были в значительной мере продуктом быстрого социального изменения и быстрой мобилизации новых групп в политическую жизнь в сочетании с медленным развитием политических институтов» [Хантингтон 2004: 24]. И дальше он разъясняет, в чем дело. Люди серьезно меняются вместе с житейскими переменами. Перебираются из деревни в город, начинают трудиться на заводах и фабриках в больших коллективах, овладевают грамотой, изучают прессу. На всем этом фоне у них появляются новые знания. Если человек традици-

онного общества видел мир в основном неизменным, то человек модернизирующегося общества постепенно привыкает к трансформации, и сам готов все вокруг менять.

Современность начинается тогда, когда у людей появляется сознание своих возможностей, когда они приходят к мысли, что могут понимать природу и общество и даже управлять природой и обществом во исполнение своих целей [Там же: 114].

Современный человек вполне рационально готовит перемены. Поэтому у него появляются различного рода требования. А кроме того, возникают новые группы из тех людей, которые раньше были политически пассивны. Жизнь в целом становится значительно сложнее, и политические институты традиционного общества уже не справляются с регулированием. У них просто не хватает авторитета для того, чтобы предотвращать конфликты. То есть можно сказать, что политическое развитие отстает от экономического и социального [Там же: 25].

По мнению Хантингтона, в сложном неоднородном обществе никакая общественная сила не способна править в одиночку [Там же: 29]. Надо договариваться с другими. Находить с ними общий язык. Но старые политические институты (например, абсолютная монархия) на это не рассчитаны. В итоге общество их ломает. Иногда с колоссальными жертвами. И до тех пор, пока не возникнут институты, позволяющие договариваться, сохраняется нестабильность, чреватая страшными катаклизмами.

Нет ли здесь противоречия? С одной стороны, люди действуют рационально, входят в политику, выдвигают разные требования? С другой — дело порой оборачивается катастрофой? Нет, удивляться такому обороту не стоит. «Модернизация обычно порождает отчуждение и аномию, отсутствие норм»

[Там же: 55]. Ведь в политику часто входят растерянные люди, которые уже не могут жить традиционными ценностями, но еще не осознали толком, как существовать в условиях модерна. Поэтому их рационализм оказывается примитивным и разрушительным, их требования — утопическими, а их способность к созиданию сильно уступает способности к разрушению того мира насилия, который и впрямь имеет существенные недостатки. Если эти люди узнают (благодаря книгам, кино или путешествиям), как хорошо живут в модернизированных странах, то «демонстрационный эффект» может навести их на мысль о легкости достижения успеха [Там же: 63]. Но каково же будет разочарование, когда выяснится, что их благими намерениями лишь вымощена дорога в ад!

Когда наступает ад

Этот ад наступает обычно после того, как резко обрушивается экономика (в результате сильного кризиса или большой войны). Обедневшие, растерянные массы начинают искать виновных, что оборачивается либо социальной революцией, либо этническими чистками. «Революции часто происходят, когда период устойчивого экономического роста сменяется резким экономическим спадом» [Там же: 73]. И вот уже вместо модернизации вдруг возникает ГУЛАГ. «Рост деспотизма, — делает в какой-то момент парадоксальный вывод Хантингтон, — связан, таким образом, с ростом социальной и политической мобильности» [Там же: 170].

Заметим попутно, что наша российская революция 1917 года полностью укладывается в схему, начерченную Хантингтоном. Как минимум с момента отмены крепостного права наше общество усложнялось. Появлялись новые социальные группы, возрастали требования. Крестьяне хотели земли, рабочие — увеличения заработной платы, национальные

окраины — расширения прав, интеллектуалы — роста всяких свобод, аристократы — консервации своего бывшего положения. А монархия (по крайней мере, до октябрьского манифеста 1905 года) действовала так, как будто бы ничего особенного не происходит, как будто бы модернизация сложного имперского общества, населенного многими этносами, несет в себе одни лишь позитивные перемены и властям не нужно к этим переменам никак приспосабливаться. Не удивительно, что в определенный момент конструкция рухнула.

Высокая коррупция тоже часто оказывается следствием модернизации. Старые нормы жизни чиновника вдруг исчезли, а новые — еще не утвердились. При этом соблазны весьма велики, поскольку в динамичном обществе циркулирует много денег. И эти деньги начинают прилипать к рукам тех, от кого зависит регулирование.

Так что же получается: модернизация плоха? Может быть, нам вообще не стоит к ней стремиться? На этот счет у Хантингтона есть замечательная фраза. Я бы внес ее в число ведущих афоризмов, которые должен знать каждый ученый, занимающийся социальными проблемами. «Модернизированность порождает стабильность, но сам процесс модернизации порождает нестабильность» [Там же: 59]. Иными словами, мы стремимся достичь хорошего благоустроенного общества, но путь к нему чрезвычайно опасен. На этом пути неизбежно будут большие потери. Он может растянуться на долгие годы и разочаровать целые поколения, чувствующие, что им не дожить до состояния модернизированности. Но дети или внуки тех страдальцев, которым не повезло жить в эпоху перемен, этого состояния наконец достигнут и, не зная своего собственного сложного прошлого, будут искренне недоумевать, почему в каких-то развивающихся странах типа России, Нигерии или Аргентины народ никак не может построить

простой, понятный и предсказуемый демократический мир.

Нестабильность, впрочем, бывает разной. В тех странах, где в свое время королевский абсолютизм потерпел поражение (Англия) или хотя бы встретил сильное сопротивление (Швеция), а то и отсутствовал вовсе (США), возникли более жизнеспособные демократические институты, чем в тех странах, где в Новое время произошла жесткая централизация власти (Франция, Германия, Испания, Россия). При этом в тех регионах, которые проиграли, но активнее других сопротивлялись абсолютизму (Рейнская Германия, Каталония), к XIX–XX векам возникли более сильные либеральные движения, чем в центрах абсолютизма (Кастилия, Пруссия).

Что делать?

Приятно осознавать, конечно, что кое-где преобразования идут сравнительно гладко, но нас больше интересует характерная для множества стран, включая Россию, болезненная модернизация. Что же на практике делать, если политические институты отстают от социально-экономических перемен и в обществе начинается хаос? Поначалу монарх, осуществляющий реформы, вынужден все больше полагаться на насилие [Там же: 198]. Хантингтон приводит характерную фразу, сказанную однажды иранским шахом в ответ на вопрос, почему он не поступает как конституционный монарх. «Когда иранцы научатся вести себя, как шведы, я буду вести себя, как король Швеции» [Там же: 188]. Увы, шаху Ирана подобная мудрость не помогла, модернизация остановилась и хаос воцарился в полной мере.

Теоретически из подобной ситуации, часто встречавшейся в самых разных модернизирующихся странах, может быть три выхода. Либо власть

силой берут военные с помощью переворота, либо власть подминают под себя революционеры, либо власть достается харизматику, способному завоевать любовь широких масс красивой внешностью, красивыми словами или красивыми делами.

Все эти случаи представляют собой вовсе не контрмодернизацию, а варианты модернизационного развития. В каждом из этих случаев может присутствовать «благожелательный деспот», который продолжит позитивные преобразования, но может (с большей степенью вероятности) появиться и деспот деструктивный, использующий страну в своих интересах или в интересах своей идеологии.

Завершает книгу Хантингтон довольно очевидным выводом о том, что

...вакуум власти и авторитета, столь распространенный в модернизирующихся странах, может быть временно заполнен харизматическим лидером либо военной силой. Но постоянно он может быть заполнен только политической организацией. <...> В любом случае в модернизирующемся мире будущее за тем, кто организует будущую политику [Там же: 449].

Организовывать эту будущую политику, согласно Хантингтону, надо, в первую очередь, через строительство современной партийной системы, в которой разные группы, пробужденные к политической активности модернизацией, получают возможность для выражения своих интересов.

Спору нет, именно так и надо действовать. Увы, у нас нет, к сожалению, убедительного разъяснения, как строить будущее, если в настоящем царит хаос. Хантингтон нарисовал нам одну из самых точных и убедительных картин хода модернизации, но даже лучший аналитик не может разработать схему преобразований, позволяющую минимизировать модернизационные издержки.

Откуда проистекает столкновение цивилизаций

*Как Самюэль Хантингтон сделал
внешнеполитические выводы из своей теории*

В 1996 году, почти через тридцать лет после «Политического порядка в меняющихся обществах», Самюэль Хантингтон выпустил книгу «Столкновение цивилизаций» (М.: АСТ, 2003), в которой перенес проблематику модернизации на международный уровень. Он сформулировал свое видение важнейших международных конфликтов исходя из тех представлений об объективных трудностях движения от традиции к модерну, которые изложил еще в 1960-е годы.

Эпатажное название

«Столкновение цивилизаций» стала одной из самых дискуссионных книг нашего времени, выполненных в области социальных наук. По накалу разворачивающихся вокруг нее страстей она уступает, возможно, лишь «Концу истории» Фрэнсиса Фукуямы — знаменитого ученика Хантингтона. Но, как часто бывает в таких случаях, политизированные споры порой разворачиваются вокруг мифов, связанных с книгой, а не вокруг того, что автор писал на самом деле.

Как и в случае с «Концом истории», эпатажное название серьезной книги, с одной стороны, обеспечило популярность в широких массах, пугающих братья за научную литературу, но с другой — спровоцировало комментарии, вытекающие из ложно понятого заголовка, а вовсе не из самого текста Хантингтона.

В современном западном политкорректном мире принято сглаживать впечатление от столкновений больших масс людей. Можно ли называть столкновением цивилизаций то, что принято срав-

нительно мягко именовать исламским терроризмом? Более того, даже словосочетание «исламский терроризм» возводит вроде бы напраслину на мусульман, а потому не лучше ли говорить просто о терроризме? Если мягко заметить, что отдельные люди неопределенной национальности и неопределенного вероисповедания совершают отдельные преступления, связанные, по всей видимости, с их отдельными недостатками, то никого не обидишь. Но тогда есть опасность упустить из виду серьезные социальные проблемы. Ведь терроризм — это дело правоохранительных органов, которые должны кого-то поймать и обезвредить, тогда как столкновение цивилизаций — это дело социологов, которые должны объяснить масштабные события, происходящие в современном мире.

Хантингтон не испугался влезать в столь сложную, неполиткорректную тему и стал в итоге весьма популярен в одних кругах, но сильно нелюбим в других. Некоторым читателям кажется, что он сталкивает цивилизации, хотя выводы автора на самом деле прямо противоположны: он хочет конфликты предотвратить. Книга имеет не академический, а практический характер и завершается тремя «примирительными» советами американской администрации, которые, наверное, могли бы быть советами и для правительств любой крупной державы, включая Россию.

Во-первых, если мы хотим сохранить мир на планете, необходимо воздерживаться от вмешательства в конфликты, происходящие в других цивилизациях [Хантингтон 2003: 523]. Подчеркну, именно воздержаться советует Хантингтон, и тот, кто говорит, что он якобы оправдывает американский экспансионизм, явно книгу не читал.

Во-вторых, поскольку конфликты возникают часто сами (без вмешательства) крупных государств разных цивилизаций, то эти государства (Хантингтон называет их стержневыми державами) должны

договариваться между собой о том, как предотвращать столкновения, не нанося ущерба ни одной из сторон [Там же].

В-третьих, для того чтобы конфликты возникали пореже, интеллектуалы должны не навязывать жителям других цивилизаций собственные ценности, выдаваемые за общечеловеческие, а распространять те идеи, которые могут быть восприняты разными людьми без ощущения утраты собственной идентичности [Там же: 529].

Нетрудно заметить, что войны в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году (через пять и семь лет соответственно после публикации «Столкновения цивилизаций») были начаты Соединенными Штатами в полном противоречии с советами Хантингтона, и, если подходить с позиций предложенной им методологии, неудивительно, что напряженность в районе Персидского залива и в Центральной Азии с тех пор лишь усилилась. Можно заметить также, что Хантингтон, по всей видимости, рекомендовал бы Вашингтону не осуществлять никаких действий на постсоветском пространстве без согласования с Москвой, то есть не обнадеживать Киев или Тбилиси какой-либо поддержкой, которая не понравится Кремлю. Ну и скорее всего, Хантингтон посоветовал бы своим университетским коллегам не говорить нервным русским «политологам», вчера еще преподававшим научный коммунизм, о важности построения демократии западного типа, а ограничиться в дискуссиях обсуждением вопроса смягчения конфронтации ко взаимной выгоде Америки и России.

Модернизация и вестернизация

Некоторые советы Хантингтона, бесспорно, правильные. Польза других не столь очевидна. Однако трудно усомниться в том, что, говоря о столкновении цивилизаций, он не нагнетал страсти, а искал

оптимальные способы выхода из кризиса. Но почему, собственно, такой кризис существует? Почему вообще цивилизации сталкиваются между собой, а не живут дружно? Исследованию этого академического вопроса посвящена вся первая половина книги знаменитого американского ученого, и эта половина непосредственно связана с его теорией модернизации.

Хантингтон различает понятия «модернизация» и «вестернизация». Упрощенное понимание модернизации, столь популярное, кстати, и в российском обществе, сводится к тому, что догоняющие страны должны просто перенимать все, что есть у успешных государств, — экономические и политические институты, культуру, обычаи, нормы поведения, принятые в XXI веке (хотя еще столетием раньше они не были свойственны даже Западу). Чем быстрее мы станем похожи на американцев, тем быстрее достигнем американских успехов. В общем, согласно этому подходу отстающим странам нужна вестернизация — превращение в Запад.

На это Хантингтон возражает:

У современных обществ есть много общего. Но обязательно ли они должны слиться и стать однородными? Аргумент в пользу этого основывается на том предположении, что современное общество должно соответствовать единому типу — западному, что современная цивилизация — это западная цивилизация и что западная цивилизация есть современная цивилизация. Это тем не менее совершенно ошибочная идентификация [Там же: 96].

Теоретически, наверное, вестернизация была бы хороша для достижения важных материальных успехов — роста ВВП и реальных доходов, смягчения неравенства. Но уповать на нее нереалистично. Жители отстающих стран хотят модернизироваться, то есть иметь технологии и уровень

жизни, как в лучших странах современного мира, но в то же время они болезненно воспринимают признание факта своего отставания, признание того, что они плохи и им надо учиться уму-разуму у других.

На индивидуальном уровне модернизация порождает ощущение отчужденности и распада, потому что разрываются традиционные связи и социальные отношения, что ведет к кризису идентичности, а решение этих проблем дает религия [Там же: 108].

Это как раз та самая аномия, о которой Хантингтон писал в «Политическом порядке...»

В результате одновременно развивается два процесса, казалось бы совершенно противоположных, но на деле тесно связанных между собой. Отстающие в деле модернизации цивилизации, с одной стороны, заимствуют то, что необходимо им для экономического развития, но с другой — переходят к агрессивной риторике (а иногда и к агрессивным действиям) в отношении тех, у кого многое заимствуют. Иными словами, они берут на вооружение то, что не могут не брать, но при этом отторгают то, без чего, как им представляется, можно обойтись. Более того, они иногда стремятся даже навязать другим свое видение мира. Так сказать, баш на баш: мы признаем, что вы лучше нас в технологиях, но признайте-ка и вы, что мы лучше, честнее, духовнее, культурнее, больше думаем о высших смыслах, а не о выгоде.

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет»

На этом основано сегодняшнее столкновение цивилизаций. В своем понимании сложности и противоречивости процесса модернизации Хантингтон глубже тех исследователей, которые ограничиваются пропагандой вестернизации. Но мне кажется,

он недостаточно говорит о том, что подобные проблемы возникают и внутри цивилизаций. Во всяком случае, в прошлом они имели место в Европе, когда модернизирующаяся Германия активно заимствовала у своих западных соседей институты, способствующие экономическому развитию, но при этом утверждала, что великая немецкая культура принципиально отличается от бездуховной западной цивилизации. Катастрофическое столкновение «культуры» с «цивилизацией» в XX веке обернулось двумя страшными мировыми войнами. И сегодняшнее столкновение цивилизаций по Хантингтону в основе своей имеет те же причины, которые в свое время породили раскол Европы на два враждующих лагеря.

В своем стремлении подчеркнуть проблему столкновения цивилизаций Хантингтон, пожалуй, чересчур увлекается и подставляется под критику. Например, он уверяет, будто «внутрицивилизационное столкновение политических идей, порожденное Западом, сейчас вытесняется межцивилизационным столкновением культур и религий» [Там же: 70]. На самом деле о вытеснении все же нельзя говорить. Есть и то и другое. Внутрицивилизационных конфликтов по-прежнему предостаточно. И то, что они сохраняются в современном мире, не противоречит теории Хантингтона.

Чтение книги может порой создавать представление, будто угрозу Западу несут другие цивилизации. Но на самом деле, как мне представляется, угрозу несут не одни цивилизации другим, а страны догоняющей модернизации тем странам, которые служат для них соблазнительным и в то же время раздражающим примером. Но, если бы автор назвал свою книгу «Некоторые проблемы столкновения высокоразвитых модернизированных государств со странами догоняющей модернизации», число читателей не вышло бы за пределы нескольких тысяч узких специалистов. И не было бы ни ма-

лейшего шанса на то, что политики прислушаются к советам ученого о том, как следует выстраивать международную политику.

Хантингтон спрятал одну из самых серьезных и умных книг по исторической социологии под обложкой, которая должна была сделать его труд бестселлером. Ему и впрямь удалось привлечь внимание к своему труду. Но поймем ли мы то, что действительно хотел сказать ученый, зависит уже от нас.

Хотите демократии — разбогатеите!

Мартин Липсет о неочевидной пользе большого ВВП

Сеймур Мартин Липсет является, наверное, одним из самых критикуемых в мире представителей исторической социологии, или, возможно, политической социологии, как сам он именовал свою науку [Липсет 2016: 23]. И все потому, что в основу своей книги «Политический человек. Социальные основания политики» (М.: Мысль, 2016), изданной в Америке еще в конце 1950-х годов, а у нас появившейся благодаря фонду «Либеральная миссия» сравнительно недавно, он положил простой и вроде бы всем понятный тезис «чем зажиточнее страна, чем выше ее благосостояние, тем больше шансов, что в ней будет поддерживаться демократия» [Там же: 55].

Богатство — это городская культура и образование

Критикуют этот тезис по трем причинам. Тем, кто слышал про тезис, но не читал саму книгу (а таких критиков всегда большинство), кажется, что слишком уж примитивен вывод: неужто лишь деньги делают человека демократом? В дополнение к этому некоторые наши российские мыслители указывают на то, что с повышением благосостояния при Пути-

не демократии стало меньше, чем было при Ельцине в «лихие и голодные девяностые». Ну а представители науки, читавшие, естественно, книгу Липсета, распространяют этот вывод с России на мир в целом, обращая внимание на появление за последние десятилетия целого ряда богатых стран — экспортеров нефти, которые даже не приближаются к демократии. Д. Аджемоглу и Д. Робинсон, например, в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» отмечают, что многие авторитарные режимы даже с высоким экономическим ростом не стали более демократичными вопреки Липсету и его теории [Аджемоглу, Робинсон 2015: 587].

В общем, казалось бы, Липсета можно сдать в утиль. А вместе с ним и всю теорию модернизации, которую в данном случае идентифицируют с вышеприведенным тезисом Липсета. Однако на самом деле его книга — это классика, которую нужно вовсе не игнорировать, а изучать, развивать и дополнять в связи с появлением новых фактов, поскольку именно в ней были продемонстрированы основы того, что нам следовало бы сегодня понять для реального движения к демократии.

Для начала отметим, что тезис о богатстве разъясняется очень легко, когда начинаешь работать с книгой Липсета. Зажиточные страны стали такими благодаря индустриализации, а это означает, что большая часть населения богатого мира проживает в городах. Главное здесь то, что одним из важнейших последствий урбанизации является повышение уровня образования. «„Более демократические“ страны Европы характеризуются почти поголовной грамотностью», — отмечал Липсет еще в 1950-х [Липсет 2016: 61]. Причем достигнут такой результат был не только за счет государственного финансирования школ, а также за счет образа жизни в целом. Сам факт концентрации людей в городах помогает обучать и обучаться. Тот, у кого есть хоть средний достаток, может отправить сво-

их детей в школу по соседству, тогда как изолированность деревень создает для желающих учиться крестьян массу проблем, которые без помощи государства или меценатов практически не решить. Тот, кто проживает в городе, легко может развивать образование с помощью газет и журналов, тогда как в сельской местности они не всегда доступны [Там же: 67].

В общем, демократия — это плод не «дурных денег», которые кто-то срубил на торговле водкой, а следствие всех тех «благ цивилизации», которые предоставляет человеку проживание в городе. Крестьянской демократии никто еще не создал, а вот городская действительно существует. При этом образование, как показывают все доступные нам свидетельства, является условием, почти наверняка необходимым, хотя и не достаточным [Там же: 63]. Советскому человеку, например, образование не помогло построить демократию после падения тоталитарной системы.

Как формируются компромиссы

Тогда что же нужно еще помимо образования? Думается, именно в ответе на этот вопрос — главное значение труда Липсета. Аджемоглу и Робинсон отмечают, что нужны хорошие институты (инклюзивные, как они их называют). И это верно. Однако чрезвычайно мало в мире стран, имеющих хорошие, устойчивые институты на фоне низкого уровня образования народа. Поэтому Аджемоглу и Робинсон, скорее, дополняют Липсета, а не опровергают его, а потому должны были бы благодарить классика, а не критиковать. Но что позволяет создать хорошие институты? Для ответа на этот вопрос мы вновь возвращаемся к Липсету. Главное — это компромиссы, стремление различных социальных сил пойти навстречу друг другу. Пойти на определенные уступки в борьбе за богатство

и статус ради тех гарантий личных прав и сохранности собственности, которые дает демократия.

Из этого, правда, вытекает следующий вопрос. Не так уж трудно провозгласить лозунг «давайте жить дружно», но почему одним странам компромиссы удаются, а другим нет? Почему даже во многих ныне успешных странах были когда-то эпохи революций и автократий, а демократия пришла лишь со временем?

Вот здесь опять всплывает вопрос о богатстве. В бедной стране, где лишь начинается индустриализация, никакие компромиссы рабочих с капиталистами не обеспечат обществу зажиточности. Чтобы сделать трудящихся довольными, надо слишком много денег отнимать у буржуазии. В итоге при перераспределении ВВП имущие классы начнут склоняться к авторитарному перевороту для сохранения собственности. А если гарантировать богатым собственность и доходы, то начнут бунтовать пролетарии. Недаром К. Маркс с Ф. Энгельсом делали упор в своей теории на то, что в революции «пролетариям нечего терять, кроме своих цепей» [Маркс, Энгельс 1948: 39]. Но как только страна становится более-менее зажиточной, значительная часть трудящихся утрачивает интерес к экстремизму, а буржуазия спокойнее относится к тому, что некоторую часть ее богатств передают с помощью налогов на поддержку тех, кто все же остается бедным.

Такие страны, в которых «переход к крупной промышленности почти закончен», — это, как мы знаем, именно те индустриально развитые страны, где марксизм и революционный социализм существуют сегодня только в качестве сектантских догм [Липсет 2016: 80].

Не менее важен при построении демократии конфликт буржуазии с аристократией. Как удавалось в истории западного мира его преодолевать? Вот ряд по-настоящему успешных стран, которые при-

водит Липсет: Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Лишь две страны, обладавшие стабильной демократией в конце 1950-х, не вошли в этот список [Там же: 90]. А что объединяет тех, которые вошли? Не глядите в следующую строку и попытайтесь догадаться. Хотя вряд ли догадаетесь, поскольку этот фактор у нас обычно считается тормозящим развитие, а не ускоряющим.

Все эти страны — монархии. Естественно, конституционные, в значительной степени формальные (особенно британские доминионы). Однако формальным данный вопрос является лишь для тех, кто не интересуется причинами успеха модернизации, а смотрит на современное состояние перечисленных стран. На самом деле то, что они смогли пройти к нынешнему преуспеванию без больших потрясений, во многом связано именно с сохранением монархии как важного компромисса, успокоившего аристократию и отвратившего ее от стремления к переворотам [Там же: 91].

В общем, демократия устанавливается там, где разные группы общества считают ее легитимной. А к легитимности ведут именно описанные выше компромиссы. Я бы добавил еще один очень важный для легитимности момент. Необходимы компромиссы не только между разными классами и между небольшими социальными группами, а еще между нациями. В империях достичь таких компромиссов почти невозможно, поэтому распад многонациональных европейских держав, как правило, предшествовал становлению демократии. Но на развалинах империи меньшинства могут найти общий язык с большинством, хотя, как показывает опыт Шотландии, Каталонии и Фландрии, даже в сравнительно устойчивых демократиях все это выглядит не бесппроблемно. Более того, новые проблемы формирует массовая миграция, создающая такие

этнические меньшинства, которых раньше не было. Отсюда — стремление некоторых демократов к, казалось бы, недемократическому ограничению миграции. На самом деле эта «недемократичность» вызвана желанием уменьшить ту зону потенциальных конфликтов, в которых противостояние может в конечном счете оказаться бескомпромиссным и предельно агрессивным. Ведь, как отмечал Липсет, «там, где несколько разных исторических расколов смешиваются между собой <...>, демократия будет нестабильной и слабой» [Там же: 100].

О чем не сказал Липсет

Но вернемся к Липсету. Есть все же важный вопрос, который он не рассмотрел в своей книге, и это как раз то, что очень важно сегодня для нас. Он показал, как легитимизация демократии устраняет радикализм — левый пролетарский и правый консервативный. Но что делать, если общество пришло каким-то образом к компромиссам не при демократии, а при авторитарном режиме? Что делать, если автократия становится легитимной, поскольку она худо-бедно устраивает трудящихся, получающих свою долю общественного пирога, буржуазию, имеющую возможность «срубить бабки», и «аристократию» (силовики), чувствующих, что они в этом политическом режиме являются главными? Это ведь как раз наш случай. Все то, о чем писал Липсет, легитимизировало нынешнюю российскую политическую систему. Число недовольных в современной России сравнительно мало. Или, точнее, недовольных, может, и много, но это не мешает им интегрироваться в систему, поскольку риски бескомпромиссной борьбы для групп потенциальных протестантов являются слишком большими.

В общем, Липсет показал, как возникает стабильное общество, устраняющее радикализм, чреватый появлением автократии. Но если автократия

обеспечивает стабильность на приемлемом уровне, то в ней не возникает демократии. Другое дело, что автократии трудно поддерживать систему компромиссов бесконечно, поскольку она не обладает способностью перестраиваться в связи с появлением новых больших групп интересов, чье мнение власть не учитывает. Например, подрастающей молодежи, которая обнаруживает, что все высокооплачиваемые места заняты и нет социальных лифтов.

Когда обнаруживаются провалы автократии, вновь возникает потребность в формировании системы компромиссов и, соответственно, вновь возникает высокая вероятность построения демократии как оптимального способа легитимизации системы. Однако провалы автократии могут стать нетерпимыми очень нескоро.

Нужна ли России гражданская культура

*Габриэль Алмонд и Сидней Верба о том,
что в этом вопросе всё не очевидно*

Книга Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы «Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах» (М.: Мысль, 2014) вышла в свет в 1963 году, а у нас появилась лишь сравнительно недавно благодаря фонду «Либеральная миссия». Но, как ни странно, подобное запоздание пошло ей на пользу. Именно сейчас настало время ее читать, поскольку посвящена книга исследованию вопроса о том, как формируется демократия в разных странах — в том числе в тех, что недавно вышли из плена автократии и даже тоталитаризма. Ведь те пять стран, о которых говорит название, это, с одной стороны, англосаксонские лидеры США и Великобритании, а с другой — Германия с Италией, на момент выхода книги не прожившие даже двух десятков лет при демократии, и Мексика, которая в 1960-е годы находилась в плену од-

нопартийного режима, созданного институционально-революционной партией. России, понятно, в книге нет (поскольку в 1960-е годы серьезные социологические исследования в СССР были немыслимы), но то, что там можно найти, воспринимается прямо как учебник для нашей страны.

«Утро после попойки»

Авторы шутливо относят свое исследование к традиции «утра после попойки» [Алмонд, Верба: 10]. То есть речь идет о своеобразном научном протрезвлении. О том, чтобы взглянуть на демократию не через розовые очки. Для серьезных исследователей на Западе это время пришло в 1960-е годы, поскольку стало ясно, что бывшие идеалистические представления о демократии не совсем верны. Для нас это время настает сейчас, когда мы избавляемся не только от наивных перестроечных представлений, будто бы общество ждет демократии, но и от совсем недавних иллюзий, в соответствии с которыми Россия, накушавшись авторитаризмом, массово выйдет на протест.

Избавление от иллюзий совсем не означает избавления от демократии. Речь здесь идет совсем о другом. Конечно же, демократия имеет много недостатков. Любому человеку, читающему серьезные книги о жизни на Западе и бывающему там хоть изредка, это ясно без глубоких исследований. Но в то же время мыслящему человеку ясно, что лучше принять демократию с недостатками, чем автократию с некоторыми ее мифическими достоинствами, рассыпающимися под ударами реальной жизни.

Неясности, требующие новых знаний, у нас остаются в иной сфере. Мы плохо пока понимаем, как формируется демократия, поскольку логика формирования скрыта от наблюдателя и требует серьезных социологических исследований, в ходе

которых разнообразные мифы отделяются от реальности. Именно такого рода исследование предлагают в своей книге Алмонд и Верба.

Где взять демократов для нашей демократии

Проблема нашей страны состоит в том, что, отчаявшись дожидаться демократии, мы порой сильно драматизируем события, утверждая, будто настоящие демократические страны населяют идеальные люди, обладающие свойствами, совершенно невыносимыми для сегодняшней России. Мы полагаем, будто бы для успешных перемен нам нужны сознательные, хорошо информированные граждане, вовлеченные в политическую жизнь и проявляющие в ней активность. Мы полагаем, будто бы при решении вопроса, за кого отдать свой голос на выборах, эти граждане долго размышляют и тщательно взвешивают альтернативы.

Хорошо бы, конечно, и впрямь иметь таких граждан. Но вероятность достижения подобной гражданской зрелости в модернизирующихся странах ненамного больше вероятности появления там граждан, живущих руководствуясь моральным кодексом строителя коммунизма. На самом деле, как показали исследования Алмонда и Вербы, граждане сложившихся демократий редко ведут себя в соответствии с описанной выше моделью.

Они не являются хорошо информированными, — отмечают авторы книги, — не вовлекаются в политику по-настоящему глубоко, не особенно активны, а процесс, посредством которого они приходят к своему электоральному решению, — это все что угодно, только не процесс рационального расчета [Там же: 446].

Сей неожиданный вывод был столь скептически воспринят в академических кругах США, что «Гражданскую культуру» даже стали порой характери-

зовать как книгу, «где восхваляется всенародная апатия» [Там же: 11].

Дело, однако, не в восхвалении, а в трезвом взгляде на реалии, которые приверженцам идеалистических представлений о демократии кажутся странными. Анализ мировоззрения итальянских граждан показал, что «они и свою собственную партию рассматривают не как участника электорального состязания, а как церковь или „образ жизни“» [Там же: 157]. И это не должно удивлять, если принять во внимание «столетия внешней тирании со стороны самых разнообразных правителей, под гнетом которых итальянцы не обладали ни политическими, ни эффективными юридическими правами <...> Можно было бы, скорее, ожидать, что итальянцы станут смотреть на властные структуры не как на социальный институт, поддающийся их влиянию, но как на одну из естественных сил природы, — чисто катастрофическую, вроде землетрясения, — которую надо терпеть» [Там же: 252].

С подобными фактами исследователи вынуждены считаться, а не закрывать на них глаза. Возможно, США и Великобритания несколько больше похожи на идеал, чем Германия, Италия и Мексика, но даже эти ведущие англосаксонские страны его не достигли. Зато можно сказать про них другое: «информированного, вовлеченного, рационального и активного гражданина чаще можно обнаружить в успешных демократиях, чем в неуспешных» [Там же: 447]. Проще говоря, все эти характеристики действительно полезны для построения демократии и образованные элиты должны ими обладать, но есть еще множество иных факторов, формирующих успешную гражданскую культуру. В этой культуре обычно имеется немало пассивных людей, ведущих себя, скорее, как подданные монарха, чем как настоящие граждане. В этой культуре немало и тех, кто вообще далек от политики и настолько наивен, что полагает, будто

она не оказывает на его жизнь никакого влияния [Там же: 34–36].

Более того, люди с подобной «неправильной» гражданской культурой часто даже не стремятся «исправиться», поскольку это глупо с чисто рациональной точки зрения [Там же: 449]. Ведь затраты сил и времени на серьезное изучение политики могут быть столь велики, что не останется времени и сил на активность, необходимую для нормальной жизни, для забот о семье, для повышения профессиональной квалификации, для поиска высокооплачиваемой работы. И тем не менее страны, в которых многие люди пренебрегают гражданской активностью, могут быть успешными демократиями. Как правило, это случается тогда, когда есть образованные, влиятельные элиты, действительно много внимания уделяющие политике, выборам, поиску информации и т. п. Качество функционирования властных структур и принятие верных политических решений не менее важно, чем гражданская активность [Там же: 12].

Как хорошо сказал один из авторов, цитируемых в книге Алмонда и Вербы,

проблема состоит не в том, каким образом 180 миллионов Аристотелей смогут управляться с демократией, а в том, как мы можем организовать общество из 180 миллионов обычных людей таким образом, чтобы оно осталось чувствительным к их нуждам [Там же: 451].

Именно такова сегодня наша задача в России.

Нет оснований для пессимизма

Что по-настоящему хорошо знают жители демократических стран, так это свои права. Респонденты часто рассказывают социологам о возможности влиять на власть, добиваться принятия тех или иных решений. Но, как показало исследование Алмонда и Вербы, на деле эти граждане не так уж часто поль-

зуются своими правами [Там же: 455]. Им просто не до этого. Тем не менее, слушая рассказы про развитые страны, мы часто полагаем, будто их жители действительно столь хороши как граждане, что постоянно проявляют свою активность. На самом же деле соотношение между пониманием своих прав и реальной готовностью тратить силы на гражданскую активность в демократических странах примерно таково же, как сочетание в нашей стране идеологии патриотизма с реальной готовностью пойти проливать кровь за декларируемые идеалы. На словах одно, на деле другое.

Для нашей страны из всего вышесказанного следует три вывода.

Во-первых, надо четко понимать, что в любой стране, прошедшей через долгий период тоталитаризма и автократии, не может быть большого числа людей, отличающихся высокой гражданской культурой. Алмонд и Верба показывают на примере Италии, Германии и Мексики, что это действительно так.

Во-вторых, разные страны могут прийти к нормальной демократии с разным культурным багажом. Скажем, Германия, несмотря на ее тяжелое прошлое, управляется сегодня не хуже, чем США и Великобритания. У Италии есть множество проблем, но она стала успешной европейской страной. И даже Мексика пошла по демократическому пути, хотя, бесспорно, отстает от Европы.

В-третьих, для того, чтобы в странах с проблемной гражданской культурой и сложным историческим путем сформировалась демократия, необходима образованная элита. Не просто знающая иностранные языки и любящая ходить по музеям, а понимающая, что демократический компромисс между разными группами интересов выгоден, как показывает опыт, всем конфликтующим сторонам, если, конечно, они хотят выжить и сохранить свою собственность.

Возможность демократии создают два сердцевинных процесса модернизации — образование и индустриализация, отмечают Алмонд и Верба [Там же: 491]. Сами по себе они не гарантируют успех. Но в промышленных странах, где доминируют городские жители и имеется возможность расширять свои знания о мире, рано или поздно формируются прагматичные элиты, желающие договориться между собой о таких правилах игры, при которых они не станут жертвами очередного автократа.

В «Гражданской культуре» отмечается, что после Второй мировой войны всюду царил пессимизм, пришедший на смену оптимизму, доминировавшему в Европе перед Первой мировой. Многим людям казалось, что невозможно «пересадить» набор хрупких установок и договоренностей, порождающих демократию, куда-то за пределы тех культур, в которых они зародились [Там же: 22]. Казалось, что нацистов, фашистов, фалангистов и коммунистов уже не перевоспитаешь. Однако сегодня мы видим, какие огромные изменения произошли в Германии, Италии, Испании, Португалии, Греции, а также в странах Центральной и Восточной Европы. Поэтому, если исходить из исторического опыта, у нас нет оснований смотреть слишком пессимистично и на будущее нашей страны.

Отставать выгодно... но очень опасно

*Александр Гершенкрон и экономический анализ
возможностей модернизации*

До сих пор мы обсуждали труды социологов и политологов, заложивших основы теории модернизации. Но что во времена ее зарождения делали экономисты? Обычно их никак не связывают с этой теорией. Экономисты в 1950–1960-е годы все больше становились кейнсианцами и анализировали возможности государственного интервенционизма

в целом: как для развитых, так и для развивающихся стран. Но были, однако, и исключения. Александр Гершенкрон исследовал индустриализацию и не пользовался в своих трудах словом «модернизация». Но фактически именно он поставил чрезвычайно актуальную для нашего времени проблему модернизации догоняющей: могут ли отстающие в экономическом развитии страны догнать лидеров, и если да, то каким конкретно образом. Поэтому вклад Гершенкрона в науку имеет смысл рассмотреть именно в данном разделе книги.

Широко известен в узких кругах

Гершенкрона довольно часто цитируют экономические историки, хотя к классикам науки эпохи кейнсианства его, конечно же, не относят. Он широко известен в узких кругах. Но при этом писал о тех проблемах, которые ныне активно обсуждаются. Как часто бывает, обсуждаются в основном с позиций здравого смысла, а не науки. А наш герой предлагал использовать в данной теме именно научный подход.

Россия, увы, не богата именами великих экономистов и социологов. Тем интереснее наследие ученых, которые родились в нашей стране, а затем, эмигрировав, сумели войти в настоящую западную науку и развиваться без идеологического диктата, реально исследуя актуальные проблемы развития общества. Про экономиста Василия Леонтьева и социолога Питирима Сорокина многие знают. Гораздо менее известно имя Александра Гершенкрона, занимавшегося экономической историей, а по сути дела, внесшего и значительный вклад в историческую социологию. Важнейшая его работа «Экономическая отсталость в исторической перспективе» (М.: Дело, 2015) была написана в 1962 году, то есть как раз тогда, когда обсуждались ключевые проблемы теории модернизации. И в этой работе, точно так же, как в тео-

рии модернизации, был предложен для исследования развития общества подход, принципиально отличающийся от марксистского. По сути дела, именно полемика с «Капиталом» Маркса легла в основу исследования Гершенкрона.

Марксистское представление о развитии общества выражено известной фразой из предисловия к первому тому «Капитала»: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [Маркс 1978: 9]. Иными словами, все страны развиваются примерно одинаково, только одни начали движение вперед раньше, а другие позже. Те, что отстали, станут в будущем продвигаться по уже начертанному передовиками сценарию.

Когда марксизм в нашей стране перестал быть «единственно правильным учением», общество быстро шарахнулось в другую сторону. Стали говорить, что наша Россия — страна особая, что она не развивается по сценарию, начертанному Западом, что она идет вперед своим собственным путем, причем не обязательно к экономическому процветанию, а к реализации иной цели: спасти человечество от нарастающей бездуховности, сохранить консервативные ценности...

Интересно, что многие наши «западники» подхватили сегодня идеи сторонников особого пути, но интерпретировали их по-своему. России надо бы, говорят они, идти западным путем, но страна столь плоха, тупа и самонадеянна, что на нормальное развитие не способна. Поэтому будет идти особым путем. Но не к великой цели, а в тупик, в пропасть, в бесконечное загнивание. И выходом из этой ловушки может стать только эмиграция. В общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Гершенкрон был одним из первых исследователей, подошедших к вопросу о развитии отстающих стран более тонко. Он, бесспорно, являлся западником, не принимающим упрощенный марксистский

подход. Как специалист по экономической истории, Гершенкрон видел в развитии общества не абстрактную марксистскую схему, а сложную картину, в которой каждая страна имеет свое лицо, свою индивидуальность, свой собственный исторический путь. Каждая отстающая страна может догонять передовые, но при этом совсем не обязательно она будет двигаться вперед теми же методами, какими двигались сто или двести лет назад.

Особые возможности при движении к общей цели

«Когда, наконец, в отсталой стране начинался процесс индустриализации, — писал Гершенкрон, — в нем обнаруживались важные отличия от индустриализации более развитых стран. <...> Различия в темпах роста и характере промышленного развития в значительной степени были обусловлены использованием тех или иных институциональных инструментов, которые сильно различались или вообще не имели параллелей в промышленно развитых странах. Помимо этого, в развитых и в отсталых странах различным был интеллектуальный климат (то есть „дух“ и „идеология“). <...> И, наконец, степень, в которой проявлялись эти показатели отсталости в отдельных странах, также была различной» [Гершенкрон 2015: 61–62].

Вот важный пример. При упрощенном взгляде на модернизацию западных стран нам кажется, будто там всё повсюду было одинаково. Англия, Франция, Германия, США стройными рядами, «под ручку» шли вперед, косо поглядывая на диковатую Россию и посмеиваясь. Но Гершенкрон показал, что, скажем, индустриализация в передовой Англии в XVIII веке, в медленно преобразующейся Франции и в отстающей Германии в XIX столетии шла совсем по-разному. У англичан главным героем модернизации был отдельный капиталист, индивид, частный собственник, настоящий хозяин.

Во Франции же и в Германии в иную эпоху крупнейшие банки способствовали энергичной концентрации капиталов, инвестировали в производство и за счет этого помогали своей стране быстро догонять Англию [Там же: 67–73].

Получился парадоксальный тезис — отсталость создает особые возможности для развития. Отстающие страны могут использовать эти возможности и идти вперед специфическим образом. Не к особой цели! Не к спасению человечества или другой великой миссии! А к нормальной рыночной экономике и высокому уровню жизни. Но с использованием тех индивидуальных инструментов, которые у них есть. Более того, отсталость создает возможность быстрее осваивать технологии, уже известные в передовых странах. Особенно если привлекать капитал из этих стран, создавая для его использования наиболее привлекательные условия.

К сожалению, научная теория Гершенкрона набросана лишь штрихами. Он написал ряд интересных работ и прочел целые циклы лекций, вошедших в изданную сейчас у нас книгу, но не оставил комплексного исследования. Главная его статья занимает в толстом томе лишь несколько десятков страниц. Блестящий экономист проглатывал горы научных трудов, сам писал о многом — даже о художественной литературе. Он анализировал «Доктора Живаго», спорил с Владимиром Набоковым... Но, увы, Гершенкрон так и не смог создать собственной системы. Он видел многогранность процесса преобразования общества и все же, как мне кажется, сильно его упростил, создав слишком оптимистичное представление у читателей.

От возможностей к ловушкам

Сложность исторического пути отдельных стран догоняющей модернизации состоит в том, что у них появляются особые возможности, но вместе с тем —

и специфические ловушки. Скажем, по Гершенкرونу, Россия активно использовала для развития в конце XIX века государственный капитал и, несмотря на некомпетентность и коррумпированность чиновничества, добилась значительных успехов [Там же: 73–79]. Но не была ли особая роль государства в развитии России обратной стороной тех наших проблем, которые в конечном счете привели к революции, а затем к неэффективному огосударствлению хозяйственной системы при Сталине, от последствий которого мы до сих пор избавиться не можем?

Ведь если государство может легко изымать из экономики большие ресурсы и аккумулировать их, скажем, на строительстве железных дорог (как при С. Ю. Витте), то не означает ли это просто отсутствия нормального гражданского общества, способного самостоятельно решать свою судьбу, самостоятельно инвестировать капиталы, самостоятельно защищаться от давления власти и самостоятельно же противиться давлению революционеров, желающих власть перехватить?

Гершенкрон специализировался на экономической истории и, хотя писал интересные работы, скажем, о проблемах диктаторских режимов, не оставил нам все же общей социологической картины проблемы отсталости. Лучшие его годы пришлось на эпоху 1950–1960-х, когда перед мировой экономикой стоял вопрос, смогут ли отсталые страны Востока, Юга или Латинской Америки эффективно догонять Запад. И Гершенкрон, как выходец из нашей отсталой страны, этой проблемой, понятно, всерьез заинтересовался. Он показал, что да, могут догонять Запад. Показал, что кажущееся отсутствие предпосылок нормального развития (капиталов, демократии, трудовой этики, привычных западных институтов) вовсе не означает стагнации. Показал, что отсталость при умелых реформах, при умелой трансформации старых институ-

тов можно обернуть важными преимуществами. Но сегодня, используя творческое наследие Гершенкрона, мы должны сформировать целостную социологическую, а не только экономическую картину проблем отсталости.

Может ли сегодняшняя Россия использовать государственный бюрократический аппарат, контролирующий огромные энергетические ресурсы для того, чтобы догнать хотя бы Португалию? Да, может. Преуспело оно на этом пути? Увы... Государство аккумулирует ресурсы, а затем они расходятся между пальцев и утекают в карманы тех лиц, которые находятся с государством в очень тесном контакте. В общем, наши российские особенности создают не только возможности, но и проблемы. Так же, кстати, как особенности Германии сформировали быстрый рост экономики и... гитлеровский режим. Так же как особенности Испании сформировали могущество XVI века и... затем многовековой провал в развитии. Так же как особенности Польши сформировали демократизм Речи Посполитой и... дальнейшее падение государства.

В каждой из этих стран люди, раздавленные бременем неудач, говорили какое-то время о своем особом пути. И действительно, как несчастливые семьи у Толстого, они были несчастливы по-своему. Но тем не менее все эти страны в итоге вышли на европейский путь, прорвавшись через собственные исторические заросли. Теперь из собственных зарослей пора выбираться России.

Этапы больших перемен

Антикоммунистический манифест Уолта Ростоу

В 1960 году американский профессор экономической истории Уолт Уитмен Ростоу написал небольшую книжку о хозяйственной модернизации под названием «Стадии экономического роста» (Нью-Йорк:

Фредерик А. Прегер, 1961), которая быстро приобрела столь большое значение для общественных дискуссий, что уже на следующий год оказалась переведена на русский язык. Естественно, в США, а не в СССР. Для нашего читателя в отсутствие интернета и при наличии железного занавеса, отсекающего все антисоветское, что издавалось за границей, она была недоступна, но тем не менее перевод стал знаковым явлением. Лишь считанные книги западных авторов удостоивались в то время подобной чести. Поэтому в начале 1980-х годов, когда мой однокурсник (сын советского дипломата) сказал мне, студенту экономического факультета Ленинградского государственного университета, что у него есть «протащенный» через границу томик Ростоу, я с жадностью ухватился за возможность его прочесть. Это была первая настоящая книга по исторической социологии, которую мне довелось изучить.

Единообразие методов модернизации

Побудила автора к работе над «Стадиями экономического роста», как прямо указывает он в предисловии, неудовлетворенность марксистской схемой анализа экономического поведения [Ростоу 1961: 7]. Книгу Ростоу быстро стали называть антикоммунистическим манифестом, противопоставляя ее знаменитому «Манифесту Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Подчеркну, что на русском языке она вышла в год полета Гагарина и принятия новой программы КПСС, утверждавшей, что коммунизм — не за горами. Успехи советской экономики, казалось бы, невозможно было оспаривать. Но Ростоу предложил для анализа модернизации совершенно иной подход, чем марксисты. Для нас, советских студентов-экономистов, воспитывавшихся в марксистском духе, но отнюдь им не очаровывавшихся, взять в руки антикоммунистический манифест было соблазнительно.

И хотя в целом он был почти столь же схематичен, как труд Маркса с Энгельсом, «Стадии экономического роста», конечно, оказались гораздо ближе к реальности.

Может быть, главным позитивным отличием книги Ростоу было признание того факта, что развитие общества является сложным процессом, не укладывающимся в простенькие марксистские стандарты, разработанные в XIX веке.

«Метод стадий роста <...> отнюдь не предполагает, что политика, социальная организация и культура являются только надстройкой над экономикой и выводятся исключительно из нее. Напротив, с самого начала мы признаем правильным представление об обществе, — пишет Ростоу, — как об организме, части которого взаимозависимы. Это представление было в конце концов отброшено Марксом, а Энгельс принял его только в самом конце своей жизни. Конечно, изменения в экономике влекут за собою политические и социальные последствия, но сами экономические перемены рассматриваются в этой книге как следствия политических и социальных, а также узко понятых экономических сил. Что же касается мотивов поведения человека, то многие из важнейших экономических сдвигов рассматриваются нами как следствия внеэкономических мотивов и стремлений людей» [Там же: 13]. И главное: «Теория стадий роста отвергает, как неточную, мысль Маркса, что решения общества есть просто выражение воли тех, в чьих руках находится собственность» [Там же: 213].

Ростоу признает, конечно, что его подход схематичен. В нем многое упрощено, но это неизбежный минус небольшой книжки. Однако упрощения эти не влекут за собой искажений. «Я хотел бы с самого начала подчеркнуть с полной ясностью, что мои стадии роста — это произвольно выбранный и ограниченный в своих возможностях метод изучения

этапов новой истории. Этот метод отнюдь нельзя назвать точным в абсолютном смысле. Выделение стадий роста имеет целью более выпукло представить не только единообразие методов модернизации хозяйства, но и — не в меньшей мере — своеобразие опыта каждого народа» [Там же: 11–12].

Национализм как стимул к модернизации

Итак, что же за стадии роста выделяет Ростоу? Это «традиционное общество, стадия созревания предпосылок для подъема, стадия подъема, стадия быстрого созревания, век высокого массового потребления» [Там же: 15]. Описывая все эти стадии, Ростоу дает четкое представление о модернизации, как о движении от традиции к современности. Он, как и Парсонс, полагает, что предпосылки для подъема появились в Европе в конце XVII — начале XVIII столетий. Более того, Ростоу делает важнейший вывод о том, как конкретно они возникают.

Обычно предпосылки к подъему в ходе новой истории создавались не на внутренней основе, а в силу внешнего давления более развитых обществ. Эти вторжения — в буквальном или переносном смысле — давали толчок к разложению традиционных обществ или ускоряли уже начавшееся разложение. Кроме того, они вызывали у людей идеи и чувства, подсказывавшие новые формы общества в противовес традиционным, но исходя из основ старой культуры [Там же: 18–19].

Далее Ростоу развивает свою мысль и показывает, как и почему вызов, брошенный тому или иному обществу, приводит к осуществлению конкретных экономических и политических изменений.

Исторические факты свидетельствуют о том, что реактивный национализм, то есть противодействие вмешательству более развитых наций,

был наиболее важной и мощной движущей силой в переходе от традиционного общества к современному, — по меньшей мере столь же важной, как и мотив получения прибыли. Люди, стоявшие у власти или имевшие влияние, стремились выкорчевывать традиционные основы жизни не потому главным образом, что ожидали увеличения дохода, а потому, что традиционное общество не смогло, или, как можно было представить, не сможет защитить их против уничтожения со стороны иностранцев [Там же: 46].

Данный вывод не следует, конечно, трактовать слишком упрощенно. Для ведущих реформаторов часто идеи преобразований, общественного прогресса, счастья народа и т. д. имеют самостоятельную ценность, но если рассматривать состояние элиты в целом, то она оказывается ориентированной на реформы только в том случае, когда из-за разнообразных угроз не видит возможности сохранять традиционный образ жизни.

Если же такие возможности появляются, модернизация затягивается надолго и порой возникает впечатление, будто она прекратилась или даже повернула вспять, обратившись, как иногда любят выражаться, в контрмодернизацию.

Нет сомнения в том, что, если бы не было оскорбления человеческого и национального достоинства при вторжении более развитых государств в колониальные или недостаточно развитые районы, ход модернизации традиционных обществ за последние 150 лет был бы гораздо медленнее, чем он оказался в действительности [Там же: 48].

Росту в «Стадиях экономического роста», пожалуй, злоупотребляет указаниями на конкретные сроки модернизации. Он в своей краткой схеме развития иногда пытается быть слишком конкретным и тем самым подставляется под удар.

В частности, он утверждает, будто «примерно через 60 лет после начала стадии подъема (или спустя 40 лет после окончания этой стадии) обычно достигается состояние хозяйственной зрелости» [Там же: 22–23]. Анализ европейского опыта развития, который мог осуществить Ростоу в конце 1950-х годов, наводил его на мысль о таких сроках. Но сегодня мы знаем, что откаты в ходе модернизации могут быть весьма длительными. Именно при резком подъеме включаются разного рода силы, отбрасывающие общество назад (что показал, в частности, Хантингтон), поэтому наметать конкретные сроки для стадий роста вряд ли имеет смысл. Реальный ход модернизации в той или иной стране может оказаться значительно более медленным, чем у лидеров, но это отнюдь не значит, что развитие остановилось.

Пост по Ростоу

Если модернизация зависит в значительной степени от ответа нации на вызов со стороны соседей и от использования их прогрессивного опыта в своих собственных целях, то что же лежало в основе экономического подъема Великобритании — первой по-настоящему модернизированной страны? Согласно «классической сказке», здесь было два важнейших фактора развития: торговля с заморскими территориями, а также научные открытия и изобретательство. Французы, в отличие от англичан, были недостаточно гибки. Они, например, третируют своих протестантов. Голландцы не имели достаточных ресурсов для промышленного развития и сосредоточились на торговле. А англичане в это время по какой-то не вполне понятной причине принимали оптимальные решения. Ростоу возражает против такой упрощенной трактовки и уверяет, что в основе этих оптимальных решений лежал английский национализм — стрем-

ление защититься от Римской церкви в XVI веке, от Голландии — в XVII и от Франции в XVIII столетии [Там же: 52–57]. Однако при всем значении национализма (которое не следует отрицать) вывод этот весьма спорен: все страны тогда защищались друг от друга, но прогрессировали именно англичане. Поэтому «классическую сказку» не следует сбрасывать со счетов, хотя, конечно, как делали позднее сторонники институционального подхода и ряда других научных направлений, надо дополнять ее иными объяснениями.

Впрочем, какие бы факторы мы ни приняли за стимул к переменам, важнейшая черта стадии подъема, по Ростоу, — это увеличение инвестиций, поскольку только так можно внедрить в производство новые научные методы и повысить производительность труда [Там же: 38]. Непосредственным же толчком к подъему могут являться в разных странах самые разные события: от политических революций, разрушающих старый баланс сил, препятствующий развитию, до позитивных изменений во внешнеэкономических связях, когда открываются новые рынки, растут экспортные цены или возникает большой приток иностранного капитала [Там же: 59].

Ростоу исследует развитие разных стран, уделяя внимание как сходству, так и различиям. Он отмечает, что Россия, как великая нация, способна создать развитую экономику и современное общество, но советские вожди добились роста, «уродливо сконцентрированного вокруг тяжелой промышленности и вооружений», и пытаются теперь добиться распространения советского режима на весь мир, что связано с искусственной задержкой роста потребления внутри страны [Там же: 154]. Понятно, что при таких опасных политических выводах, общая историко-социологическая концепция Ростоу была для советских читателей закрыта цензурой.

Соблазн высокой цивилизации

*«Восхождение Запада» в концепции
Уильяма Мак-Нила*

А теперь о том, что делали историки. Как-то раз американский ученый Уильям Мак-Нил перечитал свою знаменитую книгу «Восхождение Запада. История человеческого сообщества», изданную в 1963 году и ставшую сразу бестселлером, несмотря на огромный объем — более тысячи страниц в русском переводе (Киев, Ника-Центр, 2013). А перечитав, он написал предисловие к очередному изданию, поведая читателям, любопытную личную историю, лежавшую в основе написания книги. Мак-Нил был, конечно, феноменально образованным историком, сумевшим в сравнительно молодом возрасте изучить огромный объем материала, но, возможно, именно поэтому, он мало внимания обращал на то, что творилось за пределами его «башни из слоновой кости». Современность не входила в сферу интересов историка.

Как книга становится успешной

Ни один историк не сможет отрицать, что его видение прошлого отражает опыт его эпохи, зависит от традиций и школы, несет на себе печать того времени и места, где он жил. Однако я могу утверждать по крайней мере следующее: когда я писал эту книгу, я не имел ни малейшего представления о том, насколько мой метод интерпретации мировой истории совпадает с современным мне международным положением Соединенных Штатов. В ретроспективе можно, по-видимому, утверждать, что тот теплый прием, который был оказан читателями моей книге в начале 1960-х, во многом объясняется этим совпадением [Мак-Нил 2013: 14–15].

Дело здесь вот в чем. Американцы, достигшие больших успехов после Второй мировой войны, смо-

трели тогда на себя как на пионеров модернизации и размышляли, естественно, о том, насколько возможно передать опыт развитых стран странам развивающимся. С одной стороны, казалось, что в этой передаче опыта не может быть серьезных проблем: смотрите на нас — и учитесь. Но с другой — слишком сильны были тогда традиционные представления о различии цивилизаций, то есть о том, что существуют успешные западные народы и слаборазвитые восточные. Так может быть опыт не передается и каждая цивилизация варится в собственном соку?

«Необъятная» книга Мак-Нила была написана исходя из представления об интенсивности контактов цивилизаций. Или точнее, как сам он отметил,

исходя из понимания контакта с чужеземцами, обладающими новыми, неизвестными знаниями и умениями, как основного фактора, способствующего исторически значимым социальным изменениям. Естественным следствием такого подхода стал вывод о том, что центры высокой культуры (то есть цивилизации), демонстрируя соседям свои привлекательные новинки, становились для них своего рода раздражителями. Окружающие их менее развитые народы стремились освоить новшества и тем самым получить доступ к богатству и власти, к познанию истины и красоте — ко всему, что дают блага цивилизации тем, кто ими обладает. Однако такого рода попытки неизбежно связаны с необходимостью болезненного сложного выбора между страстным желанием подражать новому и не менее сильным стремлением сохранить и сберечь те старые обычаи и институты, которые отличают мир жаждущих приобщиться к цивилизации от цивилизованного мира с продажностью и несправедливостями, неизбежно ему присущими [Там же: 13–14].

Насколько можно понять, Мак-Нил в 1954–1963 годах, когда писалась книга, мало знал не только

о внешней политике США, но и о научных поисках американских ученых в смежных с историей социальных дисциплинах. А ведь именно тогда социологи с политологами разрабатывали различные аспекты теории модернизации. Делали они что могли. И на болезненный сложный выбор модернизирующихся стран указывали (как, например, Самюэль Хантингтон). Однако им сложно было продемонстрировать глобальную картину догоняющей модернизации, то есть рассказать о том, как и почему отстающие страны устремляются в погоню за лидерами преобразований. Для этого потребовалось бы написать огромное полотно исторического характера. Потребовалось бы проследить культурные связи, которые плохо известны людям, поверхностно изучающим историю в школах или даже в средненьких университетах.

Историк Мак-Нил независимо от ключевых авторов теории модернизации провел подобную работу именно в те годы, когда проблематика модернизации интересовала общество. В «Восхождении Запада» нет теоретической части, объясняющей в общих чертах, как меняется мир на протяжении столетий. Скорее всего, Уильям Мак-Нил вообще не задумывался о подобной теоретической части, поскольку историки редко прибегают к такого рода введениям в свои труды. Но если мы хотим получить всеобъемлющую картину модернизации, то нам следует читать Мак-Нила вслед за Парсонсом, Хантингтоном, Липсетом и Алмондом с Вербой — социологами и политологами, показавшими в 1950–1960-е годы, как происходит движение от традиционного общества к современному.

Любопытно, что в 1988 году, когда Мак-Нил вспоминал свой фундаментальный труд, он чуть ли не раскаивался в своем «интеллектуальном империализме» и в том, что рассматривал историю с позиции победителей, <...> уделяя мало внимания страданиям жертв исторических перемен» [Там же: 15].

Нравы тогда изменились, и объективный рассказ о том, что модернизация — штука жестокая, перестал пользоваться симпатиями значительной части читателей. Но для того, кто хочет знаний, а не политкорректности, «Восхождение Запада» по-прежнему актуально.

Распространение культуры

Развитие древнего мира Мак-Нил представляет следующим образом:

Немалую долю в истории Греции, Индии и Китая составляют события, связанные с распространением собственной культуры и стиля жизни этих цивилизаций на территории варварских стран. К 500 году до н. э. в Южную Италию, Центральный и Южный Китай и практически на все побережье Средиземного и Черного морей уже проникла или начала проникать культура цивилизованных стран (с. 324).

Распространение культуры шло, однако, неравномерно. Скажем, металлическое оружие и одежда воспринимались хорошо, поскольку были вполне совместимы с условиями жизни «варваров», а вот монументальная архитектура или теоретическая математика на периферию не проникали [Там же: 337–338].

Неравномерным было и воздействие чужой культуры на «модернизируемый народ». Так, например, македонская элита позитивно реагировала на греческие образцы и отказывалась от своей провинциальной клановости. Но македонских крестьян и простых солдат греческая культура не соблазняла. Скорее, слабые греки вызывали презрение [Там же: 375]. Похожая история случилась и с Римом. Победитель вроде бы нес изнеженным грекам идеологию доминирования простых крестьянских нравов и борьбы против морального разложения.

Однако в конечном счете римская элита попала в ловушку соблазнов греческой цивилизации и тоже «разложилась» [Там же: 427–428]. Культура более развитого народа одерживала победу даже в том случае, когда в военном отношении этот «изнеженный» народ проигрывал.

Вполне в духе теории модернизации Мак-Нил отмечал, насколько похожим образом несли римляне эллинистическую культуру в Западную Европу, а китайцы эпохи Хань распространяли конфуцианство в южных регионах своей обширной цивилизации.

Северные варвары, с которыми римляне сражались и торговали и кого они позднее приглашали в качестве солдат-наемников или поселенцев в свои земли, находились по отношению к средиземноморскому миру в том же положении, что и сюнну — по отношению к Китаю [Там же: 440].

Европа сильная своими раздорами

Но самый интересный и неожиданный для своего времени вывод Мак-Нил сделал при объяснении причин развития Европы в Средние века и в Новое время. Именно войны и нестабильность региона, разделенного на мелкие государства, историк поставил во главу угла своей теории.

Хотя политическое разнообразие и нестабильность Западной Европы приводили к хроническим войнам, это не препятствовало быстрому экономическому и культурному росту. Напротив, именно данные факторы и определили это развитие. <...> Если бы средневековая Европа была приведена к политическому миру и согласию либо сильным и успешно правящим императором, либо победившим папством, трудно представить, чтобы импульсный характер развития европейской цивилизации не стал бы чахнуть <...>. Хронические войны, являющиеся ре-

зультатом непрекращающегося политического многообразия, долго были весьма болезненной, но мощной и притом основной движущей силой жизнеспособности Запада [Там же: 708].

Впоследствии вывод о том, что именно раздробленность Европы лежала в основе ее успеха, использовался другими авторами, но первым подробно продемонстрировал это на различных примерах именно Мак-Нил. Через некоторое время после «Восхождения Запада» он написал даже специальную книгу «В погоне за мощью» (М.: Территория будущего, 2008) об истории армий и о том, как менялись со временем принципы ее построения и вооружение. Мак-Нил показал в ней, как гонка вооружений создавала все новые успешные образцы и каждая страна, не желавшая, чтобы ее завоевали, должна была данные образцы перенимать.

А к этому можно добавить, что отстающие должны были перенимать и успешные социальные институты, позволяющие выстраивать армию. Например, только тот мог одерживать победы на поле боя, кто формировал оптимальные фискальные системы, позволяющие выкачивать из населения достаточный объем налогов, не доведя при этом налогоплательщиков до голодных бунтов. Только тот мог эффективно управляться с налогами, кто готов был создавать не одни лишь большие отряды солдат, но и большие отряды бюрократов, занимающихся распределением средств. Наконец, только тот мог иметь большой отряд богатых налогоплательщиков, кто перенимал у соседей оптимальные формы поддержки предпринимательства. В общем, можно сказать, что догоняющая модернизация долгое время оказывалась успешной, поскольку каждый государь опасался потерять всё из-за нападения соседа, ушедшего вперед в деле формирования боеспособных армий, квалифицированного чиновничества и высокодоходного бизнеса.

Важнейший вывод Мак-Нила выглядит следующим образом:

Западная Европа не была так уж свободна, и не так уж она была полна творческих возможностей, но именно здесь мы можем обнаружить стимулирующее воздействие обстоятельств, которые вызвали к жизни самые разные силы огромного числа людей из общей массы всего населения. Этого никогда не могло бы произойти в обществе, где у власти стоял узкий круг лиц с одинаковым мировоззрением, пусть даже гораздо лучше образованных и опытных в государственных делах [Там же: 727].

Демократия как побочный продукт творчества

Рональд Инглхарт о значении ценностей самовыражения в модернизации

Когда глядишь на будущую модернизацию нашей страны через призму современной социальной науки, начинают просматриваться не столь уж плохие перспективы. Во всяком случае, если следовать подходу, предложенному американским политологом и социологом Рональдом Инглхартом, нынешняя российская молодежь должна рано или поздно проявить склонность к демократии.

Безопасность в основе эволюции

В книге «Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир» (М.: Мысль, 2018) Рональд Инглхарт отмечает, что существующую уже несколько десятилетий теорию модернизации следует обновить. Он предлагает «эволюционную теорию модернизации, которая гласит, что низкий уровень экономической и физической безопасности является благодатной почвой

для развития ксенофобии, сильной внутригрупповой солидарности, авторитаризма в политике и жесткого следования традиционным культурным нормам; и наоборот, безопасные условия жизни ведут к более терпимому отношению к аутгруппам, открытости новым идеям и более эгалитарным социальным нормам» [Инглхарт: 29]. Когда мы со всех сторон видим разнообразные угрозы, когда мы полагаем, будто наша страна окружена врагами, а весь мир — это огромный заговор темных сил, в нашей душе развивается подозрительность, осторожность и нетолерантность. Люди начинают искать сильных лидеров, способных их защитить. Зато отсутствие угроз формирует уверенность, дружелюбие и толерантность. В этих условиях люди стремятся сами решать свою судьбу. Происходит сдвиг от коллективизма к индивидуализму, ослабляются традиционные иерархии [Там же: 35, 67, 87].

Можно сказать, что подобные представления вполне вписываются в теорию модернизации: жизненные условия формируют наше поведение, наши институты, нашу культуру. Но, согласно Инглхарту, классическая теория модернизации слишком упирала на разум, на рационализацию поведения. А нам сегодня следует в большей степени принять во внимание и эмоции [Там же: 42]. Ведь именно они формируют чувство безопасности или страх угрозы. Если мы в эмоциональном отношении благополучны и ничего не боимся, то общество успешно модернизируется.

А вот еще одно любопытное отличие взглядов Инглхарта от классической теории. Ее представители обычно считают, что модернизация способствует секуляризации. Ведь рационально мыслящий человек не находит места для Бога и, следовательно, отказывается от веры. Но, согласно Инглхарту,

и религия, и секулярные идеологии убеждают людей, что Вселенная развивается по плану,

который гарантирует, что, если человек следует правилам, то все будет благополучно, в этой жизни или в последующей. Эта вера уменьшает стресс, позволяет людям справляться с беспокойством и фокусироваться на насущных проблемах. Без такой системы убеждений сильный стресс приводил бы к нежелательным реакциям [Там же: 100].

Получается, что, может быть, дальнейшая модернизация общества не будет убивать религию. Скорее, религия модифицируется для того, чтобы решать реальные проблемы человека, способствовать его счастью, а не загонять этого человека в стадо, живущее по указке пастыря.

Новые версии религии, которые давали бы пространство для индивидуальной автономии, могли бы обеспечить растущий рынок для новых предпринимателей от религии [Там же: 113].

От выживания к самовыражению

В другой своей книге (написанной в соавторстве с Кристианом Вельцелем) — «Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития». М.: Фонд «Либеральная миссия», Новое издательство, 2011 — Инглхарт формулирует социологическую концепцию, принципиально важную для современной России. Выглядит она приблизительно следующим образом. Демократию нельзя сформировать в любой стране при любом народе. Демократизация зависит не только от торга, осуществляющегося среди элит, не только от социальной инженерии, но еще и от глубоко укоренившихся в обществе ценностных ориентаций [Инглхарт, Вельцель 2011: 11, 16]. Все наши человеческие ценности можно собрать в две большие группы: ценности выживания и ценности самовыражения. Когда нам трудно живется, когда

нам угрожают война и голод или хотя бы товарный дефицит и высокая преступность, мы склонны всеми силами бороться за выживание. Когда же жизнь наша налаживается, когда мы не сомневаемся в собственной безопасности и в том, что, придя в магазин, сможем приобрести необходимый набор качественных товаров, на первый план выходят совсем иные задачи.

Эти изменения происходят в процессе модернизации. Они зависят от уровня социально-экономического развития общества и не зависят от особенностей той или иной культуры. Инглхарт утверждает даже, что речь идет о закономерности развития [Там же: 205]. В развитых обществах люди все чаще хотят заниматься интересной и творческой работой, хотят трудиться не только ради денег, а еще и ради результата: чтобы оставлять после себя след на Земле. Если сказать слегка высокопарно, люди стремятся выражать собственную личность.

Конечно, они не становятся строителями коммунизма, отдающими все способности для того, чтобы получать по потребностям. Капитализм сохраняется. Деньги и объемы индивидуальных покупательских возможностей по-прежнему важны. Но не менее важно становится то, что не измеришь никаким объемом потребления.

«Либеральная демократия, — отмечают Инглхарт и Вельцель, — вряд ли сможет утвердиться или действовать эффективно, если она существует в рамках культуры с преобладанием ценностей выживания, где свобода человека имеет второстепенное значение по сравнению с соответствием социальным нормам и подчинением государственной власти. <...> Люди, поглощенные заботами о физическом выживании, придают меньшее значение эмансипации личности, а потому с большей готовностью принимают — а порой и требуют — ограничения политических и гражданских свобод,

составляющих суть демократии. И, напротив, социально-экономическое развитие ослабляет такого рода ограничения независимости людей, увеличивая объем экономических, когнитивных и социальных ресурсов. Проявлением этого становится „культура самовыражения“, в рамках которой демократия воспринимается как форма правления, наиболее подходящая для максимального усиления свободы выбора» [Там же: 232, 239].

Ценности выживания часто порождают диктатуры. Люди соглашались на ограничение своих свобод, ради того, чтобы кто-то мог твердой рукой навести порядок. Ценности самовыражения с диктатурой несовместимы, поскольку творческий человек в стремлении выразить свою личность постоянно переходит дозволенные рамки. Он может, конечно, приспособляться к авторитарным режимам, если у него нет иного выхода, но он не имеет никаких внутренних стимулов поддерживать такие режимы, если встает вопрос об их замене.

Проблемы нашей страны во многом связаны с тем, что у нас, как раньше во всех западных странах, житейские трудности настраивали людей на поддержку твердой руки. Советская «экономика дефицита» настраивала по-своему, а «лихие девяностые» с инфляцией, преступностью и утратой привычной работы — по-своему. Но в любом случае люди, прошедшие через суровые катаклизмы прошлых лет, часто склонялись к мысли, что ныне нам грех жаловаться на Путина, поскольку при нем и прилавки в магазинах наполнены, и зарплату выдают регулярно, и цены растут умеренно.

Впрочем, по мере того как материальные трудности нашей жизни уходят в прошлое, у граждан России должна была, казалось бы, нарастать склонность к строительству демократии. Но этого не происходит, и аналитики, настроенные пессимистически, делают вывод, что русские, мол, на демократию вообще не способны, что души у них

рабские и что палку хозяина они уважают больше любых ценностей самовыражения. На это в теории Инглхарта есть внятный ответ, хотя он сформулирован для общества в целом, а не конкретно для нашей страны.

Изменения происходят за счет смены поколений

«Изменение ценностей в обществе происходит не мгновенно, а постепенно, в основном — за счет смены поколений». [Инглхарт 2018: 38]. Между экономическими изменениями и политическими последствиями, которые они вызывают, существует значительный временной зазор. Для формирования нашего мировоззрения важно не столько то, как мы сейчас живем, сколько то, в каких условиях выросли. Становление личности и появление духовных запросов приходится на период юности. Если в юности обстоятельства заставляли нас думать, в первую очередь, о выживании, то ценности выживания будут доминировать в сознании на протяжении всей нашей жизни. Если же юность сложилась благополучно и молодой человек мог думать о смысле жизни, о том, как выразить себя и посвятить труд любимому делу, то в дальнейшем у него будут доминировать ценности самовыражения.

Если считать, что советская эпоха и «лихие девяностые» по разным причинам были временем, не слишком благоприятным для жизни, то, значит, ценности самовыражения могли нормально формироваться лишь у того поколения россиян, которое входило во взрослую жизнь уже в XXI веке, когда, с одной стороны, установился путинский политический режим, но с другой — рост реальных доходов позволял большей части населения страны уйти от назойливых дум о выживании.

Сегодня представители этого поколения являются школьниками или студентами. Некоторые доучились и стали молодыми специалистами.

В целом же по России доминируют люди, ориентированные на выживание. Но лет через пятнадцать-двадцать, когда станет происходить смена поколений российских правителей, «новая волна», ориентированная на ценности самовыражения, будет составлять примерно половину населения страны. Эти люди вряд ли смогут бороться за высшую власть, поскольку для решения такой задачи они еще не достигнут достаточного политического веса. Но от их выбора во многом будет зависеть то, кто эту высшую власть получит. Если в «схватке» за будущее России элиты станут интересоваться мнением народа, то новое поколение, сформировавшееся в благополучные годы, скорее всего, выскажется за демократию, которая обеспечивает возможность свободного творчества, свободного поиска своего места в жизни.

Правда, это произойдет лишь в том случае, если нарастающие экономические трудности не погрузят Россию в столь длительный и глубокий кризис, при котором придется вновь думать о выживании. Если нас ждет такая катастрофа, то на развалинах одного авторитарного режима может вырасти другой.

Институциональный анализ

Как поставить правителя под контроль

*Дуглас Норт с соавторами о борьбе человечества
против насилия*

ПЫТАЯСЬ разобраться в том, когда и каким образом произойдут демократические перемены, наш человек движется обычно самым прямым путем. Как в школе учили еще со времен советской власти. Народ, полагает он, должен стать сознательным. Сознательность, в свою очередь, должна привести к победе на выборах всяких прогрессивных сил. Ну а если мирным путем прогрессивные силы не могут добиться успеха, то случается революция и новые идеи неизбежно побеждают старые.

Когда на эту схему накладывается грустная российская реальность, наш человек быстро впадает в пессимизм. Никакой сознательности в народе он не обнаруживает. Надежд на демократическую победу прогрессивных сил больше не питает. Скорее, он питает надежду на революцию, обнаруживая перемены в соседних постсоветских государствах. Однако затем наш человек делает вывод, что темный и обожающий автократию народ даже в ходе революции сделает ставку на очередного вождя. И, значит, ничего в России никогда не изменится в лучшую сторону.

Такого рода «анализ» действительности, распространенный среди некоторой части российских интеллектуалов, у профессиональных иссле-

дователей социальных трансформаций встречается не слишком часто. Разве что у марксистов и других представителей левых взглядов, по-прежнему ставящих во главу угла народные движения. Обычно ученые заходят, все же, с другой стороны. И если мы хотим понять, как смотрит на возможности позитивных изменений современная наука, нам стоит рискнуть... и попробовать отказаться от той, казалось бы, очевидной схемы преобразований, на которой мы выросли.

Как ведут себя элиты

Книга Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества» (М.: Издательство Института Гайдара, 2011) представляет как раз такой альтернативный подход. Главное в нем — понять логику поведения элит, а вовсе не широких народных масс.

Д. Норт — лауреат Нобелевской премии. И это создает дополнительный авторитет исследованию, выполненному тремя авторами, среди которых сам Норт — экономист, Уоллис — историк, а Вайнгаст — политолог. Книга, на мой взгляд, написана тяжело — явно в расчете на коллег, а не на массового читателя), и в этом смысле проигрывает большинству книг, которые я анализирую в этой своей работе. Однако благодаря идеям и содержанию она за десять с небольшим лет, прошедших со дня ее первой публикации, уже стала классикой.

Попробуем, опустив многие важные с теоретической точки зрения моменты, выделить ту линию размышлений авторов, которая нынче актуальна для России. Начинают они свое исследование с анализа институтов, то есть установившихся в обществе «правил игры» — писанных и неписанных, формальных и неформальных, выраженных в законах

или просто в принимаемых большинством нормам поведения [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 58–59]. Институциональный анализ отличается от многих других подходов. В рамках такого анализа мы исходим из того, что люди могут обладать разной культурой и психикой, но общество будет жить в основном так, как определяется сложившимися правилами игры, тогда как индивидуальные человеческие свойства будут под них более-менее подстраиваться. Институциональный анализ обычно не отрицает важности этих личных свойств и не пытается делать вид, будто все люди становятся одинаковыми, но выводит именно институты на первый план [Норт 2010: 7–24].

Итак, элиты. В принципе они могут жестко между собой враждовать и соперничать до взаимного уничтожения. Но рано или поздно в таких нежизнеспособных обществах элиты осознают необходимость компромиссов. Сначала они договариваются между собой, не думая ни о каком народе. Элиты прекращают войну на уничтожение и начинают совместно контролировать общество, вытягивая из него доходы — так называемые ренты, которые нужны не только для собственного обогащения, но и для поощрения широкого круга сторонников, помогающих элитам приходить к власти [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011: 72]. Не правда ли, знакомая картина?

Понятно, что в ситуации компромиссов те, кто стремится к получению ренты, должны умерять свои политические запросы. Иначе другие группы, ведущие себя в обычной ситуации весьма пассивно, начнут проявлять активность и нарушат сложившееся равновесие. Например, если король и его окружение хотят выжать все соки из общества для ведения войны, бароны восстанут и создадут для монарха проблемы.

Надо понимать, что «элита является не единой группой, а состоит из совершенно различ-

ных групп, которые конкурируют и сотрудничают, а иногда борются друг с другом. Поскольку они не едины, элиты не могут принять осознанное решение относительно того, чтобы сделать что-либо, не говоря уж о решении разделить власть. Члены господствующей коалиции редко настолько едины» [Там же: 264]. Причем правитель — это всего лишь один из участников господствующей коалиции. Эти моменты мы очень часто не принимаем во внимание, когда, с одной стороны, виним именно правителя во всех проблемах страны, а с другой — полагаем, будто в кризисной ситуации все «абреки и кунаки» будут действовать по его приказу.

Почему компромиссы неустойчивы

На самом деле компромисс элит — это лишь шаткое равновесие в ситуации замаскированного конфликта. И если даже элиты проявляют мудрость, стремясь не раскачивать лодку, масса внешних обстоятельств может в любой момент нарушить равновесие в коалиции, усилить одни элиты и ослабить другие. А коли так, усилившиеся элиты могут начать топить слабых, стремясь пересмотреть правила игры и увеличить собственную долю ренты.

Вероятность конфликта усиливается еще и тем, что за спинами лидеров стоят люди, которые ждут не дождутся своего вхождения в элиту. Люди, не входящие во властную коалицию, могут быть клиентами отдельных влиятельных лиц. Соответственно, при усилении политического веса патрона начинают усиливаться и они. Это сильно подстегивает любое противостояние.

Не правда ли, нервная жизнь получается у элит даже в случае достижения временных компромиссов? Понятно, почему они хотят получить больше гарантий для спокойного получения своей ренты. И ради этого идут на три фундаментальных изменения в жизни общества.

Во-первых, они добиваются верховенства права для элит, то есть для себя любимых. Права каждого патрона должны быть защищены вне зависимости от того, выиграл он или проиграл в междоусобной борьбе, и права каждого клиента тоже должны быть защищены вне зависимости от того, в чью клиентелу он входит. «Идентичные права защищать гораздо легче, чем уникальные привилегии», — отмечают авторы [Там же: 277].

Во-вторых, они формируют организации, не привязанные к отдельным вождям (такие как партии Ланкастеров и Йорков в Войнах Роз), а имеющие возможность действовать бессрочно (политические партии современного типа). Эти организации защищают своих членов и сторонников даже тогда, когда лидеры меняются.

В-третьих, они осуществляют консолидированный контроль над вооруженными силами. Понятно, что силовики всегда мощнее, чем любые группы коалиции, поэтому все вместе эти разнообразные группы (вне зависимости от междоусобных противоречий) оказываются заинтересованы не давать воли вооруженным людям.

Традиционный вопрос — как ограничить власть правителя — даже ставится неверно. Дело вовсе не в ограничении его власти, а в более широких преобразованиях. Правитель должен оказаться под контролем разных групп элиты. И, соответственно, эти группы должны быть как-то оформлены. Не на короткое время, а на длительное. Вместо отдельных лиц должны действовать целые организации, существующие постоянно и не привязанные к жизни и деятельности конкретного лидера. Вот они-то и создают систему, где устанавливается контроль за властью.

В общем, можно сказать, что демократия возникает не потому, что кто-то ее осознанно строит, реализуя великие цели свободы, равенства, братства, а потому, что господствующая коалиция оказыва-

ется не способна в какой-то момент уладить свои внутренние конфликты и так организовать сосуществование, чтобы дружно получать ренту, оттесняя от кормушек всех людей, находящихся в стороне. Ради самосохранения коалиция готова идти на смену институтов. Иными словами, демократия — это вовсе не политическая система, объединяющая хороших людей с высокой сознательностью и высоким уровнем политической культуры, а способ так сформулировать правила игры, чтобы «злые люди» не пожрали друг друга и всем участникам коалиции в конечном счете было выгодно сосуществовать.

Когда началась демократизация

Впрочем, то, что описано выше, это еще не демократия. Демократизация даже в Великобритании началась лишь с 1832 года. До этого членов парламента избирали в силу их социального статуса и личных связей. Не только простой народ, но даже многие богатые люди в выборах не участвовали. Только с 1832 года все представители элиты (только элиты!) стали пользоваться равными политическими правами. А в конце 1830-х годов возникли политические партии современного типа.

Лишь после этого процесс ускорился. Выяснилось, что права элит защищать гораздо проще в ситуации более широкой политической и экономической конкуренции. Поэтому, когда различные неэлитные группы — социалисты, профсоюзы, церкви, сторонники расширения избирательных прав — начали создавать свои организации, элиты не стали им сильно препятствовать. И хотя подготовительные процессы, обеспечивающие права элит, заняли в Англии несколько столетий, завершение процесса (переход к полной демократии) произошел за несколько десятилетий.

Примерно по такой же схеме, насколько можно судить, осуществляются процессы и в России. Пре-

образования должны соответствовать эгоистическим интересам элиты. Только в этом случае они действительно осуществляются. Сегодня наша элита озабочена нормальной защитой своих прав. Тем, чтобы существовала единая система, не зависящая от того, кто из высших персон страны сможет защитить человека в случае наезда на него со стороны силовиков. Для защиты этих прав нужны реальные политические и деловые организации, а также механизмы вывода вооруженных людей из политики. Если элите удастся в собственных интересах добиться подобных перемен, демократизация, как показывает мировой опыт, пойдет в России ускоренными темпами.

Славная революция и бесславные правители

*Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон
о пользе хороших институтов*

Много раз мне приходилось сталкиваться с однотипными недоумевающими вопросами зрителей, слушателей или читателей. Как же они там наверху ничего не понимают? Неужели не знают, что мы здесь бедно живем? Почему ничего не предпринимается? Подобные вопросы исходят из представления, будто власти должны заботиться о народе, осуществлять разумные преобразования, справедливо распределять имеющиеся блага. Значительная часть научной экономической литературы тоже исходит из такого рода предположений... И, соответственно, ничего не может объяснить тому широкому кругу людей, которых интересуют не научные абстракции, а реальная жизнь. Зато в трудах, подготовленных на стыке экономики, политологии и социологии, можно обнаружить совсем иной подход.

«С точки зрения тех, кто контролирует политическую власть, — четко отмечают Д.Аджемоглу

и Д. Робинсон, — нет никакой необходимости вводить более полезные для экономического роста или благосостояния граждан институты, если действующие институты гораздо лучше служат интересам самой власти». Когда мы исходим из подобного предположения, все быстро становится на свои места и на все недоуменные вопросы находятся убедительные (хоть и очень печальные) ответы.

Книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона *Why Nations Fail?* или в не совсем точном русском переводе «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» (М.: АСТ, 2015) сейчас является главным бестселлером для тех, кто хочет разобраться в проблемах модернизации и развития. Она настолько популярна, что даже писать о ней вроде бы смысла нет. Но, как это часто бывает, широко известными становятся в бестселлерах лишь общие положения, которые все постоянно цитируют, тогда как тонкости, важные для глубокого понимания книги, остаются незамеченными.

Деспоты благонамеренные и неблагонамеренные

В этой книге читатели обратили внимание прежде всего на то, что в разных странах существуют разные институты, глубоко укорененные в истории, а потому медленно изменяющиеся. Аджемоглу и Робинсон ввели понятия инклюзивных и экстрактивных институтов. Проще говоря, политические и экономические правила игры в той или иной стране могут строиться двумя способами. Либо эти правила вовлекают значительные массы людей в производство, в творчество, в инвестиции капитала — и тогда страна богатеет. Либо они помогают определенным элитам вытягивать из страны разнообразные богатства, и тогда государство беднеет [Аджемоглу, Робинсон 2015: 104–117]. Упадок наций в конечном счете обусловлен именно экстрактивными институтами.

В нашей стране распространено мнение, что одно другому не сильно противоречит, что можно вытягивать из страны экстракт, но при этом богатств будет хватать и той массе населения, которая к экстракту допуска не имеет. Во всяком случае события нулевых годов наводили вроде бы на эту простую мысль. Более того, многие эксперты полагали, что любители экстрактов должны развивать экономику, поскольку лишь так они смогут пользоваться своими благами достаточно долго: чем, мол, богаче страна — тем больше поле для наживы.

Аджемоглу и Робинсон обращают внимание на то, что логика правящих верхов может быть совершенно иной: им не нужны институты долговременного успешного развития. Такие правила игры лишь осложняют извлечение экстракта. В частности, потому, как отмечают авторы, размышляя о долгом (1965–1997) правлении Жозефа Мобуту в Конго (Заире), что в успешном и процветающем обществе удовлетворять личные интересы правителя будет значительно сложнее [Там же: 118].

Думается, реальность все же не совсем такова. В истории человечества было немало монархических и авторитарных режимов, в которых по разным причинам и правители благоденствовали, и народные массы становились хоть немного более обеспеченными. Но, естественно, так происходит не всюду. Благонамеренные деспоты довольно редки. В большинстве случаев итоги авторитарного правления печальны. И потому важен следующий вывод авторов книги.

Большинство экономистов и советников при правительствах всегда сосредоточены на том, как сделать «все правильно», однако что действительно нужно — так это понять, почему бедные страны делают «все неправильно». А они делают «все неправильно» чаще всего не из-за невежества своих правителей или культуры народа. Они делают «все неправильно» не по ошибке, а абсолютно на-

меренно. Чтобы понять, почему так происходит, нужно выйти за пределы экономической науки и на время забыть теории экспертов, знающих, «как все сделать правильно». Наоборот, нужно понять, как на самом деле принимаются решения, кто получает право их принимать и почему эти люди принимают именно такие решения, какие принимают [Там же: 97].

Условно детерминированный путь

И еще нужно понять, почему неблагоприятная ситуация в какой-то момент меняется и на смену экстрактивным институтам приходят инклюзивные. При размышлениях об этом Аджемоглу и Робинсон мудро сторонятся двух крайностей. С одной стороны, они не делят страны на счастливые (где все всегда хорошо) и несчастные (не способные на реформы). Но, с другой стороны, они не пытаются уверять нас, будто любой народ в любой момент может свергнуть плохой политический режим, если есть воля. Авторы книги пишут об условно детерминированном пути развития. Это значит, что возможности для преобразований всегда разные. Они зависят от множества событий, которые с нами происходили в предшествующие века. Если накопилось много благоприятных обстоятельств, способствующих преобразованиям, перемены наступят быстрее. Если же таких обстоятельств мало, перемены наступят позже либо потребуют большей удачи в самый напряженный момент борьбы реформаторов с любителями выжимать экстракт из страны в свою пользу.

Существуют в истории некие точки перелома [Там же: 569]. Вдруг (возможно, в силу случайных обстоятельств) в некой стране происходит революция или мирная смена власти. Если в долгие годы (или даже столетия), предшествовавшие этому событию, формировались важные позитивные факторы, способные повлиять на улучшение институтов, то с большой степенью вероятности произойдут по-

зитивные перемены. Если же такие факторы не накапливались, смена власти будет формальной и новые правители станут точно также тянуть экстракт себе в карман. В общем, для того чтобы понять причины богатства и бедности, надо детально изучать историю каждой страны, а не искать упрощенные ответы на сложные вопросы.

О России и о Восточной Европе в целом Аджемоглу и Робинсон пишут довольно мало. Иногда даже путаются. Так, например, они почему-то считают, что после «черной смерти» (эпидемии чумы середины XIV века) документы, подобные английской Великой хартии вольностей, «начали играть все большую роль на Западе, а на Востоке их значение уменьшилось» [Там же: 286]. На самом деле и во Франции, и в Испании дело шло к укреплению королевской власти, отказу от созыва Генеральных штатов и Кортесов (о чем, кстати, авторы сами пишут), уменьшению вольностей и установлению абсолютизма. При этом на Востоке вольности кое-где так расплодились, что в Польше возникло слабое государство, не способное создать постоянную наемную армию и в конечном счете разделенное соседями (Россией, Пруссией и Габсбургской империей) на три части. Венгрия же рухнула еще раньше под ударами турок из-за неспособности мобилизовать ресурсы для борьбы. При этом в России и Пруссии с вольностями и впрямь было плохо. Так что деление на Запад и Восток по принципу вольностей явно хромает. Реальная история намного сложнее.

Еще одна неточность авторов связана с оценкой итальянских городов-государств позднего Средневековья. «Венеция могла бы стать первым в мире инклюзивным обществом, однако не смогла этого сделать в результате политических интриг» [Там же: 214]. По мнению Аджемоглу и Робинсона, неудача эта стала следствием «национализации торговли». Согласимся с тем, что подобное госрегулирование деструктивно. Однако

в Генуе или Флоренции таких действий не предпринималось, и тем не менее они также не стали инклюзивными обществами, несмотря на блестящий расцвет культуры эпохи Ренессанса.

Зато о том, как впервые в мире сформировались устойчивые инклюзивные институты в ходе английской Славной революции (1688), Аджемоглу и Робинсон размышляют весьма обстоятельно. В отличие от многих авторов, упрощающих историю, они уверяют, что британский успех не мог быть прямым следствием римского наследия. На самом деле позитивный процесс, обусловивший перемены, начался в XVI веке, когда

Елизавета I и ее наследники не смогли монополизировать торговлю с Америкой и сосредоточить в своих руках, тогда как другим европейским монархам это удалось. В результате в Англии, благодаря трансатлантической торговле и колонизации, начала складываться группа состоятельных купцов, мало связанных с короной, но ни во Франции, ни в Испании этого не произошло. Английские купцы не желали терпеть контроль со стороны монарха и требовали изменений в политических институтах, в частности ограничения королевской власти. Они и сыграли ключевую роль в Английской, а затем и в Славной революциях [Там же: 148].

Именно разделы, посвященные Англии, стоит читать в первую очередь. Из них видно, как много казалось бы частных обстоятельств повлияло на позитивный результат. И исторические традиции, и благоприятное соотношение групп интересов, и мягкость короля Вильгельма, и создававшие важный прецедент судебные решения. Но самым главным оказалось то, что многочисленные группы победителей вынуждены были приходить к компромиссам, формируя по-настоящему широкую коалицию [Там же: 287–288]. А если возникали по-

добные коалиции, то поддержание их становилось возможным лишь с помощью системы инклюзивных институтов, которые в дальнейшем мешали желанию отдельных влиятельных персон «развернуть» историю в сторону своего «большого кармана».

Такого же рода широкие коалиции, по мнению авторов книги, возникали во всех исторических случаях, когда абсолютистские институты заменялись более плюралистическими и инклюзивными. История учит: чтобы с тобой считались, нужно и тебе считаться с другими. У нас в России пока так еще не было. Поэтому как революции с революционерами, так и реставрации с разного рода реставраторами, консерваторами и профессиональными патриотами у нас совсем не славные.

Как при входе в коридор не разбить нос о косяк

*Советы Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона
по построению демократии*

Книга Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Узкий коридор» (М.: АСТ, 2021) может считаться, наверное, вторым томом их нашумевшего исследования «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Если в «первом томе» авторов интересовал в большей степени вопрос о том, в чем причины неудач, то во «втором» — как все же можно добиться успеха. Краткий ответ состоит в том, что необходимо пройти по узкому коридору между слишком слабым государством, не способным поддерживать порядок, контролировать насилие, следить за исполнением законов, и слишком сильным, то есть таким, которое будет постоянно вмешиваться в жизнь общества, стремясь навязать ему ложные правила поведения [Аджемоглу, Робинсон 2021: 12]. Лишь в таком узком коридоре возможно формирование инклюзивных институтов.

Поиск оптимального Левиафана

Если государство не способно выполнять свои функции, то собственность и торговые сделки не будут защищены от бандитских наездов. И тогда бизнес потеряет стимулы к работе. Быть абсолютно свободным от государства — «значит быть цыпленком среди ястребов, добычей для хищников» [Там же: 45]. Если же государство будет обладать большой неконтролируемой властью, то оно само начнет прибегать к наездам с теми же последствиями для бизнеса. По мнению авторов «Узкого коридора» деспотизм Левиафана чуть лучше отсутствия Левиафана, но ненамного [Там же: 212].

Поэтому государство необходимо, но оно должно быть поставлено под жесткий контроль общества. Получается, что демократия — это важнейшее условие развития, поскольку иного способа контроля за государством не существует. Если оно растет быстро, а общество — медленно, невозможно обуздать Левиафана. Если же общество прогрессирует, но государственные институты слабы (нет возможности собрать умеренные налоги и создать хотя бы минимальный бюрократический аппарат), Левиафан не справится с защитой бизнеса.

Авторы «Узкого коридора» выводят даже своеобразную закономерность из своих исследований.

Очертания европейской истории, как и во многом истории остальных частей света, — пишут они, — в очень большой степени определяет эффект крупных потрясений, но критически важным при этом оказывается баланс сил между государством и обществом [Там же: 387].

Проще говоря, старый порядок рушится не потому, что мы хотим провести реформы, а по объективным причинам. Но вот возникнет ли на развалинах демократия, анархия или автократия, зависит от того, кто «перетянет канат», кто накопил

больше сил в предшествующие эпохи. Более того, существует своеобразная зависимость от пройденного пути. Если ваш Левиафан давно уже деспотический, избавиться от деспотизма становится значительно труднее, поскольку даже на развалинах старого порядка проще воспроизвестись сильному государству, чем сильному обществу [Там же: 108].

Самое интересное у Аджемоглу и Робинсона — это многочисленные примеры того, как в разных частях мира в разные времена осуществлялись попытки сформировать в меру упитанного, но не обнаглевшего Левиафана. В «Узком коридоре» мало теоретических рассуждений, но много конкретики. И это большое достоинство книги, написанной для широкого читателя, а не для узкого круга коллег, ссылающихся в своих трудах на авторов и тем самым увеличивающих индекс цитируемости, необходимый ученым для успешной университетской карьеры. «Узкий коридор» посвящен актуальной проблеме и написан так, что всякий, кто ею интересуется, сможет понять, о чем идет речь, не продираясь сквозь заумные формулировки.

Впрочем, достоинства порой оборачиваются недостатками, что особенно часто случается при попытке в одной книге обозреть сразу весь мир и все эпохи его развития. Аджемоглу и Робинсон полагают, что успешное продвижение в узком коридоре возможно в том случае, когда различные политические силы склонны к поиску компромиссов. И с этим вполне можно согласиться. В качестве своеобразного образца успешной политики компромиссов авторы приводят Швецию. И с этим тоже согласиться можно, поскольку Швеция — одна из немногих стран, обошедшихся без революций в Новое время. Разные конфликтующие стороны договаривались там между собой, и потому среди шведов не было таких проигравших групп интересов, которым нечего было бы терять, кроме своих цепей.

Но от чего зависит сговорчивость сторон при заключении компромисса? Существуют ли рецепты движения по узкому коридору? Понятно, что мы не можем вывести единый закон для всех случаев жизни. Многое зависит от конкретных людей и их поведения. Но в целом Аджемоглу и Робинсон проводят в своей книге мысль, что поляризации политических сил легче избежать в том обществе, где нет большого разрыва между богатыми и бедными. Например, в Пруссии с ее большими юнкерскими хозяйствами земельная аристократия не хотела договариваться с иными политическими силами [Там же: 384]. Неудивительно, что Пруссия была авторитарной страной и что в Германии (созданной на прусской основе) возник нацистский тоталитарный режим. Но вот вопрос: в Англии ведь тоже были крупные хозяйства лендлордов, возникшие в результате огораживания. И тем не менее Англия стала в Европе образцом демократизации, достигнув политического и экономического успеха раньше всех других стран за исключением Голландии. В общем, похожая структура собственности привела к совершенно иным политическим результатам.

Во Франции же крупное землевладение было сильно подорвано еще в революцию 1789 года, когда дворяне эмигрировали, а крестьяне захватили все, что «плохо лежит». Вроде бы произошло выравнивание. Но Франции пришлось пройти еще через три революции (1830, 1848 и 1870), прежде чем разные непримиримые силы смогли худо-бедно примириться и сформировать устойчивую демократию.

При чем здесь первобытная демократия

В общем, вопрос о том, какова логика вхождения в коридор, у Аджемоглу и Робинсона явно не доработан. Похоже, авторы, скорее, исходили из своей симпатии к миру относительного равенства, чем из фундаментального анализа проблемы. В итоге

создается впечатление, что основной способ вхождения в коридор демократии — это несколько раз разбить себе нос о косяк (довести дело до революций), после чего уйдет былая лихость и сформируется естественная осторожность (склонность к достижению компромиссов). Подобное впечатление, конечно, это не окончательный вывод, но из «Узкого коридора» иной вывод сделать сложно.

Еще больше претензий к Аджемоглу и Робинсону возникает, когда они переходят к фундаментальным обобщениям. Почему именно в Европе создались условия для большого экономического подъема? В поисках ответа на этот вопрос авторы уходят далеко в историю, утверждая, что началось все с завоевания Европы в V веке германскими племенами с демократической организацией, ориентированной на общие собрания, и с нормами совместного принятия решений [Там же: 224]. При чтении «Узкого коридора» создается впечатление, будто демократия была свойственна европейцам с давних времен и они смогли пронести эту традицию через века. Но, увы, как минимум два факта, приводимых Аджемоглу и Робинсоном, явно не укладываются в эту концепцию. С одной стороны, первобытная демократическая организация была свойственна и народам, жившим в Индии, но эта страна так и не стала развитой. С другой стороны, замечательные демократичные германцы через пятнадцать веков после своего прихода в Европу построили тоталитарный нацистский режим, в котором не осталось даже малейших признаков народной власти.

Никакой связи между первобытной демократией и современным успехом тех или иных стран не существует. Долгий исторический путь может привести «демократов» к самым разным политическим и экономическим системам. Все дело в деталях этого исторического пути, о чем Аджемоглу и Робинсон совершенно верно пишут в девятой главе — са-

мой удачной во всей книге. Если мы хотим понять причины успехов и неудач конкретной страны, нам надо долго и кропотливо копаться в ее истории. А ссылка на демократическую или, наоборот, тоталитарную культуру того или иного народа — это «наука» для ленивых. То есть для тех, кто хочет быстро получить желательный ответ. Непонятно, зачем авторы хорошей книги, демонстрирующей на многочисленных примерах, как разнообразные исторические повороты могут влиять на судьбы стран, прибегли к необоснованному утверждению о связи нынешних успехов Европы с германской культурной традицией отдаленного прошлого.

Одному Аллаху известно

Еще одна проблема книги состоит в том, насколько можно доверять собранным в ней интересным фактам. Размышляя о том, какую позитивную роль сыграло правление пророка Мухаммеда в Медине, авторы отмечают, что созданное им протогосударство обеспечило надежные права собственности и сдерживало межклановые конфликты. Прекратились набеги на караваны, расширились возможности для торговли. Теоретически, конечно, так и должно было быть при формировании твердой власти вместо того разбойного хаоса, который характерен обычно для кочевых племен. Но есть ли у нас точные сведения о событиях, происходивших в VII веке? Я еще склонен был бы поверить, что о наведении порядка в Медине можно судить по косвенным данным, но авторы тут же пишут, как в результате ирригационных работ «значительно увеличился объем сельскохозяйственного производства» [Там же: 172–173]. Это уже, конечно, чистые фантазии. Одному Аллаху известно, насколько эффективно при Мухаммеде копали каналы. У нас нет никакой возможности делать выводы о динамике экономики для столь далекого времени,

и тем более связывать большие перемены с преобразованиями, совершёнными одним реформатором на протяжении короткого промежутка времени. И хотя в других местах книги приведенные авторами факты выглядят вполне правдоподобно, волей-неволей закрадываются сомнения, не подгоняются ли они под теоретические выводы.

Впрочем, не ошибается лишь тот, кто не пытается ответить на сложные вопросы, актуальные для современного общества. Чем сложнее вопрос и чем больше при ответе на него возникает таких моментов, когда нам не хватает исторических данных, тем больше вероятность допустить погрешность. Тем не менее такие смелые книги, как те, что пишут Аджемоглу и Робинсон, читать интереснее и полезнее, чем многие узкоспециализированные монографии, посвященные проблемам, с которыми наука давно уже разобралась.

Свобода и защищенность

*Так Запад стал богатым, по мнению
Натана Розенберга и Л. Е. Бирдцелла*

Существует немало хороших книг, написанных на основе институционального подхода о том, как и почему именно западное общество стало успешным, тогда как разнообразные восточные — долгое время развивались не слишком динамично. Но из всех исследований я рекомендовал бы, пожалуй, для первичного знакомства с темой книгу Натана Розенберга и Л. Е. Бирдцелла «Как Запад стал богатым: экономическое преобразование индустриального мира» (Москва; Челябинск: Социум, ИРИСЭН, 2015). По сути дела, она представляет собой краткую экономическую историю Европы, но сделанную не формально-описательно (по принципу учебника, где есть всего понемногу, но без понимания, зачем читателю это следует

знать), а весьма основательно: с важной целью, состоящей в том, чтобы дать понять читателю, почему Запад развивался, а не стоял на месте.

В отличие от нее книга классика институционализма, нобелевского лауреата Дугласа Норта (с соавторами Д. Уоллесом и Б. Вайнгастом) «Насилие и социальные порядки» написана сложновато. Книга Д. Аджемоглу и Д. Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» проста для чтения, но состоит, по сути, лишь из отдельных очерков и не содержит последовательного описания истории. Зато книга Н. Розенберга и Л. Бирдцелла, хотя не слишком раскручена в прессе, а потому известна лишь сравнительно малому кругу читателей, содержит максимум информации в сравнительно небольшом объеме.

Четыре столпа успеха

Запад, по мнению авторов этой книги, стал богатым, поскольку в ходе своего развития смог обеспечить четыре важнейших достижения для роста, основанного на инновациях. Во-первых, люди в какой-то момент получили возможность свободно создавать предприятия (у них теперь могло не хватать для бизнеса денег или таланта, но не государственной лицензии или церковного благословения). Во-вторых, им разрешили свободно продавать и покупать все что вздумается, обеспечивая работу предприятий сырьем и обеспечивая себе доход реализацией готовой продукции. В-третьих, стало можно производить все что угодно, лишь бы это было выгодно. И, в-четвертых, бизнес получил защиту от «наездов» — от произвольных конфискаций и экспроприаций [Розенберг, Бирдцелл 2015: 41].

Говоря о важности этих условий, Розенберг и Бирдцелл вступают в спор с теми оппонентами, которые полагают, будто бы на Западе всегда

существовали подобные условия для развития бизнеса. На самом деле таких условий, конечно, не было. И собственность у бизнесменов запросто отнимали, и свободной возможности производить товары не имелось из-за разного рода цеховых ограничений. «Бывало так, — пишут авторы книги, — что сюзерен, используя вооруженную силу, просто грабил чужих или своих собственных арендаторов» [Там же: 76]. И в городах дела обстояли не лучше, чем на селе: «гильдии обладали политической властью, которая делала их правила обязательными и позволяла им осуждать, штрафовать и наказывать нарушителей правил» [Там же: 75]. В итоге можно сказать, что «переход от высокоорганизованного, полностью интегрированного феодального общества времен позднего Средневековья к плюралистическому обществу Европы XVIII века стал возможен благодаря ослаблению политического и церковного контроля не только в сфере хозяйственной деятельности, но также в науке, искусстве, литературе, музыке и образовании» [Там же: 44].

Розенберг и Бирдцелл полагают даже, что в Средние века не существовало свободы ценообразования:

обычным подходом было установление твердых цен на буханку хлеба, но, поскольку зерна для снабжения рынка по твердой цене часто недоставало, разрешалось изменять величину буханки [Там же: 118].

Здесь, мне кажется, авторы книги все же сильно сгущают краски: цены на самом деле менялись, конечно, хотя государство и городские власти действительно порой стремились делать их неизменными. В целом же является фактом то, что на заре европейской экономики не существовало даже относительно свободного рынка. Предприниматель был человеком, которого часто могли обидеть, лишая свобод и имущества.

Свежий ветер подул с моря

Почему же эта ситуация переменилась со временем? Вовсе не потому, что кто-то провел целенаправленные реформы. Или, вернее, такие реформы в отстающих странах проводились, но лишь в рамках догоняющей модернизации, то есть тогда, когда уже становилось очевидно, что перемены за рубежом происходят и аутсайдерам следует поскорее догонять лидеров, уходящих в отрыв. Сами же лидеры стали таковыми, скорее, вследствие случайного стечения обстоятельств.

По мнению Розенберга и Бирдцелла, единственной сферой коммерции, где не срабатывали разные государственные ограничения свободного рынка, являлась морская торговля. Она, по понятной причине, была межгосударственной, и здесь просто некому оказалось навязывать бизнесу всякие путы. В XVI–XVII веках Голландия с Англией резко расширили свое участие в морских перевозках и в свободной торговле (порой сочетающейся с пиратством), получив от подобной деятельности большие доходы. И это заставило не имевших таких доходов правителей других стран всерьез задуматься о переменах [Там же: 118–124].

Раньше перемены в частном секторе могли происходить только в том случае, когда политическая власть их игнорировала — не замечала или не имела достаточных сил, чтобы им воспрепятствовать. В остальных же случаях стремление к переменам вполне могло интерпретироваться как ересь или нарушение установленных моральных норм, что вынуждало бизнес крутиться в рамках предложенных ему ограничений. Однако в начале Нового времени монархам и прочим правителям пришлось всерьез задуматься. Они очень нуждались в доходах, которые можно было получить взимая налоги с бизнеса и в кредитах, которые этот бизнес мог предоставить в тот момент, когда доходы еще

не получены. Деньги требовались королям для обустройства армий. Ведь без сильной армии государи рисковали потерять свои земли, своих подданных и свои доходы из-за агрессии соседей. В результате оказалось, что не только бизнес зависит от властей, но и политические власти зависят от эффективной работы бизнеса.

На Западе конкурирующие центры политической власти были крайне заинтересованы в технологических изменениях, обещающих торговые или производственные преимущества и рост правительственных доходов, а потому и опасались того, что соседи опередят их во внедрении новинок. Как только стало ясно, что рано или поздно кто-либо из конкурентов выпустит джинна из бутылки, идея, что власть может противодействовать технологическим изменениям и отстаивать статус-кво, более или менее исчезла из западного сознания [Там же: 168].

Правители пришли к выводу, что у отдельных предпринимателей можно, конечно, отнимать имущество, но предпринимательство в целом следует защищать от экспроприации, ограничиваясь лишь взиманием налогов и пошлин в разумных пределах. Более того, предпринимателям надо разрешать инновации. Надо прекратить преследования бизнеса за стремление к переменам. Надо разрешить осуществление всех технологических изменений, поскольку они представляют собой не ересь, а важнейший источник пополнения казны. Таким образом, можно сказать, что конкуренция между государствами в борьбе за власть, за земли и прочие ресурсы позволила сформироваться свободной конкуренции бизнесменов в борьбе за рынки, ресурсы и доходы от бизнеса. «Между 1750 и 1880 годами, — отмечают Розенберг и Бирдцелл, — уважение западных правительств к независимости хозяйственной сферы стало буквально своего рода идеологией» [Там же: 174].

Мост инноваций

Сформировался «дикий капитализм», который романтики XVIII–XIX веков сразу же стали интенсивно ругать. Но Розенберг и Бирдцелл полагают, что

романтические представления о благополучной жизни работников доиндустриальной Европы можно отвергнуть, как чистую фантазию. <...> Если фабричный режим был жуток, то альтернативы для тех, кто голосовал своими ногами за фабрики, были еще хуже. Низкая заработная плата могла привлекать работников на первые фабрики потому, что этот маленький доход все же обеспечивал им жизнь над чертой бедности. <...> Викторианскую Англию возмутил тот факт, что дети работали на фабриках за несколько шиллингов в день, но когда парламент запретил детский труд, их места быстро заняли безземельные ирландские мигранты, которых привлекала возможность зарабатывать несколько шиллингов в день [Там же: 206].

Но главным источником богатства Запада стала, конечно, не работа за гроши. Важнее было то, что свобода предпринимательства и защищенность собственности позволили развить «особую систему инноваций сначала на уровне фирмы, а затем и на уровне всей хозяйственной жизни. Один конец этого моста представлял собой научно-исследовательские лаборатории, изобретенные для применения научных методов и знаний в решении коммерческих проблем, а другой — потребительское использование продуктов и услуг, воплощающих это знание. Уникальность Запада в том, что он сумел соединить под одним управлением, с общими целями и стимулами, центры научного знания и традиционные деловые структуры, с их функциями производства и сбыта» [Там же: 280–281].

Таков, на мой взгляд, важнейший вывод исследования Розенберга и Бирдцелла. Правда, их книга, конечно, не без недостатков. В ней маловато политики, маловато анализа той борьбы между государствами, которая, по словам самих же авторов, так важна для понимания перемен. Маловато тех важных исторических деталей, без знания которых экономическая история выглядит порой схематично. Из рассказа Розенберга и Бирдцелла мы вряд ли поймем, как и почему международная морская торговля стала столь важным сектором экономики, что вывела Голландию с Англией (далеко не самые успешные страны в Средние века) на первый план в Новое время. Мы вряд ли поймем, каким образом консервативные власти разных европейских стран «прозревали» и переходили к политике уважения бизнеса. Мы вряд ли поймем, почему этот переход был столь сложен и зачастую кровопролитен, почему он порой сопровождался революциями. Но для изучения всего этого есть другие качественные исследования — в частности, те, которые анализируются в этой книге. А книга Розенберга и Бирдцелла хороша именно тем, что сразу выделяет главное, не давая читателю затеряться в сложностях и хитросплетениях истории, оказавшейся в конце концов столь благоприятной для Запада.

Почему так сильны «слабые» меньшинства

*Мансур Олсон объясняет логику
коллективных действий*

За последние годы феноменального успеха достигли два движения — *Me too* и *Black Lives Matter*. Оба выступают против насилия, но одно связано с насилием в отношении женщин, другое — в отношении чернокожих. Успех этих движений оборачивается такими изменениями в обществе, о которых

лет десять назад невозможно было даже подумать. Рушатся карьеры успешных мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах, а кое-кто даже отправляется за решетку. В Америке сносят памятники историческим деятелям, на которых, казалось бы, эта Америка стоит. В каком-то смысле разрушаются вековые устои общества.

Не будем сейчас давать этическую оценку этим событиям. Не будем рассуждать, хорошо все это или плохо. Не будем политизировать анализ и попытаемся остаться строго в рамках науки. Попробуем ответить на вопрос, почему сравнительно малым по численности группам населения удается нанести удар по таким ценностям, которые недавно еще представлялись нерушимыми и интерпретировались как ценности, присущие всем людям (по крайней мере, в США). И, как ни странно, для ответа нам понадобится на минутку уйти в совершенно иную сферу — в экономику, где лоббистские группы борются за свои высокие прибыли.

Почему большинство все это терпит

Допустим, вы являетесь отечественным производителем и хотите оградить рынок от зарубежных конкурентов с помощью высоких таможенных пошлин. То есть осуществить эдакое импортозамещение в собственных интересах. В экономической науке эффективность протекционизма подвергается большому сомнению, но тем не менее матерым отечественным производителям часто удавалось пролоббировать если не полный запрет на импорт ряда товаров (как у нас сегодня в отношении продуктов, поставляемых из Евросоюза и Северной Америки), то по крайней мере высокие таможенные пошлины. А как только такие пошлины появляются и импорт дорожает, «наши герои» тут же вздувают цены и кладут к себе в карман дополнительные прибыли. Все общество расплачивается за их стремление на-

житься и послушно «кушает» сказку про необходимость поддержки отечественного производителя. Почему такое возможно? Почему люди это терпят?

На данный вопрос ответил Мансур Олсон в книге «Возвышение и упадок народов» (М.: Новое издательство, 2013). Он описал так называемую логику коллективных действий. Суть его вывода сводится к тому, что выигрыш, который получают большие группы, отстаивая свои интересы, оказывается довольно мал в расчете на каждого их члена. Более того, в выигрыше в равной мере окажутся как реальные борцы, так и «безбилетники», то есть те, кто не вносил в борьбу никакого вклада. А вот выигрыш малых групп весьма соблазнителен [Олсон 2013: 34, 50].

В случае с протекционизмом картина наша такова. Сильно ли мы с вами проигрываем, когда платим высокую цену за сыр, подорожавший из-за протекционизма? Честно говоря, не очень. Во всяком случае, наш проигрыш не настолько велик, чтобы побудить значительную часть потребителей бросить привычную, любимую работу или отказаться от отдыха, для того чтобы все свои силы отдать борьбе за свободу торговли. Дело кончается тем, что небогатые люди покупают чуть меньше сыра, а богатые платят за него больше, чуть-чуть сокращая свои сбережения. Все, конечно, ворчат и ругают правительство, но такое поведение проще борьбы за свои интересы. При этом движения потребителей существуют в мире, но они обычно являются не самыми сильными лоббистами. Еще слабее налогоплательщики. Они вроде бы должны быть заинтересованы в одновременном снижении налогов и государственных расходов, которые лоббируют малые группы. Но как же слабы налогоплательщики и как мало они добиваются в сравнении с бизнесменами, профсоюзами, генералами, аграриями, женщинами, чернокожими, мигрантами, религиозными и сексуальными меньшинствами...

Вот кто по-настоящему силен, хотя порой сравнительно мал численно. А еще надо принять во внимание разнообразных юристов, которые за хорошие деньги помогают «малым группам» отстаивать свои интересы и в итоге сами становятся такой же «малой группой», получающей выгоду от лоббизма [Там же: 98–99].

Мал, да удал!

Вот здесь мы подступаем к нашей основной теме. «Члены „малых“ групп, — пишет Олсон, — обладают непропорционально большой организационной властью для осуществления коллективных действий; эта диспропорция с течением времени в стабильных обществах уменьшается, но не исчезает» [Там же: 62]. Проще говоря, им есть за что бороться, и выигрыш в случае успеха будет значительным. Для одних групп это торговые прибыли. Для других — возможность отсудить миллионы у «насильника». Для третьих — социальные льготы. Для четвертых — возможность вести нормальный образ жизни без дискриминации со стороны большинства. Ну а для большинства задача оторвать задницу от дивана и сделать что-то против сплоченного меньшинства оказывается порой нерешаемой. Значительная часть полусонного большинства, не следящая за политическими событиями и экономикой, даже не знает, как сплоченное меньшинство борется за свои права.

Таким образом, с точки зрения Олсона реальная картина современного общества — это не столько свободный рынок, на котором действуют индивиды в соответствии со своими интересами и на котором все получают доходы пропорционально своему вкладу, сколько совокупность мощных распределительных коалиций, вытягивающих из рынка все, что дают им их коллективные лоббистские действия. Именно поэтому профсою-

зы в свое время добивались повышения зарплаты, бизнесмены — таможенных пошлин, оборачивавшихся ростом цен, а военно-промышленный комплекс — больших оборонных расходов. Именно поэтому в свое время возникли системы социального обеспечения, съедающие значительную долю общественного пирога. Правда, по мнению Олсона «привычный образ нарезания общественного пирога в действительности не схватывает сути ситуации; лучше, наверное, представить себе борцов, дерущихся за содержимое магазина фарфоровых изделий» [Там же: 65]. Автор «логики коллективных действий» написал эту фразу много лет назад, но именно сегодня становится особо актуальна проблема ожесточенной драки в посудной лавке, после которой может вообще не остаться никакой посуды.

Проблема развития народов состоит не в том, что люди, мол, плохо понимают необходимость снижения налогов, отмены таможенных барьеров, ликвидации привилегий отдельных групп и т. д., а в том, что эти группы, или, точнее, распределительные коалиции, в которые они фактически объединяются, по объективным причинам оказываются сильнее в борьбе за ресурсы и готовы ради своей выгоды предпринимать действия, тормозящие развитие экономики [Там же: 92]. Даже при высоком уровне экономической грамотности чрезвычайно трудно мобилизовать десятки миллионов потребителей или налогоплательщиков на борьбу за свои интересы, тогда как десятки тысяч представителей этих распределительных коалиций мобилизуются сравнительно легко.

Возвышение и упадок народов

Правда, цивилизованные общества научились более-менее решать данную проблему. Именно поэтому Олсон отметил, что со временем диспропор-

ции уменьшаются. «Малые группы» добиваются своего, но они не могут перетягивать на себя ресурсы общества бесконечно. Когда возникает угроза перебить большую часть посуды, включаются механизмы, останавливающие аппетиты «малых групп». Завоеванные права и льготы обычно остаются у них, но дальше определенной границы им не удастся продвинуться. Таким образом, как *Me too*, так и *Black Lives Matter*, скорее всего, добьются многого, однако Америку не разрушат. Лидеры движений станут богатыми, влиятельными людьми, однако мир не будет стоять перед ними на коленях, вечно вымаливая прощение за свои прегрешения.

На этом можно было бы закончить рассказ о «логике коллективных действий», но вспомним, что книга Олсона называется «Возвышение и упадок народов». Если теория Олсона верна, то получается, что

чем дольше демократические страны обладают свободой организации при отсутствии потрясений или вторжений, тем более они будут страдать от подавляющих их экономический рост организаций и сговоров. Это помогает объяснить, почему у Великобритании — великой страны с самым продолжительным иммунитетом к диктатуре, вторжениям и революциям — были в этом столетии (XX веке. — *Д. Т.*) более низкие темпы экономического роста, чем у других крупных развитых демократических стран [Там же: 108].

А вот в таких малых и относительно однородных обществах, как скандинавские, больше вероятность возникновения всеохватывающих организаций. Например, в послевоенное время там существовали профсоюзы, включавшие практически всех работников физического труда. Такие организации, по мнению Олсона, чаще поддерживают

меры, способствующие экономическому развитию, чем конкурирующие между собой за ресурсы малые группы, характерные для США и Великобритании [Там же: 124–125].

Еще один важный вывод, следующий из «логики коллективных действий», состоит в объяснении экономического успеха европейских стран в начале Нового времени. Создание больших централизованных государств позволило устранить влияние цеховых распределительных коалиций, формировавшихся в средневековых городах. Бизнес вышел за пределы этих городов и расположился в тех регионах, которые раньше были отсталыми. В Средние века сильные города часто устраняли конкурентов, возникших в «деревенской» промышленности, но в централизованных государствах возможность такого силового давления исчезла, поскольку контролирующие всю государственную территорию монархи были заинтересованы не в защите отдельных городских привилегий, а в максимизации налоговых поступлений и, соответственно, в общем экономическом развитии [Там же: 161–168].

По всей видимости, теория верна и много дает нам как для понимания истории европейского развития, так и для осмысления проблем современного мира. Но все же нам следует учитывать, что в реальности на возвышение и упадок различных народов действуют многие факторы. Скажем, в России не сформировалось сильных профсоюзов, способных бороться за высокую зарплату, однако лоббистские возможности «олигархов» весьма велики. Некоторые субъекты федерации слабы и потому бедны, а в некоторые другие — из Москвы перекачиваются значительные ресурсы, поскольку так проще поддерживать в них порядок. Дело здесь, по всей видимости, не только в силе малых групп и распределительных коалиций.

Почему процветает Китай, а не Россия

Неочевидный ответ Мансура Олсона

Мансур Олсон известен в исторической социологии двумя ключевыми тезисами: о стационарном бандите, приходящем на место бандита кочующего для учреждения государства, и о логике коллективных действий, с помощью которых разнообразные группы интересов это самое государство подрывают. Но в его книге «Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры» (М.: Новое издательство, Библиотека Фонда «Либеральная миссия», 2012) не это главное. Тем не менее скажем сначала пару слов о бандитах. Не только потому, что это интересно, но и потому, что важно для понимания принципиальных выводов.

Кочующий и стационарный бандит

Во времена далекие, теперь почти былинные (как сказал бы, наверное, Владимир Высоцкий), существовали всякие дикие народы, кормившиеся за счет набегов на города народов оседлых. Эти кочующие бандиты грабили население до последнего гроша, дома поджигали, мужчин убивали, женщин насиловали, детей уводили в рабство. Так и жили. Кормились с большой территории. Поскольку на малой могло просто не хватить городов для разбоя. И вот в какой-то момент стало ясно, что кочующему бандиту проще превратиться в стационарного. Сесть на трон, жить на одном месте, города сохранять, мужчин и детей не трогать, женщин... (ну, здесь сложнее, конечно)... Но главное для такого стационарного бандита — это облагать податью покоренное население с тем, чтобы оно могло работать и кормить захватчиков постоянно. Проще говоря, оказалось, что забирать себе всё имущество труже-

ников или даже большую его часть прагматичному бандиту невыгодно. Выгодно забирать часть разумную: и себе хорошо, и народу — терпимо.

Поэтому превращение в стационарного бандита вполне осмысленно для любого предводителя кочующих бандитов, да и для каждого, кто достаточно силен для того, чтобы взять на себя эту роль. Вот почему на протяжении всей человеческой истории большинством крупных человеческих популяций управляли автократы [Олсон 2012: 112].

Так возникло государство. Если выразиться по-научному, а не «по-бандитски», произошло это в результате осуществления важнейших институциональных изменений. Наш бандит ввел новые «правила игры», превратившись тем самым из кочующего в стационарного, а затем заставил играть по этим правилам все население, находящееся на подконтрольной территории [Там же: 33–36].

Понятно, что эта краткая схема представляет собой чрезвычайно сильное упрощение, но общую логику действий господствующего племени (народа, класса, социальной группы) она передает. В рамках этой логики под воздействием разных конкретно-исторических обстоятельств могло возникать множество вариантов государственного строительства, вплоть до призвания бандитов (варягов) самим населением с целью наведения порядка на Руси. При этом, как справедливо отметил Олсон,

предприниматели на ниве насилия не называли себя бандитами, а, напротив, давали себе и своим потомкам самые благородные титулы. Порой они даже утверждали, что правят на основании божественного права [Там же: 38].

Однако чем сложнее становилось государственное устройство, тем больше у несчастных стационарных бандитов (князей, царей, королей, императоров,

президентов, премьер-министров, генеральных секретарей, дуче, каудильо и фюреров) становилось проблем. Не имея достаточной информации о жизни и доходах вверенного их заботам населения, они недобирали налогов, а при введении государственного регулирования экономики и систем социального страхования сильно переплачивали из бюджета разного рода лоббистским группам. Эти сплоченные коллективы могли, используя разные методы убеждения (вплоть до подкупа чиновников или воздействия на сознание избирателей с помощью массмедиа), выторговывать всякие льготы, а бремя издержек содержания себя любимых перекладывать на госбюджет и честного налогоплательщика. В общем, действовали эти группы почти по-бандитски, не давая высокопоставленному стационарному бандиту цивилизованно управлять своим государством.

Левая невидимая рука

В книге «Власть и процветание» Олсон сформулировал два тезиса, объясняющих при каких условиях стационарный бандит, превратившийся в цивилизованное правовое государство, может минимизировать указанные выше проблемы. Ему вновь необходимо осуществить институциональные преобразования, то есть скорректировать старые «правила игры». Во-первых, он должен защищать индивидуальные права своих граждан (в том числе право собственности), не наезжая на них и соблюдая требования закона. Во-вторых, он должен пресекать действия всяких прочих (помимо себя) хищников, которые хотели бы ради поживы наезжать на обывателей, — слабых, но эффективно трудящихся и создающих благодаря этому разнообразные блага. В том числе он должен пресекать и действия сильных лоббистских групп, грабящих население не напрямую, а через посредство госбюджета.

Получается, что этот стационарный бандит, действуя в собственных интересах, действует и в интересах общества тоже. Возникает механизм, напоминающий действие невидимой руки Адама Смита, и Олсон задается вопросом, не следует ли нам назвать эту своеобразную руку левой невидимой рукой? [Там же: 40]. При действии «правой» невидимой руки люди организуют эффективное рыночное хозяйство, ни о чем не договариваясь между собой. При действии «левой» невидимой руки возникает эффективное государственное управление, и опять же без всякой договоренности между разными группами интересов.

В принципе, выводы эти для нас сейчас более-менее очевидны. Но Олсон получает из них любопытные практические следствия, далеко не столь очевидные и весьма актуальные для сегодняшней России. Во-первых, он объясняет, почему у Китая получились такие хорошие реформы во времена Дэн Сяопина, тогда как в СССР при Горбачеве все пошло из рук вон плохо. Во-вторых, он объясняет, какие неприятные последствия получаются в том случае, когда нелиберальное государство слишком много власти и собственности подгребает под себя.

Обычно приходится слышать, что Китай процветает, поскольку проводил, мол, не шокотерапию, а постепенные преобразования, сохранил Коммунистическую партию и поддержал старые государственные предприятия, а также плановую систему, сочетающуюся с рынком. Большинство таких рассуждений находятся в интервале от спорных и недоказанных до откровенно нелепых. На самом деле интересен вопрос о том, почему при Дэн Сяопине китайское руководство не раскололось, не вступило во внутренний конфликт, не породило сильные консервативные группы и смогло проводить нужные стране реформы, несмотря на ужасающую бедность населения, кото-

рому тогда жилось намного хуже, чем нам в «лихие девяностые». Ведь важнейшей проблемой советской перестройки и последующих реформ была неспособность Горбачева и Ельцина удержаться от популизма, развалившего экономику.

В свете теории Олсона объяснение таково. В Китае 1970-х годов не было сильных лоббистских групп, которые могли бы противостоять реформаторскому руководству Дэн Сяопина, поскольку их уничтожил еще Мао Цзэдун в ходе так называемой культурной революции, направленной против разнообразных китайских элит (так называемых красных мандаринов). После нее пекинские руководители оказались так сильны, а общество так слабо, что вынуждено было послушно следовать за «генеральной линией партии» и тогда, когда эта линия была коммунистической, и тогда, когда она стала реформаторской. Отсутствием оппозиционных лоббистских групп Олсон объясняет также экономическое чудо в Германии и Японии после Второй мировой войны. Если в Китае возможных лоббистов уничтожил сам лидер страны, то в Германии и Японии сильные промышленные лоббисты, сотрудничавшие с милитаристскими режимами, стали жертвами военного поражения. При оккупационных властях они носа не смели высунуть, а не то чтобы требовать себе денег, льгот и курса на импортозамещение [Там же: 177–180].

В чем состояла наша неудача

Нетрудно заметить, что в перестроечном СССР и в пореформенной России многочисленные группы интересов — от всяких матерых товаропроизводителей до заматеревших генералов — все время давили на власть, требуя себе материальных благ, участия во власти и выгодных условий приватизации. Именно отсюда проистекают наши печальные результаты. Впрочем, по окончании «лихих девя-

ностей» власть, как известно, эти результаты обнаружила и стала предпринимать усилия для восстановления вертикали власти: нагнула олигархов, установила просвещенный «вертикализм», собрала налоги, пресекла сепаратизм регионов, подчинила государству телевидение и, наконец, резко увеличила роль государственного регулирования и даже государственной собственности в экономике.

Согласно теории Олсона, такого рода жесткая борьба с группами интересов обычно оборачивается вовсе не победой, а поражением государства. Сосредоточивая в своих руках то, что надо и не надо, оно теряет возможность контроля над ситуацией. У предприятий и конкретных людей оказывается все меньше стимулов для того, чтобы хорошо работать. Приходится их заставлять быть честными, направлять для надзора за ними все больше чиновников. Но чиновники эти, как их ни корми, всё в лес смотрят. Образуют с контролируемым бизнесом новые группы интересов. В результате возникает коррупция. Для пресечения коррупции государство пользуется услугами еще более высокопоставленных чиновников и силовиков. Но и они в конечном счете оказываются коррумпированы. Если рассуждать в терминах Олсона, то можно сказать, что люди добровольно объединяются во все новые банды, чтобы противостоять стационарному бандиту для защиты своих интересов.

Таким образом, мы имеем две разные модели. Китай, хоть и не пресек коррупцию, но дал свободу бизнесу в условиях, когда лоббистские группы были слабы и не могли заставить власть перераспределять в свою пользу ресурсы. Отсюда — высокие темпы роста ВВП и даже процветание при авторитарной власти. Россия же в 1990-е годы дала свободу бизнесу, но пресечь лоббизм не смогла, что ослабило государство и сделало его популистским. А когда новая власть ограничила свободу бизнеса и усилила государство, разнообразные группы интересов ста-

ли использовать его в своих корыстных целях. В результате экономика остановилась, а группы интересов продолжили богатеть, несмотря на грозный окрик со стороны Кремля.

Как бы нам стать Данией?

*Фрэнсис Фукуяма определяет,
что нужно обществу для успеха*

Американский социолог и политолог Фрэнсис Фукуяма (автор популярного уже на протяжении трех десятков лет «Конца истории») недавно подметил, что во многих отстающих странах сформировался своеобразный запрос на то, чтобы стать Данией. «Все хотели бы узнать, как превратить Сомали, Гаити, Нигерию, Ирак или Афганистан в Данию» [Фукуяма 2015: 35]. Не то чтобы обязательно именно в Данию. Можно и в Швецию либо в Норвегию. В моем родном Петербурге за образец берут обычно Финляндию, находящуюся по соседству. Ведь малые скандинавские государства — это идеал, который всех притягивает. Высокий уровень экономического развития, социальная защита, экологически чистая среда... И все это достигнуто, казалось бы, без крови, революций, гражданских войн.

Вопросу о том, как стать успешным государством, Фукуяма посвятил двухтомник, состоящий из книг «Государственный порядок» (М.: АСТ, 2015) и «Угасание государственного порядка» (М.: АСТ, 2017). Переводы названий неточны. На самом деле Фукуяма использует понятие «политический порядок», отсылающее к изученной нами ранее книге его учителя С. Хантингтона. Впрочем, названия книг вообще обманчивы. По сути дела, Фукуяма представил исследование не о политике и даже не о государстве в узком смысле слова, а о богатстве народов. О том, почему одни нации стали успешными, по-

что как Дания, а другие затерялись на долгом пути развития, погрязнув в коррупции, диктатуре, нищете и внутренних конфликтах.

Закон консервации институтов

Для начала Фукуяма формулирует «что-то вроде закона консервации институтов. Люди по своей природе — животные, следующие определенным правилам: они рождаются, чтобы приспособиться к социальным нормам, которые видят вокруг себя, и они укрепляют эти нормы, часто наделяя их сверхъестественными смыслами и ценностями. Когда окружающая среда изменяется и возникают новые проблемы, зачастую между существующими институтами и нынешними нуждами возникает разрыв. А вдобавок эти институты поддерживаются легионами защитников, сопротивляющихся любым существенным изменениям» [Фукуяма 2015: 26]. Поэтому «процесс изменений состоит не из постоянных маленьких корректировок, ориентирующихся на смену условий, но, скорее, представляет собой период затянувшегося застоя, прерываемый катастрофической ломкой» [Там же: 74].

В книге «Отставание», специально посвященной анализу Латинской Америки, Фукуяма с соавторами показали, как непросто сформировать эффективные институты [Фукуяма 2012]. Но как же при этом можно двинуться вперед? Причина успеха вроде бы проста. Надо одновременно достичь трех результатов. Во-первых, построить сильное и дееспособное государство. Во-вторых, добиться того, чтобы государство это подчинялось законам, им же установленным. В-третьих, обеспечить подотчетность правительства гражданам [Фукуяма 2015: 37, 525]. Провал хотя бы по одной из позиций означает общий провал всей модернизации. Без сильного и дееспособного государства получится война всех против всех, даже если демокра-

тизация формально обеспечит уважение к законам и ответственное перед парламентом правительство. Если же в сильном государстве правительство не будет подотчетно народным избранникам, оно само станет источником злоупотреблений. Возможно, больших, если оно еще и не чтит закон. Возможно, малых, если чтит.

Оптимальное сочетание достижений по отмеченным пунктам возникло в Западной Европе [Там же: 45]. Но как европейским странам удалось добиться успеха по всем трем позициям? Почему у других стран это плохо получилось? Фукуяма не тратит много бумаги и чернил на общие советы о сочетании хорошего с лучшим. Стараясь избежать как абстрактности экономических теорий, так и чрезмерной конкретики исторических исследований [Там же: 48], он разбирает опыт ключевых стран мира, сопоставляя их между собой и показывая, как за века и даже тысячелетия страны эти дошли до жизни такой: плохой или хорошей.

От Испании до Китая

В анализе длительного исторического пути состоит явное достоинство этих книг, хотя сам Фукуяма осознает, что, когда затрагиваешь огромный массив фактов, неизбежны частные ошибки и связанная с ними критика со стороны узких специалистов. Тем не менее историческая социология не может обойтись без такого подхода, поскольку запрос на анализ реальных причин успешной модернизации давно уже существует, а любые попытки размышлять о ней без фактов или без обобщений приводят к совершенно ошибочным, а иногда даже комичным результатам.

Вывод, к которому приходит Фукуяма, состоит в том, что конечный успех зависит от соотношения сил различных групп интересов, борющихся друг с другом на протяжении долгого времени.

Чудо современной либеральной демократии <...> могло возникнуть только в результате существования в обществе жесткого баланса сил между различными участниками политического процесса [Там же: 406].

А если некоторые элитные группы начинают слишком сильно влиять на власть, разрушая баланс, начинается упадок демократии [Фукуяма 2017: 546].

В Китае сильное государство вообще «не было скомпенсировано другими институционализированными центрами власти, которые могли бы обеспечить что-то подобное верховенству закона» [Фукуяма 2015: 133–134]. Отсюда возникло отставание в ту эпоху, когда Европа двинулась вперед. Но и в Европе все было непросто. Успех зависел еще и от того, как государство соблазняло «малых сих» своими благами, раскалывая возможные конструктивные коалиции. Например, в тех странах, где возник абсолютизм, влиятельные группы интересов соперничали между собой за возможность урвать частичку «разбрасываемых» правительством благ вместо того, чтобы совокупными усилиями сформировать механизм контроля за его действиями.

В Испании и Франции старая аристократия (дворянство шпаги) стремилась максимально сохранить свои позиции на местах, получая традиционную земельную ренту, а новая бюрократия (дворянство мантии) покупала у короля должности для того, чтобы получать с них административную ренту (по сути дела, взятки). Налоговое бремя падало на простых горожан и крестьян, что им, естественно, не нравилось. В конечном счете государство слабело, не имея возможности толком собрать достаточный объем денег на свои нужды. Так дело дошло до революций, разрушивших старый режим и создавших на его обломках новые условия для поиска компромисса различными группами [Там же: 420–464].

В Венгрии и Польше картина была прямо противоположной. Влиятельные группы еще в Средние века ослабили государство, не став ждать милостей от природы, а взяв их с земли самостоятельно. Короли испытывали трудности в фискальной сфере не столько из-за малой налогооблагаемой базы, сколько потому, что дворянские сеймы вообще не желали толком делиться с ними своими земельными доходами. Противопоставить дворянству буржуазию монархи в Восточной Европе не могли в связи со слабостью городов и отсутствием мощного бизнеса. В итоге им трудно было профинансировать наемные армии и создать эффективное войско, что для Венгрии закончилось в XVI веке поражением от турок, а для Польши — в XVIII столетии знаменитым разделом между Пруссией, Австрией и Россией [Там же: 465–480].

В самой же России государство по мощи приблизилось к китайскому [Там же: 483, 500], подмяв любое возможное сопротивление групп интересов и заставив работать их на себя вне зависимости от собственного желания. Это усиление государства сделало невозможным как следование закону, так и тем более формирование подотчетного правительства. Отсюда — известные нам печальные результаты.

Английский успех

Как же в таких условиях получить прекрасную Данию из перегрызшихся между собой кучек эгоистичных дворян, бюрократов, бюргеров и крестьян? Про саму Данию и других ее северных соседей Фукуяма написал мало, но английский пример разобрал подробно, считая (и справедливо) его образцом успеха модернизации. Здесь, правда, к осуществленному им анализу возникают серьезные вопросы.

В попытке объяснить, почему ко времени английской революции середины XVII века парламент

смог объединить различные силы, твердо противостоящие королю, Фукуяма вдруг отошел от анализа групп интересов и стал говорить об идущем из глубины веков уважении европейцев к закону. Особенно в Англии, где традиционно сильна была система местного самоуправления, уважалась собственность, отсутствовали конфискации и доминировало общее право [Там же: 321–332, 348, 365–367, 414, 508–512, 523–524]. Фукуяма, конечно, прав в оценке большой роли права в давние времена, но, увы, истории известны многочисленные факты столь же бесцеремонного нарушения прав собственности в Англии, как и на континенте. Экспроприация имущества евреев в XIII веке, экспроприация собственности католической церкви в XVI столетии и многочисленные наезды власти на политических противников, которые в случае проигрыша лишались возможности себя защитить. Загадка модернизации как раз в том и состоит, что в определенный момент английские институты переменялись, собственность стала вдруг почитаться, произошла промышленная революция и начался экономический рост, позволивший Великобритании обогнать континентальные страны.

В общем, либо мы анализируем реальные социальные процессы и ставим вопрос о том, почему в Англии борьба между группами интересов привела к компромиссу, заключенному, по всей видимости, в ходе Славной революции (1688), а то и позже. Или мы исходим из особой предрасположенности англичан к почитанию закона, и тогда вряд ли объясним, почему это их удачное свойство не предотвратило войну Алой и Белой розы — одну из самых жестоких и бескомпромиссных в Средние века. Не объясним мы и то, почему Англия в плане развития экономики долгое время уступала Фландрии, Брабанту, Северной Италии и целому ряду германских городов. Не объясним, почему при таком «исконном почитании законов» Стюарты даже

в XVII веке пытались построить на острове стандартный континентальный абсолютизм и проиграли парламенту лишь после долгой борьбы.

Фукуяма — сильный аналитик, за спиной которого есть целый ряд отличных научных работ. И в целом подход, предложенный в его книгах к анализу модернизации, выглядит одним из самых плодотворных в исторической социологии. Сделанный им разбор торможения и провала модернизации в разных странах очень интересен. Однако, похоже, и Фукуяма, как многие его предшественники, пал жертвой непредумышленного стремления объяснить успех Запада посредством нахождения в западном менталитете особых свойств, которыми на самом деле он не обладал.

Тайное «оружие» Китая,

открытое Рональдом Коузом и Нином Ваном

Авторитарный коммунистический Китай, сохраняющий большую роль государства в хозяйственной системе, без всякой приватизации выбился за последние сорок лет в мировые лидеры по экономическому росту и фактически догнал уже США по общему объему ВВП. Можно ли, видя все это, утверждать, что именно смена институтов, обеспечивающая защиту частной собственности, делает бедные страны богатыми? На первый взгляд пример Китая подрывает доверие к институциональному анализу. Сколько бы ни давали разнообразных исторических примеров Дуглас Норт или Дарон Аджемоглу с соавторами, китайский парадокс будет вклиниваться в теоретические рассуждения. Захотела, мол, КПК изменить мир — взяла и изменила. Вот и вся вам институциональная теория. Но в книге нобелевского лауреата по экономике американца Рональда Коуза и китайско-американского экономиста Нина Вана «Как Китай стал ка-

питалистическим» (М.: Новое издательство, 2016) рассказывается о малоизвестных сторонах рыночных преобразований, начавшихся при Дэн Сяопине. Выясняется, что на деле все было совсем не так, как в легендах.

Железная миска риса

Распространенный миф о китайской экономической реформе состоит в том, что Пекин не делал никаких резких перемен, сохранил монополию компартии на власть и доминирование госсобственности. Разумное централизованное планирование и постепенность преобразований позволили Китаю развиваться высокими темпами и захватить значительную часть мирового рынка.

Подобное объяснение вполне устраивает читателя, если он не изучал опыта реформ в других странах и верит на слово теоретикам. Но даже сравнение с советскими преобразованиями времен перестройки заставляет задуматься о том, так ли все было в Китае на самом деле. Михаил Горбачев поначалу не собирался отказываться от монополии КПСС на власть и доминирования госсобственности. Он предпочитал постепенно совершенствовать социализм вместо того, чтобы быстро двигаться к рынку. Однако в 1990 году такая стратегия привела к полному опустошению прилавков, а также снижению эффективности и без того не слишком эффективной советской экономики. К тому времени, когда Егор Гайдар отпускал цены, на руках у населения скопилась масса купюр, на которые ничего было не купить, и даже конфискационная денежная реформа Валентина Павлова не смогла вернуть сбалансированность.

Выходит, что китайцу здорово, то русскому карачун? И не осуществить нам никогда серьезных позитивных реформ, поскольку для этого в России не хватает китайцев?

У Рональда Коуза и Нина Вана дается не вполне привычное для нас, но основанное на серьезном изучении китайского экономического опыта объяснение причин реформаторского успеха Пекина. Вот для начала несколько любопытных фактов об «успехах» преобразования госсектора. В 1988 году — через 10 лет после начала реформ Дэн Сяопина — почти 11% китайских госпредприятий были нерентабельными. Еще через год их стало 16%, а в 1990 году — 27%. Еще через три года доля убыточных госпредприятий дошла почти до трети (30%), а в 1995 году — до 40%. Выборочное исследование, сделанное в 1994 году по 16 крупным городам (включая Шанхай), показало, что там ситуация еще хуже — более половины предприятий не покрывают расходы доходами [Коуз, Ван 2016: 199]. Естественно, в этой ситуации госбюджет должен был покрывать убытки заводов своими дотациями. Ведь китайский рабочий имел негласное право на «железную миску риса», и эту миску ему надо было на что-то покупать даже при убыточности предприятия.

Вот эта картина нам понятна и знакома. В СССР перестроечных времен все было точно так же. И денежную массу советская власть резко увеличила именно потому, что надо было чем-то дотации давать, дабы не допустить закрытия предприятий и возникновения безработицы. Получается, что в реформе госсектора особых различий между нашими странами не было. Как же тогда Китай добился успеха?

Эффект «красной шапочки»

Самые важные сдвиги происходили не в сердцевине экономики, а на ее периферии, слабо контролировавшейся государством. И первопроходцами тут были не государственные предприятия — привилегированные экономические агенты, гордость социализма, — а обездоленные, оставшиеся не у дел маргиналы [Там же: 77].

Коуз и Ван пишут, что произошли важнейшие трансформации за счет четырех «периферийных реформ», которые представляли собой столь «тайное оружие» реформаторов, что даже китайским властям поначалу казались малозначимыми.

Во-первых, преобразилось сельское хозяйство, где вместо коммун стали появляться фермеры, мотивированные рынком, а не государством. Во-вторых, в городах допустили индивидуальную трудовую деятельность. При этом, поскольку коммунистические власти не стремились переходить к капитализму, индивидуальные предприниматели были ограничены в праве нанимать работников.

Тоже всё, как у нас. Но дальше начинаются интересные различия. Потенциальные китайские капиталисты стали обходить запрет в деле создания крупных предприятий с помощью местных органов власти. Они формировали большое число поселковых и волостных предприятий, которые считались, конечно же, государственными и могли нанимать на работу необходимое число людей, но средств для инвестиций не имели. Поэтому на самом деле за многими такими предприятиями скрывались частники, отстегивавшие, по всей видимости, красным коммунистическим чиновникам за «крышу» и соблюдение необходимых формальностей некоторую сумму из прибыли. В Китае это называлось прикрыться «красной шапочкой». По статистике такие предприятия считались государственными, но на деле функционировали почти как частные (хоть гарантия прав собственности предоставлялась отношениями с «крышей», а не законодательством страны) и уж точно как рыночные. Согласно опросам 88% таких предприятий были оценены как частные [Там же: 91].

Несмотря на все злоключения, предприятия эти быстро росли и развивались. Многие отзывались о них как о «самой динамичной части

китайской экономики» и «локомотиве экономического роста и индустриализации на первом этапе реформ». Число крестьян, занятых на этих предприятиях, увеличилось с 28 миллионов в 1978 году до максимума в 135 миллионов в 1996-м. За тот же период доля волостных и поселковых предприятий в ВВП Китая поднялась с 6 до 26%, притом что и сам ВВП стремительно рос. Они обогнали государственные предприятия по темпам роста производства и производительности труда, хотя не имели преимущественного доступа к сырью, электроэнергии, кредитам и потребительским рынкам [Там же: 89–90].

Предприятия эти, как и крестьянские хозяйства, оказались очень эффективны благодаря дешевизне рабочей силы. Примерно 80% населения Китая в начале эпохи реформ жило на селе и не получало от государства даже гарантий выживания в случае голода. Понятно, что эти люди готовы были трудиться на своей земле хотя бы ради миски риса. А если земли на всех не хватало, то ради миски риса часть крестьян уходила работать в волостные и поселковые предприятия. Огромная скрытая безработица в крестьянской стране при общей нехватке капитала обусловила грошовые зарплаты и бесправие трудящихся. Это был самый настоящий дикий капитализм, лишь сверху прикрытый «красной шапочкой». Причем те гроши, за которые работали люди, позволяли поддерживать конкурентные цены на товары даже в ситуации, когда издержки увеличивались на сумму взятки чиновникам.

Этот вот третий элемент китайских «периферийных реформ» совершенно был не свойственен России. Наше село составляло в 1990-х годах малую долю в сравнении с городской экономикой. Более того, оно требовало от бюджета дотаций и получало их. Если в Китае крестьяне, живя впроголодь, кормили город и обеспечивали общий рост экономики как на земле, так и под «красной шапочкой»,

то в России всеобщий страх дикого капитализма привел к тому, что и в городах, и в селах множество предприятий жило за счет господдержки. Просто в 1990-х годах при низких ценах на нефть эта поддержка была слабой, а затем — при высоких — она стала щедрой.

Неважно, какого цвета кошка...

Наконец, четвертой «периферийной реформой» стало создание особых экономических зон (ОЭЗ) для иностранных инвесторов. Там разрешалась прямая эксплуатация, но Китай действовал по принципу «неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Иностранные инвесторы (сначала из Гонконга и с Тайваня, а затем и из других стран) работали как капиталисты, но были очень эффективны за счет сочетания своих технологий с дешевой китайской рабочей силой. Например,

за 30 лет Шэньчжэнь превратился из рыбацкого городка, в котором от силы проживало 30 тысяч человек, в третий по величине и самый быстрорастущий город Китая с численностью населения, превышающей 14 миллионов человек [Там же: 102].

Интересно, что в конце 1980-х годов в китайском руководстве, как и у нас, стали все шире распространяться представления о необходимости притормозить движение к капитализму. Но Дэн Сяопин (единственный крупный лидер КПК, принадлежавший к старому поколению, уцелевший после культурной революции и обладавший огромным авторитетом) сумел переломить деструктивную тенденцию, несмотря на преклонный возраст. Он совершил большой вояж по южным регионам страны, где активно развивалось капиталистическое предпринимательство, поддержал его и создал атмосферу, в которой консерваторы не смог-

ли настоять на своем. В СССР, напротив, авторитета Горбачева не хватило для проведения рыночных реформ, советская элита раскололась на откровенно враждующие группировки, дело дошло до путча и полного хаоса в экономике, причем деструктивный конфликт не удалось погасить даже Ельцину после распада СССР.

Таким образом, если в Китае «периферийные реформы» в общей сложности оказались более значимыми, чем убогие преобразования госсектора, то в нашей стране все ограничилось именно реформами госсектора, идущими по принципу «шаг назад — два шага вперед». В Китае с его высокими темпами роста те же провалы, что были у нас, оказались незаметны, поскольку в целом экономика быстро росла за счет периферийных реформ. А о российских реформах судят именно по провалам. В Китае народ жил бедно и был рад миске риса, поскольку при Мао не имел часто и ее, а в СССР при неэффективной, милитаризированной экономике существовал все же более высокий стандарт потребления, и весь народ, включая крестьянство, требовал от власти его сохранить любой ценой — даже ценой торможения реформ.

Когда мы станем жить как в Германии?

*Проблема отставания России
в интерпретации Егора Гайдара*

Крупнейшей работой в отечественной исторической социологии является книга Егора Гайдара «Долгое время» (М.: Дело, 2005). Подзаголовок у нее выглядит следующим образом: «Россия в мире: очерки экономической истории». Но на самом деле Гайдар в своем анализе выходит далеко за рамки экономической истории. Например, он рассматривает вопрос о том, как система налогообложения влияет на организацию армии, эволю-

цию государства, распад империи, формирование демократии. Он прослеживает развитие общества с древних времен. Он исследует неочевидные связи между разными сторонами общественной жизни — то есть то, что история (экономическая, в частности) обычно выводит из сферы своих интересов. Поэтому «Долгое время» относится именно к исторической социологии.

От сорока до шестидесяти лет

Трудно сказать, почему Гайдар в названии книги искусственно сузил ее рамки. То ли поскромничал, полагая, что он, как экономист, не должен претендовать на лавры социолога. То ли наоборот решил не относить свой фундаментальный труд к сфере молодой науки, еще только утверждающейся на Западе, а у нас в России почти никому не известной. Ответа на этот вопрос мы, увы, никогда уже не получим.

Главный вопрос, интересующий Гайдара и как ученого, и как реформатора: может ли Россия догнать Запад? Или, точнее, догоняет ли она его на практике. Ведь рассуждать абстрактно на этот счет можно как угодно. Одни комментаторы вечно стонут о том, что мы не имеем германской демократии или американской экономики, а значит, безнадежны. Другие — наоборот рассуждают по старому принципу: а у вас там в Америке негров мучают. Гайдар предлагает для анализа данной проблемы чисто научный подход. Он смотрит динамику ВВП на протяжении долгого времени. Проще говоря, он старается на какое-то время отвлечься от наших привычных симпатий и антипатий к различным политическим режимам (царскому, сталинскому, брежневскому) и посмотреть, отставала ли наша российская (советская) экономика от экономики передовых стран мира или, наоборот, догоняла ее.

Вывод из исследований Гайдара вряд ли удовлетворит как упертых «русофилов», так и злоб-

ных «русофобов». В «Долгом времени» показано, что теория догоняющей модернизации работает: наша страна давно уже гонится за лидерами мировой экономики. При этом разрыв не сужается и не увеличивается. Страны догоняющего развития отстают от лидеров примерно на одно-три поколения [Гайдар 2005: 11–12]. Для России отставание составляет (если измерять по уровню ВВП) сорок-шестьдесят лет [Там же: 39–40]. То есть если допустить, что ситуация и в дальнейшем не изменится, тогда

через 50 лет уровень, и стиль жизни, и структура занятости, и инфраструктура будут в России примерно такими, как сегодня во Франции или Германии [Там же: 43–44].

Впрочем, Гайдар, как серьезный мыслитель, понимал, что экономико-статистические оценки — это лишь часть анализа. Без него можно оторваться от реалий и начать фантазировать в соответствии со своими эмоциями, либо вознося Россию до небес, либо ругая последними словами. Но основываться лишь на таком анализе — значит примитивизировать сложный мир, в котором всегда случаются разные неожиданные повороты. Поэтому реальная наша жизнь через 50 лет будет, конечно, зависеть от экономической политики властей и от того, сможет ли общество контролировать власть или правители будут пользоваться трудом народа лишь в своих интересах.

Демократия налогоплательщиков

В этом месте своего анализа Гайдар явно выходит из узких рамок экономической истории, пытаясь понять, по какой же причине лидерам мировой экономики удалось в определенный момент установить контроль общества над властью. Автор

«Долгого времени» рассматривает формирование демократии, как формирование демократии налогоплательщиков. Точнее, как формирование взаимовыгодного контракта государственной власти и городов-производителей.

Логика такова. «Если городская община в состоянии организовать местное самоуправление и самооборону, выставить войско по приказу короля и к тому же бесперебойно выплачивать налоги в государственную казну, то это побуждает короля заключить контракт, по которому король гарантирует горожанам широкие права местного самоуправления в обмен на обязательные выплаты и при необходимости военную помощь» [Там же: 243–244]. Преимущества подобного способа организации взаимоотношения городов с короной не были очевидны для всех с самого начала. Но, по мнению Гайдара, перелом в мировоззрении европейцев произошел в связи с успехом нидерландской революции.

Победа конфедерации городов-государств (со всеми характерными для нее институтами) над крупнейшей европейской державой — Испанией стала свидетельством преимуществ налогообложения, основанного на принципах демократии налогоплательщиков и косвенных налогах, перед традиционным способом взимания налогов в аграрных государствах [Там же: 247].

Голландский опыт повлиял на Англию, а английский со временем стал важнейшим примером успешного развития для многих других стран. «Все это, — заключает Егор Гайдар, — и заложило предпосылки начала современного экономического роста в европейском мире» [Там же: 256].

Возможно, в данном месте у автора «Долгого времени» обнаруживается некоторое упрощение сложных поворотов реальной истории, поскольку из анализа практически выпадает эпоха абсолю-

тизма и меркантилизма (XVII–XVIII веков), когда государство аккумулирует средства на армию, подавляя самостоятельность богатых городов и игнорируя сословное представительство. Но вряд ли это можно счесть серьезным недостатком гайдаровского подхода. Скорее, можно сказать, что требуется дальнейшая аналитическая работа в данном направлении для уточнения деталей. Ведь демократия налогоплательщиков в конечном счете восторжествовала над абсолютистским принципом «Государство — это я».

От «Государства и эволюции» к «Долгому времени»

Самый важный момент гайдаровского анализа состоит в том, что он интерпретирует развитие европейских городов и государств как действия рациональных акторов. У Гайдара нет никаких популярных в современной нашей публицистике восклицаний: «Ах, великая западная культура: она всегда была демократичной!», «Ах, ужасная русская культура: она всегда была рабской!».

Любопытно, что Гайдар, по всей видимости, не сразу пришел к выводам «Долгого времени». В своей ранней небольшой работе «Государство и эволюция», написанной буквально за пару месяцев в 1994 году, то есть в ту эпоху, когда автор был еще вовлечен в большую политику, интересовался в основном текущими экономическими реформами и размышлял о российской истории, основываясь, по всей видимости, на «старом багаже», собранном еще в 1980-е годы, используется выражение «Особый путь догоняющей цивилизации». Так называется вторая глава, где речь идет непосредственно о нашей стране [Гайдар 1995: 44–77]. В книге «Долгое время» глава, посвященная историческому пути, называется «Особенности экономического развития России» [Гайдар 2005: 259–360]. Налицо явная трансформация терминологии, причем,

судя по тексту, это — не случайная замена, а продуманное автором решение, связанное с появлением нового материала.

Вот фраза из старой книги, выделенная курсивом, что говорит о том, насколько большое значение автор придавал этому выводу в середине 1990-х годов.

Отсутствие традиции глубокой легитимности собственности — вот что трагически отличало Россию от Европы. Отсутствовал, по сути, главный психологически-культурный стержень, на котором крепилось все здание европейского капитализма [Гайдар 1995: 61].

Ключевой тезис для соответствующей главы «Долгого времени» выглядит совершенно иначе.

Россия никогда полностью не уходит от общего европейского наследия, европейского влияния. Она слишком близка к Европе, не может полностью устраниваться от тектонических процессов, связанных с начинающимся подъемом Европы, формированием специфических европейских институтов. Но в XV–XVII веках дистанция между социальными институтами Западной Европы и России, по-видимому, достигает максимума [Гайдар 2005: 274].

То есть здесь автор признает, естественно, существенное отличие институтов, однако не проводит жесткого разрыва между «цивилизациями». Его оценки становятся более мягкими и гибкими, менее категоричными.

Гайдара трудно упрекнуть в недооценке достижений Запада, поскольку именно он своими реформами постарался приблизить Россию к хорошо работающей на Западе рыночной экономике. Но в своих научных трудах Гайдар показывает, что западная культура не является чем-то «врожденным» у европейских народов. Она форми-

руется в результате рациональных взаимовыгодных действий людей. Или, точнее, эти действия порождают демократические институты (правила игры), а затем уже на базе новых правил развивается культура, уважающая частную собственность, нерушимость контрактов, права договаривающихся сторон... И в широком смысле — права человека, который рационально выстраивает свою жизнь, стремясь сделать ее более сытной, благоустроенной, хорошо организованной.

Подобный подход объясняет, почему Россия приняла участие в догоняющей модернизации и устремилась за лидерами. Дело в том, что наша страна стала действовать рационально, перенимая зарубежный опыт. В то же время подобный подход объясняет, почему мы так и сохраняем отставание от лидеров. Дело в том, что наша страна так и не смогла выстроить у себя демократию налогоплательщиков. По-прежнему не существует в России по-настоящему взаимовыгодных отношений между государством и бизнесом, работником, общественными организациями.

Гайдар не предсказывает будущее, но мне его подход представляется весьма оптимистическим. Согласно его теории «долгого времени», не существует культурных ограничителей, обрекающих Россию на вечную стагнацию. Но в том, как конкретно мы будем догонять лидеров, сохраним ли «вечные» сорок-шестьдесят лет отставания или сумеем подтянуться, многое зависит от нас — от способности российского общества выстроить настоящую демократию налогоплательщиков.

Сегодня мы в этом деле явно не преуспеваем. Однако со временем наступит момент, когда откроется вдруг окно политических возможностей. И этим шансом надо воспользоваться, не отговариваясь привычными фразами, что в России, мол, никогда ничего не удастся.

Что, если не институты?

Почему же Британия?

Экономический подход Роберта Аллена

В ИСТОРИИ модернизации есть интересная загадка. Мы более-менее представляем себе, почему рыночная экономика приходит в ту или иную страну. Работает так называемый демонстрационный эффект. Отстающее по уровню жизни общество смотрит, «облизываясь», на успешных соседей и в какой-то момент начинает перенимать позитивный опыт. А эти самые соседи в свое время точно так же перенимали опыт других стран — пионеров модернизации. Это, конечно, весьма упрощенная схема (в жизни все сложнее, поскольку воздействие на принятие решений о начале реформ оказывает множество факторов), но в целом не вызывает сомнения то, что демонстрация успеха соблазняет отстающих «браться за ум».

Однако как же этот процесс перенимания опыта начинался в давние времена? Мы знаем, что в XVIII–XIX веках образцом экономического развития для многих служила Англия. Именно в Англии произошла промышленная революция, сопровождавшаяся техническим переворотом. Именно на английские экономические достижения ориентировались многие французские, немецкие, бельгийские, а в конечном счете и российские предприниматели. Именно английские успехи соблазнили в свое время многих европейских интеллектуалов, мечтавших о «богатстве своих народов».

Почему же англичане преуспели? Брали ли они тоже с кого-то пример или у них имелись какие-то внутренние факторы для развития? Что могло подвинуть Англию, которая в Средние века не отличалась сильной экономикой и «по территории была немногим больше „овечьего пастбища“» [Аллен 2013: 36], покрыть свои земли заводами, фабриками, шахтами и железными дорогами?

Доминирующим объяснением этой проблемы сегодня является институциональное: в Англии после Славной революции 1688 года были установлены новые «правила игры», защищавшие собственность и создававшие тем самым рыночные стимулы для предпринимателей. Однако американский экономический историк Роберт Аллен предложил в своей книге «Британская промышленная революция в глобальной картине мира» (М.: Издательство Института Гайдара, 2014) совершенно иное объяснение — экономическое. То есть связанное не с формированием новых институтов, не с политическими переменами и не с интересами элит, а с объективно складывавшимся соотношением цен на факторы производства. И хотя формально исследования Аллена относятся лишь к истории одного конкретного периода одной конкретной страны, на самом деле его книга дает нам своеобразную трактовку важнейшей проблемы исторической социологии. Разбираясь с Британией, Аллен фактически рассказывает нам о том, почему вообще мир стал в определенный момент меняться.

Высокие зарплаты англичан

Институциональный подход Аллен отвергает, отмечая, что «изучение банковских ставок и нормы процента не подтверждает, что после 1688 года произошел прорыв, так что улучшившийся инвестиционный климат никак себя не проявил в финансовом смысле» [Аллен 2014: 17]. Логика в таком

возражении есть. Наверное, если бы мы обсуждали экономику XXI века, то любые позитивные изменения, связанные с защищенностью бизнеса, нашли бы отражение в поведении финансовых рынков: капитал стал бы доступнее, индексы пошли бы вверх. Но для XVIII века такая связь не очевидна. Если, скажем, богатых купцов перестают потрошить государство и бароны-разбойники, то они имеют возможность больше своих средств вкладывать в торговлю и даже основывать небольшие промышленные предприятия без использования заемных средств. Финансовый рынок не покажет в такой ситуации позитивных перемен, но на самом деле перемены будут происходить. Любопытно, что сам Аллен, демонстрируя как изыскивали ресурсы изобретатели XVIII века, говорит о том, что венчурные инвесторы становились их партнерами, а не кредиторами [Там же: 219]. Такое партнерство вряд ли влияло на банковские ставки.

Объяснение промышленной революции, связанное с ростом научного знания и распространением научной культуры Аллен не игнорирует, но сам все же обращает внимание на другие факторы, увеличившие «предложение технологий». В первую очередь — на высокий (в сравнении с другими странами) уровень реальной зарплаты англичан [Там же: 59].

Высокие зарплаты означали, что населению Англии было куда проще позволить себе образование и обучение, чем жителям любой другой страны мира. Выросший в результате этого уровень грамотности способствовал появлению изобретений и технологических новшеств [Там же: 31].

Но основное воздействие высоких зарплат на экономику состояло все же в другом. Если труд дорог, предпринимателю выгодно нанимать поменьше рабочих, заменяя их машинами. Естественно, лишь в том случае, если техника относительно дешева

в сравнении с трудом. Таким образом, именно исторически сложившийся высокий уровень английских зарплат стимулировал технический переворот. В тех странах, где люди зарабатывали меньше, бизнесу выгоднее было нанимать рабочих вместо того, чтобы инвестировать капиталы в техническое перевооружение предприятий.

С позиций экономической логики такое объяснение не вызывает возражений. Именно так все и должно было быть. Но требуется объяснить, почему именно в Англии зарплаты оказались высокими. Когда речь идет о столь давних временах, не стоит слепо доверять количественным оценкам даже самых лучших историков. Регулярной статистики тогда не было, выводы о доходах населения мы можем делать лишь по отрывочным сведениям. Причем надо принимать во внимание, что данные, которые имеются «на бумаге», могут сильно отличаться от реальных. Даже сегодня в России теневой сектор экономики столь велик, что формальные показатели доходов, скорее всего, сильно занижены. Люди ведь постоянно получают «от хозяина» деньги «в конвертах» и выполняют нигде не зарегистрированные работы. Понятно, что для XVIII века учесть все реалии еще сложнее. Поэтому для оценки концепции Аллена нам надо понять, насколько вероятно допущение, что англичане еще до начала технического переворота так преуспевали. Поскольку в Средние века Англия не была богатой страной, можем ли мы определить момент, когда дела там пошли в гору?

Славная королева или Славная революция?

Рассуждения Аллена на этот счет выглядят вполне логичными.

К XVI веку англичане и голландцы научились имитировать более легкую итальянскую камвольную ткань. В результате появились «но-

вые ткани», которые стали так популярны, что в XVII веке итальянцы были вытеснены из шерстяного производства. В этой борьбе Англия преуспела во многом потому, что ее население резко сократилось после эпидемии чумы и многие хорошие пахотные земли пришлось отдать под пастбища. Овцы стали питаться вдоволь, их шерсть стала длиннее, а длинная шерсть лучше подходила для камвольной ткани, чем короткая шерсть недокормленных овец Средневековья. Кроме того, беженцы с континента привезли с собой в Великобританию новые умения, которые улучшили качество английских товаров и расширили их ассортимент. <...> Торговля была вплотную связана с сельской промышленностью. Новые ткани производились в Восточной Англии и экспортировались в страны Средиземноморья через Лондон. С 1500 по 1700 год население Лондона возросло в десять раз и экспорт новых тканей весьма поспособствовал этому росту [Там же: 37–38].

В 1660-х годах они давали до трех четвертей объема лондонского экспорта [Там же: 168]. В Лондоне же были, по оценке Аллена, и самые высокие зарплаты [Там же: 73], и это подтверждает мысль о том, что именно с торговых доходов XVI–XVII веков Англия первоначально разбогатела, а не с промышленного переворота XVIII–XIX столетий.

Лишь к концу XVII века экономика высокой зарплаты воцарилась и в других городах на юге Англии, а к концу XVIII века в орбиту высоких зарплат затянуло также север страны [Там же: 116].

В общем, можно сказать, что английское экономическое чудо происходит из эпохи славной королевы Елизаветы I, а не из эпохи Славной революции.

Однако институциональные изменения не стоит сбрасывать со счетов, хотя Аллен ими откровенно пренебрегает. Если после Славной революции

в Британии собственность оказалась лучше защищена, то богатые купцы, нажившиеся на торговле шерстью через Лондон, и богатые помещики-джентри, поставлявшие сырую шерсть, могли пожелать интенсивнее вкладывать деньги в промышленность. Вот тогда-то и оказалось, что выгоднее осуществлять инновации, чем нанимать много высокооплачиваемых работников. И тогда же, как отмечает Аллен, очень кстати пришлось наличие в Англии больших запасов недорогого угля, без которого техника не заработает [Там же: 123–157]. В общем, все началось с улучшения питания овец и завершилось улучшением экономических институтов.

Как спастись от луддитов

Во второй части своей книги Аллен показывает, что научные открытия, связанные с промышленным переворотом, осуществлялись не только в Англии, но и на континенте [Там же: 228–238]. И если бы дело было лишь в успехах науки, промышленный подъем мог бы начаться во Франции, Италии или Германии. Однако экономические условия для него сложились именно в Англии. Во-первых, высокие зарплаты. Во-вторых, дешевый уголь. В-третьих, промышленное просвещение, о котором подробно пишет Джоэль Мокир (и Аллен признает его концепцию).

Важнейшей отраслью промышленности, возникшей на основе новой техники, стала переработка хлопка. В этой связи Аллен приводит любопытный пример. Джеймс Харгривс, придумавший прядильную машину «Дженни», дважды сталкивался с тем, что соседи ее ломали, опасаясь, как бы изобретение не оставило их без работы. Луддиты в эту эпоху становились более опасной угрозой для предпринимателя, чем государство или разбойники. Но Харгривс все же нашел город — Ноттингем, в котором довел дело до организации производства.

По той же причине был вынужден уехать в Ноттингем и другой знаменитый изобретатель Ричард Аркрайт [Там же: 279–280, 292–293]. По всей видимости, без институтов, обеспечивающих защиту бизнеса, им вряд ли удалось бы добиться успеха.

Но Аллен в своих книгах настаивает именно на значении высоких зарплат для экономического и социального развития. С ними он связывает восходящую спираль прогресса: «высокая заработная плата стимулирует развитие капиталоемкого производства, что, в свою очередь, ведет к увеличению зарплаты. Она и является основой растущих доходов богатых стран мира» [Аллен 2013: 70].

Кто изобрел изобретение

Теория просвещенной экономики Джозеля Мокира

Если Д. Норт с соавторами, а также Д. Аджемоглу и Д. Робинсон при объяснении английского прорыва к современности обращают внимание на институциональные преобразования, К. Померанц — на большое значение колоний и залежи угля, а Р. Аллен — на высокую зарплату британцев и тот же уголь, то *Джозель Мокир* выделяет значение научно-технических открытий для промышленной революции.

К формированию своей теории он подходил постепенно. В ранней книге «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс» (М.: Издательство Института Гайдара, 2014) Мокир дал общий обзор эволюции техники на протяжении долгого времени — от античной эпохи до современности — и на этой основе кратко показал роль Великобритании [Мокир 2014: 375–425]. В другой своей книге «Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний» (М.: Издательство Института Гайдара, 2012) он обратил особое внимание на связь между важнейшими ментальными преоб-

разованиями, происходившими в Европе, и радикальными технологическими прорывами. В частности, Мокир выдвинул следующее интересное предположение:

Порожденное Реформацией представление о том, что различные идеи могут конкурировать друг с другом и отбираться по тому или иному критерию, вело к тому, что старые истины все сильнее подвергались сомнению [Мокир 2012: 60].

Иными словами, пока в религиозных вопросах — важнейших вопросах Средневековья — существовала единственная верная точка зрения, европейцам трудно было вообще задуматься о выдвижении принципиально новых идей, но, когда интеллектуальные споры стали привычны, конкуренция идей вполне могла перекинуться с богословской проблематики в научно-техническую область.

Однако важнейшей работой, в которой Джоэль Мокир постарался не только сформулировать общие положения развития науки, но и ответить на конкретный вопрос о важнейших факторах перемен, случившихся в XVIII–XIX веках, является книга «Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция. 1700–1850 гг.» (М.: Издательство Института Гайдара, 2017). Удачное и необычное название сразу дает нам понять главную идею автора.

Кто может просветиться

Бывают, естественно, просвещенные люди. Бывают просвещенные народы. Ими руководят просвещенные государи, консультирующиеся об управлении державами с еще более просвещенными философами. И всё это вместе именуют просвещенным абсолютизмом. Но о просвещенной экономике никто, кажется, раньше не говорил. До Мокира. Этот автор предложил гипотезу, согласно которой эпоха просвеще-

ния оказала принципиальное воздействие не только на расширение грамотности, уменьшение клерикализма и смягчение нравов европейцев, но и на такую далекую от гуманитарной сферы вещь, как внедрение новой техники на предприятиях, которое обусловило наступление промышленной революции.

И в этом смысле закономерно то, что она произошла именно в XVIII–XIX столетиях. Не раньше и не позже. Реформация XVI века породила саму идею о возможности иметь множество идей, но промышленная революция свершилась именно тогда, когда большое число людей вдруг озаботилось мыслью о том, что можно не только жить по традиции, воспроизводя старые практики, но и изобретать.

Сегодня эта мысль кажется нам банальностью. Любой тинейджер рад что-нибудь изобрести, дабы быстренько сколотить миллиончик-другой уже в юности, как Билл Гейтс или Марк Цукерберг. Но традиционное общество редко что-нибудь изобретало. А если получало раз в сто лет новое техническое устройство, то, скорее, по счастливому стечению обстоятельств, а не благодаря целенаправленным усилиям новаторов. Лишь научная революция XVII века «изобрела изобретение», то есть сформировала в умах отдельных выдающихся людей представление о том, что человек может сотворить новый мир из того мира, который когда-то давно создал Господь. Люди в этих условиях постепенно привыкали к мысли, что можно проводить эксперимент, можно строить машины, можно осуществлять разные математические расчеты... И самое главное: можно вести себя рационально, то есть под воздействием требований своего разума, а не под воздействием традиции, существующей неизвестно сколько лет и неизвестно почему.

Традиция была раньше сильна потому, что люди боялись новшеств, устраняющих единообразие. Разнообразие отождествлялось с хаосом (в России до сих пор многие так считают, стремясь устра-

нить людей, выделяющихся чем-то из общей массы). Но когда общество осознало, что разнообразие полезно, оно быстро двинулось вперед.

От научной революции к промышленной

Впрочем, научная революция XVII века не породила автоматически промышленную революцию. Сами по себе идеи «быстрых разумом Невтонов» и всяких прочих Декартов с Лейбницами не могли родить паровую машину или самопрялку, благодаря которым в XVIII веке возросла производительность труда. Связь между наукой и техникой для той эпохи была неочевидной. Однако Мокир в своей книге эту связь обнаруживает. Не столь уж важно, что конкретно изобретали ученые. Важнее то, что они подали пример изобретательства простым людям и пробудили мысль о возможности изменений в народных массах. Или точнее, в тех не слишком широких массах «среднего класса», которые могли влиять на промышленное развитие.

Своеобразным «передаточным звеном» между научной революцией и революцией промышленной стало Просвещение. Именно в эпоху Просвещения информация об «изобретении изобретений» стала сравнительно быстро распространяться по ведущим европейским странам. Появились различные общества, интересовавшиеся данным вопросом и объединявшие самых разных людей. В большом количестве читались популярные лекции, вышедшие далеко за пределы аудиторий старинных университетов, закосневших в средневековой схоластике. И конечно, печатались книги, которые благодаря широкому развитию грамотности становились доступны все большему числу читателей. В эту эпоху «люди все отчетливее понимали, что разнообразие не является признаком хаоса» [Мокир 2016: 63].

Здесь, правда, у нас появляется сложный момент в рассуждениях. Классической страной Просвеще-

ния XVIII века являлась Франция. С научной революцией в XVII веке там тоже все складывалось успешно. Более того, именно Франция была в те столетия самой большой и богатой страной Европы (не считая, конечно, России, которая при своих огромных размерах сильно отставала по доходам на душу населения), обладавшей достаточными ресурсами для развития промышленности на базе изобретений. Почему же тогда промышленная революция произошла не во Франции, а в Великобритании? И даже некоторые изобретения, осуществлявшиеся французами, внедрялись поначалу за Ла-Маншем.

Явно здесь дело не только в Просвещении. Более того, можно предположить, что, если бы не какие-то британские особенности, ни научной революции, ни Просвещения не хватило бы для осуществления радикальных перемен, изменивших мир. Вопрос о том, что же выделило в XVIII веке именно Британию, которая не была ни родиной ренессансного гуманизма, как Италия, ни центром формирования протестантской этики, как Германия или Нидерланды, ни образцом просвещенного абсолютизма, как Франция, ни обладателем богатых серебром заокеанских колоний, как Испания, не имеет однозначного ответа.

Британский путь

Мокир в отличие от Аллена солидарен в своих оценках с институционалистами и отмечает, что прогрессивные институты играют большую роль в развитии. Даже в XVIII веке в Британии еще процветал поиск ренты и «сохранялось множество правил, предписаний и ограничений, позволявших выкачивать средства из тех слоев, которые мы бы назвали „производящими“» [Там же: 32]. Но «по большому счету мы не сможем должным образом оценить рассматриваемый период экономической истории Великобритании, если не осознаем, что во второй полови-

не XVIII века эта перераспределительная активность, пагубная для экономического развития, сдавала позиции» [Там же]. Однако главное внимание Джоэль Мокир уделяет все же не трансформации институтов, а связанной с ней трансформации идей.

В ряде передовых отраслей эпохи Британия лидировала, но там, где британцы отставали, «они демонстрировали поразительную способность замечать чужие открытия, доводить их до ума путем устранения проблем и ошибок, а затем прибыльно их эксплуатировать» [Там же: 176]. Иначе говоря, британский успех проистекает из общей трансформации сознания европейцев, но именно британские институты позволили лучше воспользоваться плодами научно-технических открытий.

«Реальные корни британского экономического развития, — делает вывод Джоэль Мокир, — следует искать среди хлопкопрядильщиков Ланкашира, горных инженеров Корнуэлла, ученых и механиков Глазго, гончаров Стаффордшира и лондонских инструментальщиков. <...> Экспорт и торговля развивались благодаря изобретательности и новаторству, а не наоборот» [Там же: 267]. Этот вывод автора «Просвещенной экономики», конечно, не учитывает быстрое развитие торговли, происходившее до эпохи технического переворота, но для объяснения феномена британского экономического лидерства в XIX веке он прекрасно подходит.

В конечном счете правила игры, при которых поощрялись честность при совершении сделок и уважение к собственности, а не наглость и агрессивность, сформировали в Британии соответствующую ментальность.

Если человека считали щедрым и честным, то другие с большей готовностью вели с ним дела, и это порождало институциональную почву, на которой мог процветать экономический прогресс [Там же: 571].

Предприниматели понимали, что заниматься созиданием выгоднее, чем мошенничать и отнимать чужое, как делали бароны-разбойники в прошлом. И, кроме того, они психологически ощущали себя комфортно, занимаясь бизнесом, поскольку общество с уважением относилось к этому виду деятельности.

Мокир даже приходит к выводу, что

джентльменские кодексы поведения, игравшие роль социальной смазки и фактора, способствующего насаждению доверия и рыночного обмена, преобладали над какими-либо методами надзора над соблюдением контрактов, осуществлявшимися третьими лицами, о чем свидетельствует широкое распространение личного кредита. Если бы чересчур много людей вело себя оппортунистически или уклонялось от уплаты долгов, то это привело бы к краху институтов, на которых держалась британская экономика [Там же: 575].

Возможно, это все же слишком оптимистический взгляд на британское джентльменство, но нет сомнения в том, что хорошие институты меняют сознание.

Чье право «правее»

Джек Голдстоун объясняет, почему Европа успешна

Почему именно в Европе возник экономический прорыв в XIX веке, а не у прилежных китайцев или мудрых индийцев? Этот вопрос занимает многих, тем более что сейчас китайцы с индийцами демонстрируют отличные темпы развития экономики, постепенно догоняя Запад. Американский социолог и политолог *Джек Голдстоун* так и назвал свою книгу «Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850» (М.: Издательство Института Гайдара, 2014).

Есть много неверных ответов на вопрос о причинах возвышения Запада. Например, весьма распространенным в нашей культуре является представление о том, что европейскую цивилизацию создала Античность — греческая демократия, римское право. А с ними уже пришел хозяйственный успех. Но, как справедливо отмечает Джек Голдстоун, европейцы «предавались самовосхвалению ввиду высокой развитости своих городов и их торговли, иногда забывая, что, когда они присоединились к всемирным торговым кругам, высокоразвитые города и огромная торговая сеть уже существовали в Азии» [Голдстоун 2014: 41].

На тезисе о большой роли греческой демократии в развитии Европы специалисты (в отличие от публицистов) все же редко настаивают. Во-первых, демократия та была рабовладельческой и, проследивая с ней связь, современную политическую систему можно скорее дискредитировать, чем возвеличить. А во-вторых, слишком уж велик временной разрыв между Древней Грецией и нашим миром: невозможно объяснить, как из первого проистекало второе и почему в промежутке существовали разные формы абсолютистских, авторитарных и тоталитарных режимов.

Закон «сверху» и закон «снизу»

Но вот про роль римского права в экономическом и политическом развитии Европы упоминают довольно часто. Джек Голдстоун перевернул сложившиеся здесь традиционные представления. Размышлял он следующим образом. В какой европейской стране раньше других установилась современная демократия? Где произошла промышленная революция? Приоритет Англии при ответе на эти вопросы обычно не оспаривается. Но что же отличало Англию от практически всех остальных европейских государств? Если взглянуть на про-

блему с юридической точки зрения, то правовая система. «Была лишь одна область в Европе, — пишет Голдстоун, — в которой римская правовая система не была основной — Англия» [Там же: 193]. В этой стране доминировало традиционное и прецедентное право, «которое состояло из решений, выносившихся учеными судьями в прошлом и собранных вместе как руководство для решения судей в настоящем» [Там же: 193–194].

Чем же хорошо было английское прецедентное право в сравнении с римским правом, широко применявшимся на континенте? «Римское право долгое время искажалось правителями для получения безраздельной власти над своими подданными. Что бы то ни было идущее на благо королевства могло при римском праве быть оправданным и принятым к исполнению» [Там же: 194]. То есть плохо не само по себе право, а высокая степень централизации правоохранительной системы. Закон спускается сверху вниз. И если власть с помощью этого закона стремится ограничить права народа, то сопротивляться этому на местах очень трудно. Особенно если в судах дела рассматривают не представители народа, а официальные лица, назначенные государством и обладающие определенными полномочиями.

У англичан, в отличие от жителей континентальных стран, дела шли по-другому. Прецедентное право в принципе трудно превратить в жестко централизованную систему, подчиненную диктату государства. Кроме того, в Англии, США и других странах англосаксонского права в судах заседали «не назначенные государством должностные лица, а обычные люди, которые, находясь в жюри, выносили решения относительно обстоятельств дела и исхода судебного разбирательства. Это сильно затрудняло государству задачу быстрого обвинения и заключения в тюрьму тех или иных неугодных людей: в то время как в европейских государствах последнее входило в полномочия назначавшегося

государством судьи, в Англии для этого требовалось согласие всего жюри» [Там же: 195].

Возвышение Британии как промышленной державы, — констатирует Голдстоун, — произошло довольно поздно и было во многих отношениях уникальным явлением, весьма отличным от общих тенденций, наблюдавшихся в других христианских и протестантских странах [Там же: 93].

Конечно, различия возникли не потому, что англичане от природы были больше склонны к свободе и к защите прав человека. Во всех странах, не исключая Англии, монархи пытались поставить правовую систему под свой контроль. В Англии такие попытки стали предприниматься в начале XVII века, когда короли из династии Стюартов использовали «особый королевский суд, известный как Звездная палата, чтобы судить оппонентов правительства. Дела в Звездной палате решались тайно и по воле короля» [Там же: 194]. И если бы династия Стюартов правила бесконтрольно, то в конечном счете, наверное, английская правовая система сближалась бы с континентальной. Но в ходе английской революции общество смогло поставить заслон на пути распространения властного произвола. Монархия рухнула и старая традиция восторжествовала в борьбе с соперником, стремившимся ее уничтожить. Впоследствии, правда, королевская власть была реставрирована, но на прежние прерогативы она уже не претендовала. А после Славной революции 1688 года баланс сил между монархией и обществом радикально сместился в пользу общества.

Остров и континент

Но наиболее важное отличие Англии от континента, по мнению Голдстоуна (как и Мокира), — это характер протекания научной революции. Для англичан много значил научный эксперимент, и отсюда

уже был прямой путь к революции промышленной. Наука не стала всего лишь увлечением для оторванных от жизни интеллектуалов. Она стала базой для постоянного изобретательства [Там же: 264]. Самые разные люди в Англии — ремесленники, предприниматели и даже духовенство — занимались собственными исследованиями, имевшими практическое значение. «Продажи научных приборов резко выросли как на внутреннем, так и на внешнем рынке, так что к середине XVIII века Лондон стал мировым центром по производству подобной аппаратуры» [Там же: 268]. «Как оказалось, — делает вывод Голдстоун, — открытия Ньютона и экспериментальная программа Королевского научного общества были как раз тем, что требовалось для запуска промышленной революции. И она была незамедлительно начата в Британии. Европа же, все еще очарованная картезианским рационализмом, отстала почти на столетие» [Там же: 266].

Джек Голдстоун подробно описывает ход технологического прогресса в Англии, но надо признать, что Джозель Мокир делает это основательнее. Поэтому, думается, что, несмотря на то повышенное внимание, которое в книге «Почему Европа?» уделяется инновациям, самый интересный момент в анализе, проведенном Голдстоуном, — это отличие британского права от континентального. В этой связи выглядит странным то, что роль институциональных преобразований в преображении Британии Голдстоун отвергает, предлагая, в частности, такой аргумент:

представление о том, что промышленная революция, произошедшая в британской экономике, основывалась на низких налогах и свободной торговле, совершенно необоснованно [Там же: 199].

И впрямь, в ту эпоху, когда происходили большие перемены, налоги у англичан были высокие, да и свобода торговли пришла позже. Но инсти-

туциональные изменения связаны, в первую очередь, с защитой прав собственности, а не с налогами и фритредерством. Думается, именно то, что имущество у предпринимателя нельзя было после Славной революции так легко отнять, как в Средние века, во многом определило успех Британии. Во всяком случае убедительных опровержений этого чрезвычайно важного положения институционализма Голдстоун не приводит. Более того, его анализ правовых различий острова и континента, скорее, показывает, как англичанам за счет своеобразных институтов, ограничивающих роль государства, удалось сделать то, что не удалось немцам или французам.

Британский пример заразителен

Таким образом, в целом вполне можно согласиться с основным выводом автора, согласно которому «уникальные характеристики социальной, политической, религиозной и интеллектуальной жизни Британии, возникавшие в период от принятия Великой хартии вольностей до Акта о веротерпимости 1689 года, создали альтернативу господствующим тенденциям на континенте и первое общество, в котором инновации и научная инженерия стали общепринятыми и прочно вошли в рутинную производственную деятельность» [Там же: 292]. Джек Голдстоун подчеркивает, что не стоит искать какое-то одно чудодейственное свойство Запада, предопределившее его успех. Изменения долгое время накапливались, а затем вдруг образовали такое сочетание обстоятельств, при котором оказались возможны радикальные перемены. Причем важно отметить, что успех Британии не был заранее предопределен. Многое на ее историческом пути могло произойти совсем по-другому, и тогда совокупность обстоятельств уже не была бы столь благоприятной для экономического прорыва. Так что важнейшие достижения англичан в значитель-

ной степени являются результатом случайного стечения обстоятельств. А успех Европы в целом стал следствием британского примера.

Важно понять, что никакой предрасположенности европейцев к мировому лидерству никогда не существовало. В частности, долгие столетия после появления римского права Европа развивалась ничуть не лучше ряда других регионов мира, в которых этого права не было. И европейские университеты, существующие аж с XII–XIII веков, не создали сразу после своего появления никакого технического прорыва. И магдебургское право не сделало само по себе города творцами эффективного капитализма. И после появления протестантской этики прошло еще несколько столетий, до Великого расхождения Европы с остальным миром.

Но когда Англия добилась существенного успеха, именно живущие по соседству с ней континентальные европейцы первыми смогли подхватить британский технологический прогресс, британскую промышленную революцию и британскую демократию. Континентальная Европа — это яркий пример успешной догоняющей модернизации, доступной для тех, кто пока еще отстает. Анализ проблемы развития, данный Голдстоуном, показывает, что не существует народов, предрасположенных к быстрой модернизации и не предрасположенных к ней. С этой точки зрения Россия нисколько не проигрывает тем странам, которые пока находятся впереди нас. Длительное отставание вовсе не обрекает страну на отставание постоянное.

Как чашка кофе создала новый мир

В теории «Революции трудолюбия» Яна де Фриса

В знаменитой сцене из «Бриллиантовой руки» герой Анатолия Папанова, издеваясь над незадачливым героем Андрея Миронова, с трудом про-

дравшим утром глаза, закурившим сигарету и пожелавшим выпить чашечку кофе, говорит: «Будет тебе и кофэ, будет и какава с чаем». А затем лупит по затылку и заставляет быстро отправляться «на дело». Кофе, какао, чай и табак традиционно служат у нас признаком красивой, элитарной жизни, противоположной суровым трудовым будням простых работяг. Но американско-голландский экономический историк Ян де Фрис пришел в результате своих исследований к нестандартному выводу. С потреблением кофе, какао, чая, табака и сахара он связал радикальный перелом, произошедший в XVII–XVIII веках в экономике передовых европейских стран, где вдруг внезапно возник устойчивый экономический рост.

Иными словами, европейцы многие годы были по своему хозяйственному развитию и уровню жизни ничуть не лучше населения других частей света. Но в переломный момент резко рванули вперед, стали больше и лучше трудиться, разбогатели, а в конечном счете сформировали ту передовую экономику, которая сегодня является образцом для всех стран, стремящихся к модернизации. По де Фрису выходит, что в основе успеха лежит потребление престижных, вкусных и необычных колониальных товаров. А также других вещей, украшающих и наполняющих жизнь.

При этом, конечно, надо понимать, что дело здесь не в паразитическом потреблении высших классов. Аристократы, лениво просыпающиеся по утрам, закуривающие сигарету и высасывающие чашку кофе или какао, двигателем прогресса не являются. У де Фриса речь идет о том, что к потреблению элитарных товаров подключились широкие круги бюргерства — простолюдинов: купцов, ремесленников, интеллигенции, а со временем — зажиточных крестьян и даже прислуги. Произошла потребительская революция. А она, в свою очередь, потребовала революции трудолюбия. Именно

так — «Революция трудолюбия. Потребительское поведение и экономика домохозяйств с 1650 года до наших дней» — называется книга Яна де Фриса (М.: Дело, 2016).

«Скромное обаяние буржуазии»

Для того чтобы понять смысл исследования де Фриса, надо сразу же отказаться от популярного у нас представления, будто бы мир делится на страны, которые всегда были успешны, и страны, постоянно отстающие. «Вечно успешных» не существует. В древности процветали одни народы, в эпоху Средневековья и Ренессанса — другие, а современный экономический рост связан с успехами третьих. Поэтому правильное понимание модернизации предполагает ответ на вопрос о том, что может в определенный момент стимулировать развитие.

Согласно де Фрису, человечество на протяжении долгих столетий особо не напрягалось в трудовом процессе. Люди, конечно, должны были удовлетворять свои основные потребности — иметь крышу над головой, пищу, одежду. Однако трудиться для постоянного расширения объемов потребления не имело смысла. Во-первых, круг потребительских товаров вообще был не слишком велик. Во-вторых, у богатого простолюдина всегда могли отобрать имущество «силовики» (дворяне, солдаты или взбунтовавшиеся нищие соседи). В-третьих, стремление к накоплению не поощряла религиозная мораль, считавшая порочной страсть к накопительству.

Лишь в Голландии второй половины XVII века ситуация стала иной: население стало больше потреблять и больше трудиться [де Фрис 2018: 32]. Множество бюргеров обрело более просторное и комфортабельное жилище, чем ранее имели европейские горожане. Комнаты голландцев были обставлены удобной мебелью. Вместо сундуков по-

явились шкафы. Вместо огромных кроватей, на которых лежало по несколько человек, каждый член семьи стал обзаводиться отдельным спальным местом. Всевозможные полочки украшали теперь изделия из дельфтского фаянса, заменяющего дорогой китайский фарфор, а на стенах висели гравюры, простенькие гобелены и картины «малых голландцев», которые в отличие от роскошных полотен прошлого были бюргерству вполне по карману [Там же: 100–106].

Ну а качественный перелом в структуру потребления внесли именно колониальные товары, которых раньше в Европе практически не было. Бюргер потянулся за аристократом не только в сфере домашнего комфорта, но и в сфере престижного потребления. Он захотел сидеть в кофейнях, где часто обсуждал с коллегами деловые вопросы. Он захотел расслабляться после работы, медленно выкуривая трубочку. Он захотел подсластить жизнь сахарком [Там же: 67, 83, 208–296].

Чтобы добыть все это «скромное обаяние буржуазии», надо было значительно больше, чем раньше, трудиться. Сначала голландцы, а затем англичане, французы, немцы, согласны были на это пойти. У трудолюбивых людей сократилось число выходных и праздников. Повысилась интенсивность работы. Более того — на рынок труда все чаще стали выходить жены и дети бюргеров, которым надлежало вносить свою посильную долю в семейное благосостояние [Там же: 150–153, 174–188].

Отнюдь не всегда интенсификация труда была рационально осмысленным выбором западного человека. Как многие русские в наши дни, немцы, французы или англичане хотели потреблять по голландскому образцу, но работать по старинке. Увы, это обычно не удавалось. Английских и немецких бездельников, желавших получать, но не вкалывать, «эксплуататоры» жестко приучали к труду. И стремление потреблять в конеч-

ном счете заставляло широкие слои общества привыкать к новому ритму труда. Вставать на работу по утрам каждый день. Не уходить в запои. Не бросать выгодное рабочее место, если вдруг захотелось сачкануть.

Как революция дошла до России

Подход к анализу модернизации, предлагаемый де Фрисом, показывает, что такая «позитивная страсть», как стремление расширять личное потребление, постепенно меняет любое общество. Англия в XVIII веке изменилась так же, как Голландия в XVII. Франция и Германия в XIX столетии энергично пошли за ними. А нынче туда же устремились Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва...

Примерно по такой же схеме менялась в 1990-е годы и Россия. В условиях рыночных реформ наше общество получило возможность потреблять множество новых товаров. Причем не только и даже не столько те, которые вдруг пришли с Запада из-за «железного занавеса» (йогурты и мясли, необычные шоколадки и кетчупы раскрученных брендов, престижные автомобили и модели одежды). В первую очередь рынок предоставил нам возможность быстро купить квартиру или даже дом, а не «стоять» двадцать лет в очереди, ожидая, пока государство выделит жилье бесплатно. Понятно, что приобретение недвижимости требовало огромных денег, и желание такие деньги заработать стало важнейшим стимулом для формирования бизнеса. Если в конце 1980-х годов один быстро разбогатевший кооператор хранил наличные деньги у себя дома (забив ими неработающий холодильник), поскольку не знал, на что их тратить, то в 1990-е больше уже не стоял вопрос, зачем нужно зарабатывать.

И не стоит смущаться того, что многие русские в пореформенный период проявили скорее жела-

ние потреблять, как на Западе, чем стремление активно работать и зарабатывать. Это нормальное явление. Потребительский стимул был для различных западных народов путем к революции трудолюбия, которая рано или поздно у всех совершалась. Поэтому, думается, что в свете теории Яна де Фриса Россию тоже ждут позитивные перемены по мере смены поколений.

Что же не объясняет теория?

Следует обратить внимание на то, что де Фрис заходит при объяснении Великого расхождения с иной стороны, чем большинство исследователей институционального направления. Если те утверждают, что быстрому экономическому развитию до поры до времени мешает плохая защищенность собственности производителей и, соответственно, отсутствие стимулов для производительного труда и инвестиций, то де Фрис полагает, что хорошо трудиться и инвестировать в Средние века и в начале Нового времени не было смысла, поскольку недоставало потребительских соблазнов. По-настоящему трудолюбивыми и предприимчивыми люди становятся лишь тогда, когда им очень нужны деньги. А это происходит лишь в том случае, если появляются новые соблазнительные товары. Впоследствии же, когда привычка быть предприимчивыми и интенсивно трудиться укоренится в обществе, логика развития событий может измениться. Эффективно функционирующая экономика постоянно создает новые соблазнительные товары, формируется так называемое общество потребления и разнообразные новые соблазны все время появляются на прилавках магазинов. Поэтому невозможно остановиться в потребительской гонке и люди продолжают много внимания уделять труду, несмотря на то что «кофэ с какаовой» уже можно приобрести без особых усилий.

Теория революции трудолюбия в целом хорошо объясняет ход модернизации. Но на два важных вопроса она, пожалуй, все же не может дать убедительного ответа.

Во-первых, почему перемены начались только в середине XVII века? Конечно, колониальные товары раньше не были доступны для европейцев, и можно сказать, что раньше слабее были потребительские соблазны. Но ведь расширить свое жилище, обставить его удобной мебелью и слегка приукрасить интерьер бюргер теоретически мог даже в средневековье. Почему же он так редко это делал? Почему не стремился больше трудиться ради потребления?

Во-вторых, почему перемены начались на северо-западе Европы, а, скажем, не в ренессансной Италии или Южной Германии, где исходно существовали вроде бы значительно лучшие условия для экономического развития? Чем отличилась Голландия XVII века? Почему голландский образец восприняла Англия? И почему Италия при этом оставалась застойным регионом Европы?

Думается, что теория Яна де Фриса не может рассматриваться сама по себе как исчерпывающее объяснение перемен, случившихся в эпоху Великого расхождения. Она, скорее, дополняет институциональный анализ, заходя в исследовании с другой стороны — со стороны потребления. Наверное, даже идеальная защищенность собственности на острове, где в одиночестве проживает Робинзон Крузо, не может стимулировать его трудиться сверх определенного уровня, обеспечивающего его основные потребности. Но если наш «остров» вступает в интенсивные экономические связи и получает со стороны товары, которые самим «Робинзоном» произведены быть не могут, островитянин обретает стимулы к труду, позволяющему заработать деньги для приобретения новых соблазнов.

Плодитесь и размножайтесь

Грегори Кларк о влиянии демографии на развитие

Помимо институциональных, экономических и культурных объяснений английской промышленной революции существуют и объяснения демографические. Они, наверное, наименее очевидные, однако шотландско-американский экономический историк Грегори Кларк в книге «Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира» (М.: Издательство Института Гайдара, 2012) постарался объяснить британский успех именно с помощью размышлений на тему рождаемости, смертности и определяемого демографией культурного уровня страны.

Легкость в мыслях необыкновенная

При чтении книги поражает порой однозначность и безапелляционность суждений Кларка по вопросам, в которых на самом деле не так уж просто разобраться. Автор рубит своих научных противников с плеча и формирует тем самым базу для восприятия его собственной концепции. На массового читателя это, возможно, действует позитивно, но того, кто более-менее ориентируется в экономике и в истории, данный подход должен, скорее, смутить.

Вот, например, один тезис Кларка, восходящий к мальтузианской концепции.

Войны, бандитизм и беспорядки увеличивают уровень смертности при данном уровне доходов (хотя в ходе войн зачастую больше людей погибало от эпидемий, чем от прямого насилия). Однако все факторы, повышающие уровень смертности, улучшают материальное положение общества. Поэтому на самом деле люди в мате-

риальном плане лишь выигрывают от «дурного» управления, хотя и за счет снижения ожидаемой продолжительности жизни [Кларк 2012: 61–62].

Образованные люди, которым не довелось, к счастью, жить при дурном управлении, могут с интересом воспринять логику автора. Ведь математически именно так все и выходит. Объем доступных нам благ фиксирован, и, если часть народа помрет, другим больше достанется. Но те, кто при дурном управлении живут, скорее всего, очень удивятся тому, что они, оказывается, счастливы. В реальной (а не смоделированной теоретиками) жизни эти люди постоянно обнаруживают, что они беднее тех, кто живет при хорошем управлении. Дело в том, что войны, бандитизм и беспорядки негативно влияют на производство. В лучшем случае у бизнеса просто снижаются стимулы к работе, в худшем — погромщики вообще бизнес уничтожают. Поэтому снижение численности населения в жизни сопровождается еще большим снижением объема доступных ему благ. И еще один момент надо учитывать. Скажем, при массовом вымирании работников уровень зарплаты может повыситься из-за дефицита на рынке труда и оставшиеся трудяги станут процветать. Но ведь их высокая зарплата будет включена в издержки и приведет к росту цен, что снизит уровень жизни покупателей. Экономист должен учитывать подобные неочевидные связи. Общество всегда состоит из конкретных групп, и когда благосостояние одних увеличивается, благосостояние других может снижаться.

А вот второй странный тезис Кларка. Рассуждая о средневековой Англии (с 1200 по 1500 год), он отмечает, что она «отличалась поразительной институциональной стабильностью. Большинство ее жителей могло не опасаться посягательств ни на свою личность, ни на собственность. Рынки товаров, труда, капитала и даже земли в целом были свобод-

ными» [Там же: 213]. Даже Роберт Аллен, который невысоко ценит институционалистов и полагает, что развитие Британии было связано вовсе не с переходом от плохих институтов к хорошим, поразился такой переоценкой Средневековья:

чтобы так оптимистично отзываться о средневековых институтах, необходимо забыть об их наиболее типичных формах, например о крепостном праве. <...> В то время как свободные граждане могли защитить свое право на землю в королевских судах общего права, вилланы могли обращаться только в поместные суды, в которых председательствовали их же лорды [Аллен 2014: 15].

Более того, есть множество хорошо известных свидетельств нарушения прав свободных граждан в разных странах средневековой Европы, и Кларк должен был бы не отмахиваться от них, а хотя бы объяснить, почему считает их несущественными. Ну, хотя бы сказать что-то про экспроприацию собственности церкви в Англии при Генрихе VIII. Увы, в своей толстой книге он не счел нужным уделить этому хоть пару страниц. Создается ощущение, что он, как человек, живущий при хорошем правлении, не понимает методы, которыми надо изучать страны, живущие при плохом. Его оценки напоминают оценки историка, который, изучая СССР 1930-х годов, обратится к лишь сталинской конституции и к советским газетам, а потом скажет, что все складывалось замечательно, репрессий не было и страдали лишь виновные.

Наконец, третий странный тезис Кларка:

в такой стране, как Англия, деньги которой в доиндустриальную эпоху пользовались очень высокой репутацией, корона не поддавалась соблазну инфляционного налога, несмотря на вводившиеся парламентом жесткие ограничения на прочие налоговые поступления [Кларк 2012: 225].

В Англии и впрямь до поры до времени дела с «порчей монеты» королями обстояли лучше, чем на континенте, но при Генрихе VIII твердая валюта рухнула. Елизавете I пришлось стабилизировать финансы. Трудно понять, как можно не заметить этот важнейший и, кстати, хорошо изученный исторический эпизод.

Не в пользу автора книги говорит и такое ее положение:

Как ни странно, у нас нет никаких фактов, которые бы говорили о том, что высокие налоги и социальные выплаты в современных государствах каким-либо образом сказываются на объемах производства [Там же: 220].

На самом деле этот вопрос является одним из самых дискуссионных в экономической науке, и факты, не вписывающиеся в логику Кларка, конечно же, есть. Кто прав в этом споре, не будем сейчас выяснять, но в целом то, как работает со своим текстом автор книги, не располагает к нему читателя. Тем не менее собственную концепцию Кларка стоит изучить. Она весьма интересна, хотя небесспорна. И явно не более убедительна, чем институциональная теория или подходы Роберта Аллена, Джоэля Мокира и Джека Голдстоуна.

Выживают богатые

Кларк обратил внимание на то, что в Англии 1630 года «у богатейших завещателей, которые почти поголовно были грамотными, выживало вдвое больше детей, чем у беднейших завещателей, из которых грамотными было лишь около 30%. В каждом следующем поколении сыновья грамотных становились все более многочисленными по сравнению с сыновьями неграмотных» [Там же: 262]. В итоге «под воздействием процесса отбора ме-

нялась культура, а возможно и наследственность живших в таких условиях людей. Как признавал Дарвин, одним из факторов, формирующих все мальтузианские общества, является выживание наиболее приспособленных» [Там же: 265]. Таким образом, Кларк во главу угла ставит биологические факторы развития. Биология определяет демографию: богатые и лучше приспособленные к жизни люди выживают и размножаются, тогда как бедные и менее приспособленные постепенно сдают свои позиции. И получается, что «качество населения», если можно так выразиться, со временем в Англии повышалось.

Другой важный для концепции Кларка момент состоит в том, что быстрое экономическое развитие началось в Англии задолго до промышленного переворота и даже задолго до Славной революции. Если в упоре на биологию и демографию Кларк оригинален, то этот момент подчеркивают многие экономические историки. По всей вероятности, и впрямь уже во времена королевы Елизаветы, или по крайней мере при Стюартах, Англия стала существенно меняться. Таким образом, выходит, что «промышленную революцию можно интерпретировать как отдельную фазу в рамках общего перехода от мальтузианского застоя к современному росту, начавшемуся в английской экономике около 1600 года» [Там же: 337].

Кларк не признает никаких резких переходов в экономике. Он не признает, что какие-то отдельные субъективные обстоятельства (революции, новые институты, великие изобретения, внедрения передовой техники и т. д.) могли оказать решающее воздействие на развитие. В его концепции это развитие идет естественным путем на протяжении столетий под влиянием объективных обстоятельств. Даже превращение Англии в мастерскую мира за период с 1760 по 1860 год он объясняет не высокой производительностью труда, не хорошей

технической оснащенностью предприятий, не паровыми машинами и самопрялками, а высокой рождаемостью. Численность британского населения в то время существенно возросла, а следовательно, возросла «армия труда». Капиталистам было кого нанимать на заводы, и в результате стало производиться намного больше продукции [339–349].

В общем, по большому счету в Англии никогда ничего радикально не менялось, но, поскольку дети богатых и образованных людей выживали лучше, чем дети бедных и глупых, англичане с каждым поколением на протяжении столетий становились все умнее, энергичнее, предприимчивее. И в этом состоял залог успеха. «Можно предположить, что преимущества Англии, — делает вывод Кларк, — заключались в быстром культурном, а возможно даже, и генетическом распространении ценностей экономически успешного слоя по всему обществу в 1200–1800 годах» [Там же: 375].

Концы с концами не сходятся

Получается вроде бы расистская теория, но весьма своеобразная. Дело по Кларку не в том, что англичане вообще генетически лучше других народов, а в том, что генетически лучшие люди стали составлять со временем в этой нации больший процент, чем в других, из-за естественного отбора, при котором они (более приспособленные) лучше выживают. В Китае, Японии и Индии такого не было. Но почему не было, Кларк не объясняет, ссылаясь на недостаток источников [Там же: 374]. И это странно, поскольку простенькая логика автора, согласно которой богатые должны оставлять больше выживших детей, должна вроде бы действовать всюду.

А еще более странно другое. Допустим, восток мы знаем плохо и что-то там объяснить не можем. Но почему именно Англия так преуспела на протяжении семи веков, а не Франция, Германия, Ита-

лия или Испания? Если источники позволяют хорошо проанализировать Англию, то наверняка они должны позволить исследовать и другие западно-европейские народы. Увы, серьезного ответа на вопрос о радикальном расхождении судеб разных европейских стран Кларк не дает. Неясно, почему повышение «качества населения» в Англии привело к подъему, а в Италии в те же столетия шли процессы, которые низвели процветавшие в эпоху Ренессанса Венецию, Флоренцию и Милан до уровня рядовых европейских городов. Похоже все-таки, что в концепции Грегори Кларка концы с концами не сходятся.

Легенда о Великом протекционисте

Экономическая теория Эрика Райнерта

Как известно, на каждый сложный вопрос существует простой, понятный и... неправильный ответ. В исторической социологии такие ответы особенно популярны, поскольку читателю, желающему быстро разобраться в проблемах этой науки, трудно пробираться через множество фактов, которые профессиональные авторы сводят в единую картину. Поэтому тексты, максимально упрощающие реальность и написанные с жестко заданной идеологической целью, бывают много популярнее серьезных исследований. Например, книга норвежского экономиста Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» (Издательский дом ВШЭ, 2017) выдержала в России за последние десять лет пять изданий. Возможно, это наиболее популярная в нашей стране книга из тех, что я анализирую в этом своем исследовании.

Райнерт — откровенный протекционист. И хочет доказать, что именно протекционизм делает страны богатыми. «В книге я утверждаю, — пишет он, —

что нам необходимо заключить сделку, согласно которой странам „первого“ мира разрешалось бы защищать свое сельское хозяйство (но не разрешалось бы скидывать излишки его производства по бросовой цене на мировые рынки), а странам третьего мира разрешалось бы защищать свою обрабатывающую промышленность и сектор продвинутых услуг. Это единственная политика, которая в последние 500 лет обеспечивала странам успешное экономическое развитие» [Райнерт 2017: 27–28].

В науке подобные взгляды сейчас не слишком популярны. Анализ межвоенной эпохи (1920–1930-х годов), когда увлечение протекционизмом было всеобщим, показал, что такой подход для экономики губителен. С тех пор в науке, да и на практике (в деятельности ВТО и Евросоюза), идет поиск способов, с помощью которых торговые ограничения можно преодолеть к выгоде всех договаривающихся сторон. Однако феномен Дональда Трампа, сделавшего ставку на протекционизм и получившего широкую поддержку избирателей, показал, что данная идея жива в народе (даже американском). И широкий спрос на книгу Райнерта, похоже, это подтверждает.

Ведет ли фритредерство к революциям

Экономическую теорию протекционизма мы разбирать здесь не будем, поскольку на эту тему можно написать сотню томов, а вот исторические примеры, на которых Райнерт строит свою аргументацию, рассмотрим, поскольку именно на анализе фактов строится историческая социология. Примеры эти порой вызывают недоумение.

В частности, Райнерт пишет, что вслед за распространением взглядов о плюсах свободной торговли (в 1760-х, 1840-х и 1990-х годах) следовали революции, вызванные нарастанием общественных проблем [Там же: 33]. Эпохи популярности фри-

тредерства он указал верно. И с тем, что общественные проблемы могут в такой ситуации нарастать, тоже можно согласиться, добавив, однако, что проблемы возникают при любых радикальных изменениях в обществе (в том числе при переходе к протекционизму), когда одни группы выигрывают, а другие проигрывают. Можно даже согласиться с тем, что Великая Французская революция (1789) в некоторой степени была спровоцирована договором о свободной торговле с Англией и потерями, которые понесли от усиления международной конкуренции французские ремесленники. Но в других странах Европы на волне распространения фритредерских идей 1760-х годов революций не случилось. В частности, в России при Петре III и Екатерине II был разрешен свободный экспорт зерна и даже отменены экспортные пошлины. Казалось бы, горожане должны были пострадать от подорожания уплывающего за рубеж хлеба и восстать. Но ничего подобного не случилось. Наоборот, произошло восстание Пугачева в сельской местности, причем по причинам, совершенно с фритредерством не связанным.

В 1848 году по ряду стран континентальной Европы прокатилась волна революций, но важнейшие фритредерские мероприятия имели место не до них, а после. Лишь в Англии либерализация внешней торговли (отмена «хлебных законов») произошла за два года до революций, но именно в этой стране революции в 1848 году не случилось.

Наибольшая же концентрация революций в истории пришлась на 1917–1918 годы, когда рухнуло сразу четыре европейских империи. И это была эпоха протекционизма, который нарастал с 1870-х годов, причем Первая мировая война разорвала даже те международные экономические связи, которые пережили повышение таможенных пошлин в предшествующие десятилетия. Похожая ситуация имела место в 1989 году, когда по странам Центральной

и Восточной Европы прокатилась волна бархатных революций, которые, естественно, стали откликом не на будущее фритредерство 1990-х годов, а провалы социализма, в том числе на крайний протекционизм, при котором внешняя торговля сосредоточивалась в руках государства.

В общем, то, что норвежский экономист весьма вольно обращается с историческими фактами, бросается в глаза. Возникает даже соблазн сказать, что дела обстоят прямо противоположным образом. Но в отличие от Райнерта, объясняющего революции фритредерством, я не склонен объяснять их протекционизмом. Все намного сложнее. У революций на самом деле есть целый комплекс причин, о чем говорится в соответствующем разделе этой книги.

Почему Англия добилась успеха

Пример с революциями — это частность. Но вот другой пример, взятый Райнертом, очень важен. Фактически вся его книга выстроена на утверждении, что экономические успехи Англии в Новое время (не вызывающие сомнения ни у фритредеров, ни у протекционистов) были основаны на изобретении промышленной политики королем Генрихом VII в 1485 году. Проще говоря, мудрый Генрих Тюдор, придя к власти и победив кровавого Ричарда III, стал поощрять отечественную шерстяную промышленность и ограничивать экспорт сырой шерсти, который Англия активно осуществляла ранее, благо находящаяся у нее буквально под носом Фландрия предъявляла на сырье большой спрос. Английские овцы стали работать на отечественный бизнес, а не на заморского дядю, и потому на рынке стали появляться шерстяные изделия, которые можно было продавать значительно выгоднее, чем сырье. Так Англия стала богатой, хотя раньше была бедной.

Это любопытная гипотеза, надо признать. Вот тут бы Райнерту и развернуться на фактах. Посвя-

тить хоть половину книги подробному рассказу о том, как конкретно великий Генрих-протекционист защищал отчизну от фламандских эксплуататоров, скупавших сырье по дешевке и продававших втридорога продукцию высокой степени переработки. Увы, даже одной главы автор данной проблеме не посвящает. Он постоянно упоминает о своем «историческом открытии», но не более того.

И здесь закрадывается подозрение, что экономист, как часто бывает, не вполне понимает, чем далекие эпохи отличаются от сегодняшней. Он впадает в анахронизм. Ему кажется, что жизнь 500 лет назад была устроена примерно как сейчас, только без автомобилей и холодильников. Да еще мода была другая. Однако на самом деле в позднее Средневековье, на исходе войны Алой и Белой розы англичане не обладали так называемым государством модерна. Как, впрочем, и другие народы.

Это самое государство модерна отличается, в частности, от средневекового наличием разветвленной бюрократии. То есть, проще говоря, наличием тех самых людей, которым можно поручить проведение промышленной политики. Или какой угодно другой политики. Есть подозрение, что в Англии конца XV века благие намерения Генриха-протекциониста просто некому было реализовывать.

Хорошо известно, что поистине мощная бюрократия зарождается во Франции XVII столетия. Этот процесс описан в целом ряде профессиональных работ. И неудивительно, что кардинал Ришелье смог реализовать свою фискальную политику, чтобы профинансировать армию и ведение Тридцатилетней войны. А Кольбер пошел дальше и реализовал худо-бедно комплексную политику меркантилизма, содержащую важный протекционистский элемент. Правда, именно в эту эпоху Франция стала в экономическом плане проигрывать Англии, и, может, потому Райнерт не стал делать героя из Людовика XIV — патрона Кольбера, а взял за об-

разец Генриха VII. Но я, хоть убей, не понимаю, как на практике Великий протекционист мог обеспечить контроль за движением товаров через границу в эпоху, когда не существовало таможенной и пограничной стражи, а транспортировка шерсти на кораблях по воде технически осуществлялась значительно проще, чем транспортировка через любую сухопутную границу на континенте. Как Генрих пресекал контрабанду в XV веке, если даже бюрократическая Россия сегодня (после контрсанкций 2014 года) ее не может пресечь? Мне кажется, что Райнерту подобные вопросы даже в голову не приходили, поскольку для него, как экономиста, граница — это что-то современное, хорошо технически оснащенное и находящееся под надзором множества профессиональных стражей.

Скорее всего, англичане подняли свою шерстяную промышленность в начале Нового времени совсем не благодаря протекционизму. Просто, с одной стороны, издержки производства у них были ниже, чем в богатых фламандских городах, а с другой — в Англию из тех же Нидерландов переселялись и переносили свой производственный опыт умелые мастера, вынужденные бежать от насилия со стороны конкурентов. Во всяком случае, факты свидетельствуют, что рост экспорта готовых тканей из Англии начался еще до восшествия Генриха VII на престол. А резкое увеличение вывоза этой продукции за рубеж случилось при сыне «великого протекциониста» Генрихе VIII, но связано было не с запретами, а с сильной девальвацией, случившейся в результате «порчи монеты» этим королем.

Почему сильны протекционисты

В общем, вывод о том, что протекционизм сделал мир богатым, историческими фактами не подтверждается. Правда, справедливости ради нужно отме-

тить, что Райнерт прав в другом. Даже те страны, которые со временем стали образцом фритредерства, проходили в свое время через протекционизм. И ныне, когда с высоты своего опыта они говорят бедным странам, что именно свободная торговля является лучшим путем к процветанию, они опираются не столько на собственный опыт тех времен, когда они были бедными, сколько на современный общемировой опыт и на экономическую теорию.

Однако господство протекционизма в прошлом — это результат не осмысленного выбора промышленной политики, а давления на государство со стороны сильных групп интересов. Протекционисты, выигрывающие от тарифов, часто оказываются влиятельнее потребителей, вынужденных в итоге оплачивать из собственного кармана защиту производителей государством.

Почему у Германии получилось

*Рэндалл Коллинз и роль образования
в развитии общества*

В понимании проблемы Великого расхождения большое значение имеет не только то, что происходило в конце XVIII — начале XIX века, когда Англия начала резко уходить «в отрыв», но и то, что происходило в конце XIX — начале XX столетий, когда немцы вдруг стали семимильными шагами догонять англичан. Вопрос о германской модернизации всерьез заинтересовал американского ученого Рэндалла Коллинза. В своей книге «Макроистория. Очерки социологии большой длительности» (М.: УРСС; ЛЕНАНД, 2015) Коллинз посвятил германскому феномену немало страниц. И это отличает его труд от многих трудов исторических социологов, исследующих, в первую очередь, английский феномен, а также американский и французский опыт.

Удачная страна с неудачной модернизацией

Когда путешествуешь по Европе, обращаешь внимание на любопытный парадокс. Одной из наиболее аккуратных и благоустроенных стран, воплощающих в себе понятие «европейская цивилизация», является Германия. Но стоит лишь пересечь германскую границу, как мир становится иным — больше похожим на привычный нам хаос. И так обстоит дело не только при движении из Германии на восток — в Польшу, Венгрию или Чехию. Так обстоит дело при пересечении альпийских перевалов в сторону Италии (особенно если добраться до южной части Апеннин). Так обстоит дело, если попадаешь во Францию или валлонскую часть Бельгии.

Парадоксом я это называю потому, что в исторической социологии на пережившую тоталитарный режим Германию порой смотрят как на не слишком удачный пример модернизации в сравнении с Англией, Францией, Нидерландами (как Бельгией, так и Голландией), переселенческим англо-саксонским миром (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), а иногда даже с Италией, чью ренессансную культуру так принято превозносить. С одной стороны, конечно, из песни слов не выкинешь: немецкое «одичание» эпохи нацизма (переход веймарской демократии к тоталитаризму, огосударствление экономики, военные преступления) — это реальность. Но, с другой стороны, если немцы что-то делали неправильно, то откуда же сегодня у них появились столь явные успехи? Почему они не следуют по пути модернизации с некоторым отставанием от лидеров, а сами явно выбиваются в лидеры?

Развитие институтов или формирование бюрократии?

Английский феномен — это правильные рыночные и демократические институты. Кто-то считает, что они существовали в Англии аж с XIII века,

кто-то полагает, что они сформировались после Славной революции (1688), а кто-то дает им лишь пару столетий. Но в любом случае традиционный подход к анализу успеха состоит в том, чтобы выяснить, как и когда появились разумные правила игры. Об институционализме много говорилось в этой книге. Но Коллинз идет другим путем.

При анализе Германии этот автор на первый план выводит такие направления преобразований общества, как секуляризация, развитие бюрократии и образование. Он полагает, что без соответствующего вклада чиновников, учителей и профессоров модернизация невозможна. А поскольку Германия лидировала в этих направлениях развития, то и ее нынешний успех не должен никого удивлять.

Иными словами, нельзя сказать, как полагают некоторые, будто у Германии был какой-то свой особый путь (*Sonderweg*). Но важно подчеркнуть другое: в процессе модернизации, двигаясь в целом по тем же направлениям, что и другие европейские страны, немцы добились особого успеха в тех сферах, которые у их соседей были в значительно меньшем почете. Институты свои немцы трансформировали, но помимо достижений институциональных имели еще иные достижения.

«Германия во главе с Пруссией и другими северными государствами, — пишет Рэндалл Коллинз, — стала первым относительно светским современным обществом в результате сочетания ряда факторов. Главными среди них были преобладание государственной бюрократии над церковью и реформа системы образования, проводившаяся под светским контролем» [Коллинз 2015: 272].

Упор автора на бюрократизацию, конечно же, несколько смущает. Мы привыкли к тому, что излишняя бюрократизация в современном обществе скорее мешает развитию, чем помогает. Бюрократия часто бывает коррумпирована. Еще чаще она тормозит развитие своей волокитой. С помо-

щью налогов, откатов и взяток она изымает деньги у частного бизнеса, развивающего экономику, и вкладывает порой в безумные расточительные проекты, выгодные лишь ей самой. Поэтому обычно при анализе модернизации мы подчеркиваем значение рыночного развития, но не бюрократизации. Тем не менее стоит обратить внимание на один важный момент. Такие южноевропейские страны, как Италия, Испания, Португалия, сохранившие в XVIII–XX столетиях большую роль Церкви в жизни общества и при этом не слишком преуспевшие в деле формирования современной бюрократии, явно отстали по всем основным параметрам от Германии и скандинавских стран. Если мы будем сравнивать не хорошее с лучшим, а плохое с ужасным, то, возможно, окажется, что доминирование бюрократизма над клерикализмом способствовало развитию. И в этом смысле германский опыт, бесспорно, является позитивным.

«Крупнейший структурный импульс секуляризации имел место, когда университеты вышли из-под церковного контроля. Это явление, — подчеркивает Коллинз, — впервые произошло и стало наиболее влиятельным в Германии. Движение университетской реформы 1780-х и 1790-х годов, завершившееся основанием в 1810 году университета нового типа в Берлине, было направлено на устранение господства богословского факультета и на повышение статуса философского факультета, который ранее вел лишь начальную подготовку студентов к учебе на выпускающих факультетах» (с. 280). Не менее значимы были и изменения, произошедшие в начальной и средней школах, когда «благодаря ряду прусских реформ было введено обязательное школьное образование, причем обучение осуществлялось учителями, не зависевшими от духовенства» [Там же: 281]. Наверное, можно сказать, что именно Германия стала в XIX веке мировым лидером в сфере образования и секуляризации.

В нашей стране либеральная мысль (при всем ее скептическом отношении к религии) какое-то время отдавала приоритет Церкви над государственной бюрократией. Считалось, что нет ничего хуже советских аппаратчиков. Но два-три десятилетия свободного развития РПЦ заставили усомниться в правильности этой мысли. Церковная бюрократия взяла многие недостатки бюрократии партийной и добавила к ним еще свои собственные — те, от которых аппаратчики не страдали.

Впрочем, иной наш отечественный опыт заставляет задуматься об эффективности государственного образования. Если взглянуть на проблему формально, СССР был одной из наиболее образованных стран в мире. Детей в обязательном порядке учили читать, писать и считать, пичкали большим объемом информации по гуманитарным и естественным дисциплинам. Но поспособствовало ли все это развитию общества в тот момент, когда произошла трансформация институтов, когда на смену тоталитарному строю и административной экономике пришли демократия и рынок? Ни в коей мере. Советский человек, не имевший опыта жизни в условиях демократии и рынка, плохо адаптировался к переменам, и всеобщая грамотность мало здесь помогала. Более того, даже по-настоящему образованные инженеры, хорошие врачи и прогрессивные учителя столкнулись с большими трудностями из-за незнания того, как работает реальная экономика, из-за плохой подготовки в области иностранных языков, а также по многим другим причинам.

В общем, с образованием складывается совсем иная картина, чем с институтами. Хорошие институты общество иногда принимает весьма болезненно, но зато в конечном счете (по крайней мере, со сменой поколений) они всегда способствуют развитию. А вот хорошее образование вполне может развитию не способствовать, если в обществе нет

механизмов, заставляющих человека приобретать именно те знания, которые соответствуют потребностям модернизации.

Бюрократия бюрократии рознь

Похожие проблемы возникают и с бюрократизацией. Немцы были, конечно, не одиноки в своем стремлении поставить чиновника выше священника. Если сравнить Германию с Францией, то, наверное, нельзя говорить о контрасте бюрократизма с клерикализмом. Франция (в отличие, скажем, от Испании) тоже стала вполне бюрократической страной, сумевшей ограничить роль Церкви. Однако в этой стране качество государственного аппарата традиционно оставалось невысоким. Многие должности с XVI века продавались и покупались совершенно официально. Чиновник приобретал свое место для того, чтобы «отбить вложенные средства» и в дальнейшем зарабатывать как можно больше. Поэтому во Франции бюрократизация и секуляризация приводили к не столь ярким результатам, как в Пруссии.

Немецкий бюрократ тоже, конечно, не был идеалистом, думающим только лишь об интересах государства, но в Пруссии приобретение в собственность государственных должностей исчезло к 1750 году. «В 1750 году, — отмечает Рэндалл Коллинз, — был учрежден экзамен для приема в ряды прусской бюрократии, что ставило во главу угла университетское юридическое образование, хотя дворяне и были поначалу освобождены от этого экзамена» [Там же: 269].

К тем важным преобразованиям, которые шли «на гражданке», наверное, стоит добавить то, что еще раньше (в 1733 году) прусская армия стала первым в Европе по-настоящему военно-бюрократическим образованием. Вместо частного найма солдат появилась всеобщая воинская повинность и пол-

ностью административное управление. И для армии массовое образование имело большое значение, поскольку солдат, хотя бы немного поучившийся в школе, лучше выполнял команды офицера и адекватнее воспринимал военную дисциплину. Недавно говорят, что знаменитую битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель.

В принципе, то, что Коллинз говорит о Германии, можно, наверное, распространить в целом на тот протестантский мир, в котором Церковь стала ориентироваться не на Святой престол в Риме, а на свое «родное» государство и где радикально изменился характер образования уже с того самого момента, как люди стали самостоятельно читать Библию. Иными словами, помимо трансформации институтов (правил игры) оказалась важна и трансформация культуры. Не только Частная Собственность, но и Святое Писание влияли на поведение людей.

Является ли именно это основой той особой аккуратности и цивилизованности, которую сегодня можно встретить в Германии, в Голландии, в Скандинавии и даже во фламандской части Бельгии? Трудно сказать. Но в какой-то мере то, на что указывает Рэндалл Коллинз, имело значение.

ГЛАВА 5

Вне мейнстрима

«Тайное учение» австрийской школы

Фридрих фон Хайек об ошибках разума и воле случая

«**К**ОНСТИТУЦИЯ свободы» лауреата Нобелевской премии по экономике Фридриха фон Хайека (М.: Новое издательство, 2018) была написана 60 лет назад и с тех пор стала одной из самых влиятельных книг в либеральных кругах. В целом она носит философский характер, но мне хотелось бы обратить внимание на то, на что обращать внимание не принято: на размышления, которые можно отнести к области исторической социологии, то есть науки о том, как и почему общество развивается.

Рациональное движение в бездну

Вот уже более ста лет существуют идущие от Макса Вебера представления о том, что это развитие связано с рациональностью человеческих действий. Роль разума в процессе модернизации трудно подвергнуть сомнению. Хайек, однако, обогатил сложившиеся представления о развитии важными идеями, характерными для австрийской либеральной научной школы. Создавали эту школу экономисты, жившие еще в Австро-Венгрии — Карл Менгер, Фридрих фон Визер, Евгений фон Бем-Баверк. Выдающийся мыслитель Людвиг фон Мизес вывел австрийскую школу далеко за рамки экономической науки в узком смысле. Однако по-настояще-

му философской школой, показывающей, как развивается общество, ее сделал Хайек.

Думается, по-настоящему понять характер модернизации можно лишь в том случае, если веберинский анализ, делающий упор на рациональность, дополняется анализом, осуществленным на основе методологии Хайека, делающей упор на ограниченность разума и на определяющее значение свободы в нашей жизни. В данном случае мы имеем чрезвычайно интересный синтез идей двух разных научных школ, формально почти не связанных друг с другом, однако в реальности оказавшихся взаимозависимыми. Если выразиться образно, то в понимании проблем развития общества мы правой ногой опираемся на Вебера, а левой — на Хайека.

Суть получающейся концепции можно кратко выразить следующим образом. Мы, конечно, действуем рационально, стремясь улучшить по мере сил свою жизнь. Но вот беда: наших знаний о том, как устроен мир, совершенно недостаточно для последовательных рациональных действий. Мироздание оказывается намного сложнее, чем может помыслить себе самый умный и образованный человек. Мы развиваемся, занимаемся наукой, приобретаем новые знания... Но все эти приобретения лишь показывают умному исследователю, что масштабы непознанного по-прежнему огромны. Точнее даже можно сказать, что расширение объема знаний расширяет и границы, на которые мы с их помощью выходим. А стоя у существенно расширившихся границ, мы обнаруживаем значительно больший по размерам неизведанный мир, чем тот, который видели раньше.

Рост нашего знания о природе постоянно открывает новые сферы непознанного, но в то же время цивилизация, которую нам позволит строить это знание, становится все сложнее, и это воздвигает все новые препятствия на пути постижения окружающего нас мира [Хайек 2018: 48].

Таким образом, получается, что в ходе модернизации, в ходе преобразования общества человек действует рационально, оценивает факты, просчитывает риски, намечает оптимальные пути движения вперед. Однако из-за того, что знаний для рациональных оценок у него маловато, велика оказывается вероятность ошибок. Иными словами, мы в целом ряде случаев осмысленно, на основе рационального расчета и под руководством лучших умов человечества... движемся в бездну.

А это означает, что неверны два самых популярных у нас по сей день представления о том, каким образом меняется к лучшему жизнь человечества.

Сила (производительная) есть — ума не надо?

Одно представление основано на том, что лучшие умы порождают лучшие идеи. Лучшие реформаторы эти лучшие идеи реализовывают. И таким образом в мире осуществляется прогресс. Увы, на самом деле хоть мир великих идей завораживает человечество и всячески достоин изучения в университетах, он мало дает нам для понимания модернизации общества. Какой великий ум породил голландское экономическое чудо, свершившееся на рубеже XVI–XVII веков? Какой великий реформатор создал Англию как великую промышленную державу к концу XVIII века? Мы можем назвать имена выдающихся ученых, осмысливших эти успехи, и имена блестящих реформаторов, способствовавших тому, чтобы по пути, проторенному Голландией и Англией, пошли затем Франция, Германия или Россия. Однако не существует творцов, стоявших у самых истоков модернизации. Страшный вывод просматривается: она получилась как бы сама собой.

Но, может быть, раз все идет само собой, то справедливо другое представление: в мире господствуют объективные законы развития, существующие даже тогда, когда великие умы их еще не познали? На-

пример, закон соответствия производительных сил и производственных отношений, столь почитаемый марксизмом. Так сказать, сила есть (производительная) — ума не надо. Увы, этот марксистский вывод является столь общим и расплывчатым, что ничего нам не дает для понимания острых проблем современности. Выросли в мире производительные силы... И почему же в определенный момент ими смогли воспользоваться голландцы с англичанами, тогда как немцы с французами (не говоря уж о русских) изрядно запоздали? И почему сегодняшними производительными силами успешно пользуются, скажем, китайцы, но не россияне? Ответ на эти вопросы нам в общих чертах понятен. Успех приходит туда, где формируются правильные институты, то есть такие правила игры, при которых люди могут с пользой овладеть производительными силами. А институты эти сформировались в свое время именно в Голландии и Англии. Но почему именно там? Марксизм в этом месте вынужден умолкнуть.

Хайек же в общих чертах объясняет, почему так складывается дело в истории человечества. Мы движемся вперед методом проб и ошибок.

Было бы ошибкой полагать, будто для достижения более высокого уровня цивилизации нам достаточно просто реализовать на практике идеи, которыми мы руководствуемся сегодня [Там же: 44].

Лучшие рациональные идеи лучших умов человечества запросто оказываются ложными в свете опыта, полученного в ходе развития.

К чему это приводит в бизнесе, мы все сегодня понимаем. Это приводит вовсе не общему кризису капитализма и не к торможению развития, как полагали еще недавно советские марксисты, а к эффективной конкуренции и к созидательному разрушению (по терминологии выдающегося эконо-

номиста-австрийца Йозефа Шумпетера). Если выясняется, что бизнес-стратегия в одной фирме ложная, то данная фирма несет существенные убытки или даже прекращает свое существование, однако при этом другие компании на рынке продолжают работу, демонстрируя, что идеи, заложенные в их стратегии, были правильными. Неудачники же при этом оказываются вынуждены признать ошибки, разрушить то, что у них было, обновить оборудование и двинуться по тому пути, который проложили творцы лучших идей.

Похожим образом, если несколько упростить проблему, обстоит дело и с развитием обществ. Разные люди в разных местах предпринимают попытки изменить жизнь человечества. В ходе конкуренции разных стратегий преобразования выясняется, что одни идеи провальны, тогда как другие — способствуют развитию. И выясняется это на практике, где может запросто случиться конфуз даже в том случае, когда апологеты некой теории объявляют ее «единственно верным учением».

Цивилизация — результат накопленных проб и ошибок

Как бы ни было унижительно для человеческой гордости, следует признать, что прогресс и даже простое сохранение цивилизации зависит от максимума возможностей для случайных событий» [Там же: 51].

Глядишь, где-то обстоятельства случайно складываются так, что мы продвигаемся на новый уровень развития. Причем не обязательно на тот, на который сперва нацеливались. Например, можно заметить, что европейцы в XVI–XVII веках пролили реки крови, стремясь разобраться, как следует правильно верить в Бога. К единой трактовке религиозных проблем они не пришли, зато «на выходе» получили экономическое чудо, которое трансформирова-

ло общество и со временем даже привело к секуляризации.

«Цивилизация — результат накопленных проб и ошибок» [Там же: 86]. Лишь когда пробы вдруг дали наконец неожиданный результат, лучшие умы человечества стали порождать лучшие идеи и рациональным образом вести работу над ошибками в тех странах, которым не посчастливилось ранее случайно прийти к успеху. Идеологи стали объяснять правителям и народам, где развитие лучше удастся и чей опыт следует позаимствовать. Реформа пошла за реформой. Модернизация изменила облик Западного мира. А мыслители задним числом объяснили человечеству, что Просвещение привело к Прогрессу. Но вообще-то, отмечает Хайек,

эволюцию общества нельзя назвать прогрессом, потому что она не является плодом человеческого разума, стремящегося при помощи известных методов достичь поставленной цели. Было бы правильнее думать о прогрессе как о процессе формирования и изменения человеческого интеллекта, процессе адаптации и обучения, в ходе которого постоянно изменяются не только известные нам возможности, но и наши собственные ценности и желания [Там же: 63].

В «Конституции свободы» вся эта логика развития намечена лишь отдельными штрихами. Если бы за шесть десятков лет, прошедших со дня выхода книги, не появилось множества трудов в области экономической истории и исторической социологии, показывающих, как на деле все в мире получалось, я не только не смог бы предложить всей этой интерпретации идей Хайека, но, наверное, даже не смог бы адекватно понять его идеи. И вот загадка: все эти труды были созданы не в рамках австрийской школы. Некоторых авторов даже отличает такая левизна взглядов, от которой Хайек

пришел бы в ужас. То есть, хотя он и был признан великим пророком в своем либеральном «отечестве», данное направление его мысли последователи проигнорировали. Историческая социология в австрийской школе остается «тайным учением», которое не скрывают, конечно, но и не пропагандируют.

Это не значит, что в рамках австрийской школы нет ценных экономико-исторических работ. Они есть, и в большом количестве. Один лишь Мюррей Ротбард чего стоит! Но историческая социология, ставящая своей задачей объяснить общую логику, причины и последствия модернизации, австрийскую школу, насколько мне известно, не заинтересовала. А заинтересовала совсем другие научные школы, представители которых на Хайека даже не ссылаются. Возможно потому, что просто не читали его и к близким по духу выводам пришли самостоятельно через несколько десятилетий после выхода в свет «Конституции свободы».

Человечество в сетях

Бескрайний социальный мир Майкла Манна

Эту огромную книгу я почти непрерывно изучал, несколько месяцев. Не только долгими зимними вечерами погружался в толстенные тома, но также утром и днем работал со сложнейшим историко-социологическим текстом, пытаюсь понять логику автора. Если не считать студенческого штудирования «Капитала» Карла Маркса, никогда не доводилось мне еще, пожалуй, столь долго работать с трудами одного ученого. Но в данном случае иначе не получалось. «Источники социальной власти» английского социолога Майкла Манна — это четыре толстенных тома, создававшихся автором на протяжении трех десятков лет. В нашем издании (М.: Дело, 2018) огромный второй том еще

и разделен на две книги так, что в целом получил-
ся даже пятитомник из трех тысяч страниц боль-
шого формата.

Общества не существует

Описать это все невозможно даже вкратце, но мож-
но понять, зачем автор посвятил жизнь такому тру-
ду. Майкл Манн предложил нам два новых подхо-
да к истории.

Во-первых, он отметил, что общество строит-
ся на четырех источниках социальной власти —
экономической, политической, военной и идео-
логической, — причем ни один из них не мо-
жет считаться важнее другого. Все переплетено
[Манн 2018, т. 1: 30]. Бывает, политика проистекает
из экономики. А бывает наоборот. И даже военная
власть может порождать серьезную трансформацию
в экономических системах. Причем «четыре источ-
ника власти не похожи на бильярдные шары, ко-
торые катятся по своим собственным траекториям,
меняя направление при столкновении друг с дру-
гом. Они переплетаются» [Манн 2018, т. 2, кн. 1: 18].

Во-вторых, согласно социологии Майкла Ман-
на, общество — это вообще не система. Четыре ме-
ханизма власти — это не дубинки, обрушивающиеся
на нас из столицы, а сети, раскинувшиеся в разных
направлениях и на разные расстояния. Какие-то
территории покрыты всеми имеющимися сетями,
а какие-то нет.

Хотя Майкла Манна называют веберианцем,
в исторической социологии трудно найти более
амбициозную попытку пересмотреть все сложив-
шиеся подходы:

Я отклоняю все теории систем: весь холизм, все
попытки оправдать общества. Не существует от-
дельно взятого американского или французско-
го общества (имеют место только одноименные

национальные государства), индустриально-го или постиндустриального общества, «мир-системы», одного-единственного процесса глобализации, мультигосударственной системы, где доминировала бы одна логика политического реализма, не существует логики патриархата. История не знает фундаментальных сражающихся единиц, как то история классовой борьбы, или борьбы способов производства, или «эписистем», или «дискурсивных формаций», культурных кодов, или фундаментальных структур мышления, управляющих языком, ценностями, наукой и практиками эпохи, и все это не обусловлено единственным процессом власти, пронизывающим человеческую деятельность. Это только примеры сетей с относительно четкими границами [Манн 2018, т. 1: 7].

Понять выстроенную Майклом Манном конструкцию нелегко. Кратко описывать в небольшом тексте бессмысленно. Но невозможно при этом посвятить данному автору пару отдельных текстов, как делаю я в этой книге с некоторыми другими историческими социологами, поскольку «Источники социальной власти» — единая интеллектуальная конструкция. Поэтому для простоты я сейчас попробую наложить теорию Майкла Манна на современную Россию, то есть привести такой пример, который автору четырехтомника даже в голову не приходил.

«В действительности всё не так, как на самом деле»

Эта знаменитая фраза Станислава Ежи Леца постоянно приходит в голову при попытке применить методологию Майкла Манна для анализа известных событий.

Вся Россия покрыта у нас сетью политической власти. Военная (силовая) в основном с политической совпадает. Но, скажем, Чечню силой поко-

рить не удалось. И Кремль привязал ее к Москве политически (сделав Рамзана Кадырова чем-то вроде вассала, лично заинтересованного в сохранении лояльности сюзерену), тогда как федеральным силовикам вход в Чечню чуть ли не запрещен. А вот контроль Москвы над социалистическим лагерем до бархатных революций 1989 года был, наоборот, построен на том, что военная сила контролировала всю Центральную и Восточную Европу, состоящую из отдельных государств. И силовой контроль сохранялся даже тогда, когда политически Кремль ослаб: авторитета не было, но были танки. И лишь когда Горбачев сказал сателлитам, что танки вводить не станет, за один год система рухнула, и наши политические «союзники» оказались вскоре союзниками США.

Сети экономической власти раскинулись сегодня далеко за пределы России, что в целом характерно для эпохи глобализации. Москва может в известной мере влиять на европейские дела, поскольку Брюссель нуждается в наших природных ресурсах. При этом изменение в ценах энергоносителей, вызванное, скажем, американскими добытчиками сланцевой нефти, без всякой властной вертикали передается к нам и сильно влияет на уровень жизни широких масс, на взаимоотношения в элитах, на лояльность силовиков и на многое другое. То есть сеть экономической власти у нас сегодня всемирная и ее интенсивность ослабевает не там, где до зубов вооруженные пограничники сторожат границу национального государства, а там, где какая-то страна оказывается настолько неразвитой, что просто не воспринимает происходящие в ходе глобализации катаклизмы. Россия глухой дырой не является, поэтому наши события во многом есть результат колыханий экономической сети.

Идеологическая власть внутри одной страны может определяться различными сетями. Ска-

жем, у нас в России есть две по-настоящему крупные религиозные конфессии: православие и ислам. Воздействуют они по-разному и на разные группы населения. Причем ислам является лишь частью огромной межнациональной сети идеологической власти, в которой «за ниточки» дергают совсем не из Кремля. А вот православие во многом зависит от политической сети. Причем если недавно еще православная идеологическая сеть выходила за национальные границы в Украину, то теперь она скукожилась почти до масштабов нашего государства.

Таким образом выходит, что если мы хотим с помощью методологии Майкла Манна объяснить, как устроен мир (от современной России до средневековой Европы или до исламского халифата), то должны изучать не государство, как целостную систему, а разнообразные сети власти. Проще говоря, не выходя за пределы страны, мы обычно можем понять лишь действие политической сети. Мы можем понять, почему некий король отрубил голову строптивому графу или каким образом некий министр собрал налоги с подданных. Но как только мы зададимся вопросом о причинах экономического процветания или упадка, нам сразу придется отказаться от мысли ограничиться изучением королевских решений. Мы должны будем смотреть на то, как влияет на некий город международная торговля, как он богатеет не благодаря королевским указам, а благодаря коммерческим сетям, выстроенным тысячами купцов и банкиров. А если попытаться понять, каким образом вдруг случилась революция в некотором царстве, некотором государстве, то придется разбираться в запутанных международных идеологических сетях, и выяснять, как зародившиеся за тридевять земель великие революционные идеи достигли наших земель и подорвали стабильность, существовавшую здесь испокон веков.

Социология Буратино

Если, скажем, вы решили написать диссертацию про Буратино, то вам недостаточно разобраться в характере силовой власти Карабаса. Вам надо понять, как рынок зрелищ влияет на кукольные театры, откуда и почему пришли свободолюбивые идеи, воздействующие на кукол, и что мешает государству защитить Карабаса от папы Карло... Это, конечно, шутка. Но, анализируя французскую революцию, германские университеты или российское крепостное право, вы столкнетесь примерно с теми же проблемами. Если, конечно, хотите понять суть, а не только защитить диссертацию.

Я совсем не уверен в правильности многих конкретных выводов Майкла Манна, изложенных в огромном четырехтомнике. Любому автору трудно описать весь мир и нигде не ошибиться. Одной человеческой жизни вряд ли хватит, чтобы разобраться в гигантском объеме материала, который необходимо изучить для завершения такого труда. Более того, в некоторых случаях некомпетентность автора просто бьет в глаза. Например, когда он в последнем томе пытается проанализировать перестройку и реформы в нашей стране [Манн 2018, т. 4: 267–321]. А порой бьет в глаза его идеологическая ангажированность. Манн, хоть и не марксист, но социолог левых взглядов и на либерализм, прямо скажем, смотрит пристрастно [Манн 2018: т. 4: 193–266]. Поэтому тот, кто возьмет на себя труд прочесть все четыре тома «Источников социальной власти», будет порой восхищаться автором, а порой чертыхаться, жалея потраченных на толстую книгу денег. Но, как бы мы ни оценивали конкретику, наполняющую исследование Майкла Манна, методология анализа, осуществляемого путем прослеживания сетей власти, является, на мой взгляд, одной из наиболее эффективных для понимания того, как устроен социальный

мир. Она избавляет нас от двух весьма распространенных ошибок.

Во-первых, от ошибки марксистской, от попытки все объяснить, исходя из экономики, то есть из соотношения производительных сил и производственных отношений. А также из борьбы рабочего класса с эксплуатирующей его буржуазией. Во-вторых, от ошибки националистической и автаркической, то есть от попытки объяснить все происходящее в нашей стране, не выглядывая за ее границы.

С советской школы нас учили понимать общество именно на базе этих двух ошибок. История России была разделена со Всемирной историей. Первая изучалась для того, чтобы понять нашу страну, а вторая — для общего развития. Первую мы познавали сносно. Вторую — лишь как бессмысленную мешанину событий и дат. Мы не видели той цепочки, по которой эти события доходили из дальних уголков мира до нас и пробуждали эпохальные перемены. Лишь марксизм наши учителя интегрировали с национальной историей, поскольку даже самым изолированным идеологам трудно было бы извлечь эту революционную концепцию из национальных глубин.

Школа, наверное, еще долго останется оплотом консерватизма. Но, к счастью, у нас появляются книги. Уйдя со школьной скамьи, можно начать переучиваться. Хотя на это, возможно, понадобится не меньше лет, чем на школьное образование.

Что для нас сделали римские папы

*Дипак Лал о важности непреднамеренных
последствий в истории*

Содержание книги обычно для читателя важнее ее заголовка. Название ведь лишь привлекает внимание к тому тексту, который следует изучить. Однако индийско-американский экономист Дипак Лал написал книгу, содержание которой чрезвы-

чайно спорно (хотя полезно и интересно для чтения), но заголовок показывает главную причину трансформации мира. Книга эта называется «Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты» (М.: ИРИСЭН, 2007).

Книга невелика по объему, но автор пытается охватить в ней весь мир и всю человеческую историю, рассказывая, чем отличаются разные цивилизации друг от друга применительно к проблеме хозяйственного развития. С одной стороны, принадлежность Дипака Лала к Востоку (по рождению) и к Западу (по месту работы) настраивает на мысль, что этот профессор способен и впрямь навести нас на такие оригинальные мысли, которые не могут сформироваться у обычного уроженца какой-то восточной или западной цивилизации. Но, с другой стороны, нас с самого начала смущает его намерение пробежаться галопом не только по Европам, но также по разнообразным Азиям. Например, раздел «Греческая православная церковь и Россия» занимает в книге лишь три страницы. Размышляя о нашей стране, автор пользуется лишь двумя традиционными стереотипами: во-первых, русские крестьяне не имели собственности на землю из-за постоянных переделов; во-вторых, наша страна отстала от Запада в техническом отношении и постоянно пыталась догнать его [Лал 2007: 119]. Анализ того факта, что настоящая частная собственность на Западе была продуктом долгого исторического развития, что она сформировалась лишь в Новое время и что разные западные страны тоже постоянно пытались догнать лидеров, не находит места в небольшом двухсотстраничном томике Дипака Лала. И это, конечно, настораживает при чтении его размышлений о тех восточных цивилизациях, которые он вроде бы должен знать существенно лучше нас.

От большой семьи к малой

Тем не менее анализ западного мира в «Непреднамеренных последствиях» представляет большой интерес. Дипак Лал кратко перечисляет широко распространенные в исторической социологии причины возвышения Запада — важность городов-государств для купцов и коммерции, развитие коммерческого договорного права, признание государством частной собственности, а также «греческий дух любознательности». Он даже ссылается на Дугласа Норта, признавая тем самым значение институционализма [Там же: 92–93]. Но его собственный вклад в исследования сводится к анализу происхождения западного индивидуализма, без которого ничего подобного в Европе не возникло бы. Скажем, его родная Индия была в давние времена похожа на Европу тем, что (в отличие от Китая) оказалась раздроблена на малые, конкурирующие между собой государства. Но духа индивидуализма там не возникло, а потому не возникло и европейского развития.

Европейский индивидуализм произошел из так называемой папской революции, которую совершили в VI и в XI веках римские понтифики Григорий I и Григорий VII. Они боролись со светским миром за власть и имущество, стремясь сделать католическую церковь более сильной и богатой. Для этого, по Дипаку Лалу, ссылающемуся на историка Джека Гуди, папы стремились ослабить семью, запретив близкородственные браки, усыновление и сожителство, а также идеализируя девственность и безбрачие. Логика здесь такова: чем сложнее будет рожать детей, чем дольше будут подыскиваться сексуальные партнеры, чем больше клириков будет соблюдать целибат и чем больше людей останется без наследников, тем больше имущества по завещанию отойдет к церкви и тем сильнее она в конечном счете станет [Там же: 104–107]. Более того,

Дипак Лал полагает (правда, без особых на то оснований), что церковь в Средние века поддерживала независимость молодежи в выборе брачных партнеров, в устроении собственного домохозяйства и в переходе от полной заботы о своих стариках к договорным отношениям с ними. Родители могли лишить детей наследства, а дети могли не кормить пожилых родителей, оставив их, скажем, на попечение церкви, гильдий или манора. Таким образом, в Европе еще в давние времена возникла нуклеарная семья, а это, с точки зрения нашего автора, фактически породило индивидуализм [Там же: 108–111].

Естественно, он не возник тогда в том же виде, в каком существует сейчас. На протяжении последнего тысячелетия у индивидуализма была сложная судьба. Ему приходилось бороться с коллективизмом, то наступая, то отступая. Важнейшим рубежом на этом пути была реформация, которая вывела человека на прямой, индивидуальный контакт с Богом. Но в дальнейшем людям, стремившимся к индивидуальному восприятию мира, приходилось как-то адаптироваться к различным психологическим трудностям. В этом смысле важнейшей вехой на пути перемен стал фрейдизм, учивший людей справляться со своими страхами без помощи священника, общины и семьи [Там же: 130]. Наконец, надо принять во внимание и другие, помимо индивидуализма, факторы развития. Например, в книге «Похвала империи. Глобализация и порядок» (М.: Новое издательство, 2010) Дипак Лал рассуждает о том, как развитию способствовали интеграция разных групп населения, единая система коммуникаций и общий язык [Лал 2010: 178–179].

В общем, для объяснения того, как мы пришли к современному обществу, надо принимать во внимание целый комплекс обстоятельств. Тем не менее Дипак Лал, подводя итоги своего исследования, настаивает, что

повивальной бабкой при рождении того «пакета», который привел на Западе к росту прометеевского типа, была христианская церковь. Индивидуализм, которому она непреднамеренно способствовала, является уникальным космологическим представлением Запада. Остальной мир был и остается коммуналистским [Лал 2007: 204].

Война по глобусу

У этой концепции есть как минимум три важные проблемы. Можно согласиться с тем, что формирование индивидуализма — это важнейшее условие для развития общества, однако само по себе оно все же мало что объясняет и нуждается в многочисленных дополнениях.

Во-первых, если мы во главу угла ставим действия христианской церкви, осуществлявшиеся во всем католическом мире, то начинаем «воевать с остальным миром по глобусу». Ведь изменения, происходившие в Европе на протяжении столетий после папской революции, были очень неоднородными: то одна страна выбивалась вперед, то другая. Поначалу крупные изменения происходили в северной Италии и южных Нидерландах (Фландрии, Брабанте), затем в Нидерландах северных (Голландии). Промышленный переворот был осуществлен в Англии лишь в Новое время, а после этого большого экономического успеха добилась Германия. Нет сомнения в том, что для всех этих прорывов индивидуализм был важен, но сам по себе он не может объяснить ничего. Каждое из перечисленных событий нуждается в тщательном исследовании и выявлении факторов, реально его обусловивших.

Во-вторых, чрезвычайно спорно то, что именно демографические обстоятельства, связанные с радикальной трансформацией семьи, в полной мере предопределили формирование индивидуализма (хотя, наверное, они на этот процесс в извест-

ной мере влияли). Конкретная семейная ячейка могла в разных обстоятельствах быть разной, однако тесные связи между этими ячейками долгое время сохранялись, поскольку без взаимной поддержки большого числа людей трудно было выжить в обществе, где государство (законы, полиция, суд) не защищали человека. Например, в итальянских и французских городах эпохи Ренессанса существовали различные формы взаимосвязи семей (линьяжи, консортерии, альберги, домусы), которые жестко ограничивали проявления индивидуализма. В случае столкновения интересов двух конфликтующих линьяжей действовал принцип «один за всех и все за одного». Никакой индивидуализм не допускался. И это ведь происходило в тех местах, которые для своего времени считались наиболее индивидуалистическими.

В-третьих, поскольку великое расхождение Европы с остальным миром произошло лишь в XVIII–XIX веках, трудно считать определяющим фактором данного процесса события, случившиеся в раннее Средневековье. Если бы именно папская революция была таким важным событием, как полагает Дипак Лал, расхождение произошло бы раньше. Пусть не великое, а хотя бы малое. Но так или иначе в истории можно было бы обнаружить какие-то его признаки. Однако те успехи, которые случались у европейцев (итальянцев, фламандцев, голландцев) в Средние века и в начале Нового времени качественно не выделяются на фоне, скажем, достижений Китая тех лет. Поэтому резонно предположить, что либо в других частях мира тоже пробуждался индивидуализм сквозь коллективистскую оболочку обществ, либо индивидуализм был не столь важен в сравнении с иными обстоятельствами. Здесь вряд ли стоит разбирать, какое предположение вернее, но, по всей видимости, гипотезу Дипака Лала все же стоит счесть недостаточно обоснованной.

Что же на самом деле важно

Что по-настоящему важно в концепции Дипака Лала, так это первостепенное внимание, уделяемое роли непреднамеренных последствий для развития общества. Так или иначе на это обращают внимание нынче самые разные авторы самых разных исследовательских направлений. Думается, сейчас можно говорить о своеобразном консенсусе, объединяющем серьезных ученых. При анализе развития общества они исходят из того, что по-настоящему радикальные перемены не являются следствием целенаправленных усилий великих реформаторов или крупных идеологов, а также не предопределены культурными, географическими или биологическими обстоятельствами. Важнейшие перемены обычно становятся непреднамеренным последствием тех усилий, которые люди предпринимают для достижения совершенно иных целей. Однако, конечно, конкретный ход перемен зависит от начальных обстоятельств, в которых находится то или иное общество. А темпы перемен зависят от того, насколько эффективны оказываются реформаторы или идеологи, которые встают во главе той «армии», что рано или поздно вступает в бой за новое против старого. Дипак Лал в своей книге четко показал роль непреднамеренных последствий разных событий и, в отличие от многих других авторов, вынес это словосочетание в заглавие, обратив тем самым внимание читателей на то, как следует изучать экономическое развитие.

Имеет ли культура значение?

Как Лоуренс Харрисон решает этот вопрос

Слова, вынесенные в заголовок этого текста, совершенно однозначно понимаются большинством представителей социальных наук, но могут ввести

в заблуждение читателя, который воспримет их в «бытовом» смысле. Речь здесь идет не о влиянии искусства на воспитание детей, не о том, что надо читать им Пушкина, водить в музеи и приобщать к театру. Значение такого культурного воспитания не подлежит сомнению. Но вот влияет ли культура того или иного общества на возможности его развития? Можно ли сказать, что народы с определенными традициями, обычаями, верованиями в большей степени предрасположены к тому, чтобы стать богатыми и демократическими, чем народы с другой культурой? Этот вопрос является одним из наиболее дискуссионных в исторической социологии. И именно ему посвящены работы американского исследователя Лоуренса Харрисона «Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике» (М.: Новое издательство, 2008), «Главная истина либерализма. Как политика может изменить культуру и спасти ее от себя самой» (М.: Новое издательство, 2008), а также «Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма» (М.: Мысль, 2016). По сути дела, они в совокупности представляют одно большое исследование, поскольку основные идеи, а также цитаты и исторические примеры, у автора перетекают из книги в книгу.

Харрисон все время говорит об одном: культура имеет значение, но это — не судьба, которую нельзя изменить. Либералы в отличие от консерваторов считают, что политика может трансформировать культуру [Харрисон 2008б: 13]. Страны вполне способны меняться, но без понимания плюсов и минусов культуры перемены затруднены. С этим всем вполне можно согласиться и поддержать Харрисона в его устремлениях. Но при конкретном разборе книг, увы, начинаются проблемы. Как ответственный ученый, автор подчеркивает, что на успех влияют разные факторы. Тем не менее из его текстов можно вынести суждение о процветании в ос-

новном тех народов, у которых сложились наилучшие для развития культурные традиции. И выводы при этом не вполне согласуются с фактами, плохо объясняя ход истории.

Конспирология и культура

Думается, что объяснение мира через культуру является второй по популярности группой концепций после конспирологических — объясняющих мир через заговоры. И это не случайно. Популярными обычно становятся наиболее простые для понимания концепции. Всегда можно сказать, что некие события случились потому, что к ним вели тайные силы. И факты, доказывающие это, не требуется подбирать, поскольку силы-то тайные. В них надо просто верить. С культурой, как ни странно, выходит похожая история. Успех в развитии того или иного народа объясняется присущими ему чертами. А доказательством того, что именно данные черты способствуют развитию, является этот самый успех. Как же не говорить, что евреи, конфуцианцы и протестанты культурно предрасположены к успеху, если евреи всегда успешны, конфуцианский Китай уже 40 лет лидирует по темпам роста, а протестантские страны являются наименее коррумпированными? Культурные теории исключают (как и конспирологические) необходимость анализа множества сложных исторических фактов. Они «позволяют» изучить вопрос о причинах успешного развития той или иной страны буквально за несколько дней вместо нескольких десятилетий.

Как соблазнительно, например, объяснить успех Китая конфуцианскими ценностями! Ведь конфуцианство воспитывает рациональность и стремление к достижениям, стимулирует желание достичь материальных целей, обеспечивает прагматизм и сосредоточенность на посюстороннем мире. Конфуцианство дает культурный иммунитет про-

тив фатализма и способствует вере человека в способность изменить свою судьбу. Оно сосредоточено на будущем, которое должно быть лучше, чем настоящее [Харрисон 2016: 123–125]. Кажется очевидным, что именно это всегда влияло на успех. Но возникает вопрос: почему данные качества, присущие культуре со времен Конфуция, не сделали Китай динамичным во все времена? Ведь если покопаться в китайской истории, то выяснится, что она была сравнительно успешной до XVIII века, но затем страна уступила Западу, а при маоизме дошла до нищеты. И лишь за последние десятилетия Китай показал нам пример динамичного развития. Вековая культура никак не способна объяснить подобные метаморфозы, и, если мы хотим их понять, нам нужно с головой погружаться в изучение множества конкретных исторических фактов, влияющих на развитие здесь и сейчас.

Такое погружение, кстати, может выявить, что те или иные качества, которые по мнению культурологов присущи нации или конфессии, на самом деле являются мифом, как мифом являются, скажем, представления о доброте, соборности и особой религиозности русского народа. Скажем, объясняя особенности успешной культуры, Харрисон приводит мнение шведских ученых, согласно которому «через истинную лютеранскую веру и через послушание теократической монархии люди Швеции были связаны друг с другом в одну общину, которая объединила подданных королевства в одну душу» [Там же: 138]. Но если в этой фразе заменить лютеранство на православие, Швецию на Россию и королевство на царство, получится типичная для славянофилов мысль, которую, правда, никто не положит в основу объяснения успеха, поскольку Россия не слишком успешна.

Мифическая русская душа, так же как мифическая шведская, вообще не существует. Но, как демонстрирует Харрисон в другом месте, ссылаясь

на других шведов, их страна еще в середине XIX века была, возможно, самой грамотной в Европе [Харрисон 2008б: 188]. И этот конкретный исторический факт говорит нам больше, чем все культурное мифотворчество. Думается, точно так же проблемы России можно объяснить, исходя из особенностей нашего исторического развития, а не из культуры.

Что случилось с Бразилией

Вернемся, впрочем, к Китаю. Харрисон противопоставляет культурные черты динамичной Юго-Восточной Азии культурным чертам застойной Латинской Америки.

В отличие от иберийской восточноазиатская культура делает акцент на таких ценностях — например, образование, труд, дисциплина, личные достоинства, бережливость, — которые, если их не подавляет бюрократия, служат мощными двигателями экономического роста и экономического плюрализма [Харрисон 2016: 122–123].

На первый взгляд кажется, будто латиноамериканцы на китайском фоне и впрямь неудачники. Но вообще-то такие страны, как Чили, Уругвай и Аргентина, богаче Китая по ВВП на душу населения, а многие другие — находятся примерно на китайском уровне. То есть тот, кто судит об успешности Китая, судит на самом деле лишь по последним десятилетиям, тогда как, скажем, аналитики 1930-х годов должны были бы говорить об успехах латиноамериканцев в сравнении с китайцами или даже корейцами. Ясно, что культурные объяснения здесь никак не подходят. Причины того, почему удачники и неудачники меняются местами, надо искать в чем-то ином.

Впрочем, Харрисон и в Латинской Америке пытался обнаружить страны, меньше «зараженные» вирусом плохой культуры. В книге «Кто процве-

тает?», написанной в начале 1990-х годов, он выделяет Бразилию, отмечая, что ее «португальская» культура лучше для экономики, чем «испанская» культура других латиноамериканских стран [Харрисон 2008а: 37–62]. Он ссылается, в частности, на мнение самих бразильцев, подчеркивающих, что их культура ближе по сути к культуре североамериканской (проявившейся в США и Канаде), чем к латиноамериканской, что она значительно мягче, что на португальской корриде даже быков не убивали в отличие от испанской и т. д. Конечно, в политической сфере как одна, так и другая культура исключают массовое участие населения, поскольку основаны на авторитаризме, патернализме и патрон-клиентских отношениях, но вот в экономике все выглядит иначе.

Объяснения особого пути Бразилии Харрисон стал искать, поскольку экономическая динамика этой страны выглядела в то время лучше, чем динамика других стран Латинской Америки. А кроме того, в этой бывшей португальской колонии проживало множество иммигрантов из стран с «правильной» культурой, таких как Германия. Однако сегодня Бразилия явно не оценивается как страна экономического чуда. По ВВП на душу населения она отстает от нескольких ведущих испаноязычных стран континента, хотя обгоняет многие другие. Возможно поэтому в своей последней книге, изданной в 2012 году, Харрисон Бразилию уже не выделял, а оценивал всю Латинскую Америку в качестве не слишком успешного региона, где культура проигрывает еврейской, конфуцианской и протестантской.

Успешные баски и странные сказки

Правда, рассказывая про Чили, он неизменно отмечает значение культуры басков, составляющих в этой наиболее успешной латиноамериканской

стране значительный процент населения [Харрисон 2016: 147–149]. Соблазнительно, конечно, не разбирая в деталях чилийскую историю и игнорируя реформы, проведенные при «плохом диктаторе» Пиночете, объяснить чилийский феномен культурными особенностями. К тому же Баскония ведь и в Испании является одним из наиболее успешных регионов. Но возникает вопрос: почему на протяжении нескольких столетий (примерно с XVII до конца XX века) баскский фактор не мешал Испании быть одной из самых неуспешных в экономическом отношении и самых недемократичных стран Европы, а в Чили вдруг стал доминирующим фактором, определившим успех этой страны? Может, на самом деле, данный культурный фактор развития значит меньше, чем многие другие исторические обстоятельства, обусловившие успехи и неудачи иберийского мира? У Харрисона нельзя найти убедительного ответа на этот вопрос.

В целом книги Харрисона предоставляют интересный материал для размышлений о тех переменах, которые происходят в процессе модернизации разных стран, однако ни в коем случае нельзя на их основе делать упрощенные выводы о достоинствах тех или иных культур. Оценки этих культур, как правило, к науке отношения не имеют. Они лишь транслируют читателю определенные стереотипы, сложившиеся за долгие годы. Если страна какое-то время успешна, разнообразные эксперты начинают оценивать эти стереотипы позитивно. Если страна неуспешна, тут же появляются эксперты, которые то же самое оценивают негативно. А иногда, кстати, встречаются и «эксперты», переходящие из одной категории в другую в зависимости от обстоятельств. Эти «эксперты» часто становятся наиболее авторитетными в широких массах, поскольку они ведь «всегда правы».

Рождение свободы

*или каша из топора,
сваренная Кристианом Вельцелем?*

Книга Кристиана Вельцеля «Рождение свободы» (М.: ВЦИОМ, 2017) производит странное впечатление сразу, как только ее начинаешь пролистывать. Там, как в любой научной монографии, есть много ссылок на разных авторов (указываются фамилия и год издания), но нет в конце самого списка литературы, из которого можно было бы узнать, что же это за книги. Как будто у издательства внезапно кончилась бумага и «хвост» научной монографии пришлось отрезать. Если ВЦИОМ также тщательно делает свои опросы, как издает книги, то страшно подумать, какую информацию мы из них можем получить.

Лестница полезности свобод

Пишу я, впрочем, не о российском ВЦИОМе, а о немецком социологе Кристиане Вельцеле. И здесь тоже возникает противоречивое впечатление. Через всю книгу автор проводит важную мысль о так называемой лестнице полезности свобод [Вельцель 2017: 33, 66, 337]. Смысл этого понятия состоит в том, что на начальных этапах развития общества, когда жизнь тяжела и безрадостна, человечество свободы не ценит, поскольку не знает, как их применить. Если ты практически 24 часа в сутки борешься за выживание, тебе явно не до борьбы за свободу. Или, точнее, ты спасаешься от разнообразных жизненных тягот верой в свободное бытие в загробной жизни [Там же: 68]. Но когда общество разбогатело и прошло большой путь развития, когда жизнь стала легче и появилась возможность не просто «любоваться свободами», а использовать их для развития, тогда люди начинают понимать полезность освобождения и бороться за демократию.

Когда такое происходит, мощь солидарности растет и с какого-то момента ее уже не одолеть. По этой причине правители вынуждены гарантировать гражданские свободы и выполнять эти гарантии. И, напротив, если жизненные условия продолжают ограничивать активность людей — стремление к свободе не проявляется, никаких действий в поддержку свобод не происходит, маловероятно, что правители эти свободы гарантируют; но даже если это случится, то им очень легко эти гарантии отменить [Там же: 63–64].

Этот вывод опровергает давно сложившиеся в России представления, что народ наш, мол, плох, поскольку никогда толком за свободу не боролся. Теория Вельцеля показывает, что в наших представлениях причину и следствие надо поменять местами. Ни один народ не борется по-настоящему за свободу, пока беден, темен и зависим от ужасающих внешних обстоятельств. Лишь материальный прогресс ведет к пониманию ценности свободы. Когда появляются поколения, понимающие, за что бороться, тогда и начинается серьезная борьба. Именно это мы можем увидеть сегодня, если хотим понять, что происходит в России. За свободу борются благополучные люди, знающие, зачем она нужна, тогда как замученные своими цепями пролетарии являются надежной опорой авторитаризма. По мере развития общества первых будет становиться больше, а вторых меньше. Если же экономика у нас рухнет, то автократия, скорее всего, окрепнет, поскольку обнищавшие массы будут искать защиты у государства даже ценой утраты свобод.

Вода есть, а счастья нет

В этом разделе книги меня, однако, интересует историко-социологический аспект: как автор «Рождения свободы» объясняет причины развития общества. Какие страны со временем становятся

успешнее? Почему это происходит? Как разбогателя Европа? Когда я дошел до главы, повествующей об этом, концепция Вельцеля напомнила мне сказку «Каша из топора». Суть ее в том, что солдат попал как-то раз к жадной старухе, не желавшей его накормить, и предложил сварить кашу из топора. Попросил лишь котелок и воду. Хозяйка дала, не поскупилась. Когда вода с топором закипела, солдат сказал, что для вкуса надо бы добавить соли щепотку. Старуха на соль расщедрилась. Потом через некоторое время «повар» заявил, что с маслицем, пожалуй, каша вкуснее окажется. Хозяйке захотелось попробовать вкусной каши, и она принесла масла. Наконец, солдат дал понять, что блюдо совсем уж почти готово, но, если положить в него крупы, то получится идеально. Тут же нашлась в доме, конечно, и крупа. После чего осталось лишь убрать топор и съесть кашу.

Достижения в развитии тех или иных народов Вельцель объясняет исходными географическими условиями. Точнее наличием прохладного климата и водной автономии [Там же: 147]. Проще говоря, если в некотором царстве, некотором государстве жить с давних времен было не жарко, а также если там в достаточном объеме имелись вода, необходимая для орошения полей, и водные коммуникации для торговли, то страна эта могла добиться значительных успехов. Концепция эта привлекает внимание, поскольку, как говорилось в этой книге, модернизацию принято во многих теориях объяснять формированием хороших институтов (то есть «правил игры») вроде частной собственности, рынка, демократии. Порой модернизацию ставят в зависимость не от институтов, а от культуры: успешны, мол, те народы, в этике которых заложены трудолюбие, страсть к порядку, уважение к собственности. Наконец, когда-то были распространены и расистские теории успеха, ставившие во главу угла врожденное расовое превосходство народов. Гео-

графией модернизацию объясняют не часто, а потому хочется понять, как это делает Вельцель.

Понять, однако, оказывается сложно. Первое возражение, приходящее в голову, сводится к тому, что география-то тысячелетиями не меняется, а истинные успехи в развитии появляются лишь в последние века. Европа идеально подходит под условия Вельцеля — климат не жаркий и воды много, — но до начала Нового времени никаких признаков особого европейского успеха не прослеживалось. Автор, впрочем, это понимает и говорит, что теория у него не детерминистская [Там же: 148]. В начале развития находятся благоприятные природные факторы.

Медленно, но устойчиво эти факторы благоприятствуют отбору эмансипативных черт личности, таких как индивидуализм. Эмансипативные черты предрасполагают людей к тому, чтобы требовать свобод, стремиться к их утверждению и использованию. Когда такие личностные черты начинают преобладать, идеологические и институциональные традиции, проникнутые «эмансипативным духом» укореняются легче [Там же: 157].

Вода и климат лишь формируют исходные возможности для развития, а начинается это развитие в Европе около 1450–1500 годов, когда добились большого успеха в экономике европейские города, сформировались городские рынки и географические преимущества региона смогли проявиться в полной мере [Там же: 339]. Природные условия способствовали успешному развитию сельского хозяйства. Городские рынки сформировали спрос на хлеб, мясо и вино. Численность бюргеров стала быстро увеличиваться. У них возник серьезный запрос на свободу. А добившись свободы, горожане обеспечили еще более быстрое развитие. Так и сформировался европейский феномен богатого, успешного и свободного общества.

В целом, наверное, с этой картиной модернизации можно согласиться. И если не придирается к «мелочам», концепция Вельцеля выглядит убедительно. Но вот беда: мы живем в России, ставим вопрос о причинах отставания нашей страны, и слишком общие ответы, не уделяющие внимания деталям, для отечественной исторической социологии не подходят. Климат у нас в России прохладный, как и требует Вельцель, дождей для орошения обычно хватает, судоходные реки текут в нужные моря и продуктами сельского хозяйства можно спокойно торговать. Но с модернизацией в районе 1500 года дела у нас не сложились. Русские города сильно отличались от западноевропейских. Отечественные рынки не сформировали свободолюбивое бюргерство. И когда мы пытаемся разобраться в причинах российского отставания, вопрос о климате и воде нас интересует меньше всего. А вот вопрос о том, почему при подходящих природных условиях, у нас не сложилось множества других важных условий успешного развития, очень волнует. Получается, что климат и вода, которые Вельцель закладывает в основу своей концепции, это как топор из сказки. Ну или котелок с водой. Сами по себе они кашу не создают. Интересен же по-настоящему вопрос, как тем или иным народам удалось найти соль, масло и крупу. Но для концепции Вельцеля это «мелочи», внимания которым не уделяется.

Куда делись столетия

Впрочем, при внимательном рассмотрении даже западноевропейские реалии его концепция плохо объясняет. Во-первых, города в Европе сформировались не к 1500 году, а примерно на два тысячелетия раньше. И для того, чтобы объяснить, почему из античных городов модернизация не вышла, а из городов Нового времени вышла, нам придется искать что-то посерьезнее, чем книга Вельце-

ля. Во-вторых, великое расхождение Европы с Востоком (в частности, с Китаем) началось все же не на рубеже XV–XVI веков, а в XVIII столетии. К этому времени европейские города давно уже демонстрировали динамизм, но чего-то там все же не хватало для начала промышленного переворота. И связать успех этого переворота в XVIII–XIX веках с исходными условиями Вельцеля — климатом и водой — оказывается совсем трудно. В-третьих, тезис о том, что у европейцев в целом к 1450–1500 годам сформировались эмансипативные черты личности, не подтверждаются историческими фактами. Эти черты сформировались в основном у бюргерства отдельных городов, начавшего борьбу за свободу, тогда как крестьянство, жившее непосредственно «у водички», обычно выступало в качестве консервативной силы, тормозящей перемены.

Создается впечатление, что автор «Рождения свободы» запросто разбрасывается столетиями: один век туда, пару веков сюда: для Кристиана Вельцеля — это частные моменты, не стоящие серьезного анализа. В конечном счете, мол, все в теории сойдется. Но ведь между той эпохой, когда природа действительно была важна для развития, и той эпохой, когда Европа явно обогнала остальной мир, лежит столь долгий промежуток времени, что хочется книгу Вельцеля отложить на дальнюю полку и найти книги, в которых авторы разбирают не географические, а институциональные проблемы. В этих книгах, кстати, обычно много внимания уделяется конкретной истории успешных стран (где важны не только столетия, но даже переломные, судьбоносные десятилетия), тогда как у Вельцеля истории нет вообще, но есть много расчетов и графиков, подтверждающих очевидные, в общем-то, вещи.

Спору нет, в мягком климате с хорошей водой жить лучше. Это ясно и без научных трудов. Но чтобы понять, как и почему люди в подобных

условиях меняют мир, нужно изучать много исторической конкретики, а не ограничиваться общими фразами.

Гуманитарная революция

*Стивен Пинкер о том, как становятся
цивилизованными*

Для краткой характеристики книги канадско-американского специалиста в области психологии и когнитивных наук Стивена Пинкера «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше» (М.: Альпина нон-фикшн, 2021) вполне подходит название старой советской телепередачи «Очевидное — невероятное». Большинству читателей выводы автора, наверное, покажутся невероятными, тогда как для узкого круга специалистов, изучающих историю, историческую социологию и психологию, они будут очевидными. Но поскольку знания узкого круга редко становятся доступны широким массам, подобную книгу обязательно следовало написать: причем именно в такой простой, доступной форме, в какой это сделал Пинкер.

Человечество обезумело?

Каждому из нас приходилось, наверное, слышать что-то вроде «Человечество обезумело!», «Мир слетел с катушек!» или: «После ГУЛАГа и Освенцима жизнь не может быть прежней!». Причем в интеллектуальных кругах подобные фразы звучат даже чаще обычного, хотя образование, казалось бы, должно настраивать на сдержанность и спокойные размышления. Представление о том, что жестокость нарастает и люди убивают все большее число себе подобных, кажется очевидной. В свете таких представлений появление книги Стивена Пинкера выглядит странным.

Но не задуматься ли о том, как мы получаем информацию? Со школы нам известно про мировые войны и массовые репрессии XX века. Из фильмов ужасов с бесконечной «расчлененкой» возникают «знания» о повседневности. Да и пресса стремится работать по старому доброму принципу, согласно которому сенсация, интересная читателю, возникает не тогда, когда собака укусила человека, а когда человек укусил собаку. Вот и выходит, что мы, как люди образованные и культурные, хорошо «информированы» о росте насилия в мире.

Но если наши образованность и культурность связаны не со школьным курсом истории, не с сериалами и не с новостями, а с научными монографиями, то картина оказывается совершенно иной. Те жестокости, которые мы видим в полицейских сериалах, но вряд ли встречали где-то по соседству, постоянно описываются на страницах книг, посвященных далекому прошлому. В древности, в Средние века, да и в начале Нового времени людей часто убивали с удивительной жестокостью, стремясь доставить им побольше мучений. Во многих случаях убийства предварялись изощренными пытками. А в ходе войн численность населения радикально сокращалась на огромных территориях. Юного студента эти факты, возможно, поначалу удивляют. Молодой аспирант с ними сталкивается уже постоянно. А умудренный профессор поражается порой, как люди могут еще изучать прошлое по романтическим сказкам, прославляющим рыцарское благородство.

Стивен Пинкер сделал важное дело. Он проанализировал проблему насилия со всех возможных сторон, показав, что его в нашей жизни со временем становится меньше. Он дал нам не только исторические факты, переносящие читателя в те давние времена, когда действительно жестокость царила почти во всех сферах жизни (война, религия, семья, уличная преступность...), но и представил ана-

лиз того, как устроена человеческая психика, почему она порождает склонность к насилию и почему со временем эта склонность ослабевает. Пинкер показал, что в области исторической социологии находят свое применение не только разнообразные знания историков и социологов, политологов и экономистов, но также психологов и множества ученых, которые с разных сторон изучают человеческий мозг.

Гуманитарная революция

Книга «Лучшее в нас» богата не только большим собранием фактов, не слишком известных массовому читателю. Пинкер, естественно, пытается выяснить причины того, что он называет Гуманитарной революцией. Именно это делает большой том, представленный нам в популярной форме, серьезным научным исследованием. Причин, естественно, обнаруживается много. Настолько много, что их даже трудно систематизировать. Автор постоянно о них говорит, затем «откладывает в сторону» и через сотню-другую страниц вновь возвращается к проблеме. Кажется иногда, что не столько он управляет этим огромным материалом, сколько материал тащит его за собой. Читателю не всегда просто следовать за логикой автора, но это терпимый недостаток. Возможно, неизбежный при работе со столь глобальной проблемой.

Если возможно все-таки среди обилия причин выделить главную, то я бы, наверное, обратил внимание на такое явление, как процесс цивилизации. Именно о нем Пинкер вспоминает в первую очередь, обращая внимание читателя на классическую работу немецкого социолога Норберта Элиаса «О процессе цивилизации», написанную еще в первой половине XX века. Ее автор показал, что люди ведут себя рационально, меняясь под воздействием внешних обстоятельств. А этот вывод, в свою оче-

редь, заставляет нас вспомнить о классических трудах Макса Вебера.

В каких-то обстоятельствах насилие оказывается выгодно, и тогда человек дает волю своим разрушительным стремлениям вплоть до садистских. Но при других обстоятельствах обнаруживается, что подобная распушенность бьет в конечном счете по самому насильнику. Он сам может оказаться жертвой насилия со стороны того, кто обладает большими финансовыми возможностями и лучшим вооружением. А вот стремление договариваться, следование постепенно складывающимся в обществе новым правилам поведения и сдерживание разрушительных эмоций позволяет преуспеть. Человек — это не тупая скотинка, следующая за своими разрушительными желаниями в любой ситуации. Человек способен адаптироваться к переменам и устраивать свою жизнь так, чтобы получить больше выгоды (не только в финансовом смысле, но в смысле безопасности, качества жизни и т. д.).

Следуя в своем исследовании за Норбертом Элиасом, Стивен Пинкер выделяет два обстоятельства, способствующих процессу цивилизации, ограничивающему насилие.

Во-первых, появление Левиафана — мощного государства, способного присвоить себе монопольное право на насилие «после сотен лет анархии и феодальной раздробленности в Европе» [Пинкер 2021: 111]. Это тот случай, когда даже либерал вынужден согласиться с позитивной ролью государства, защищающего от бандитов личность и собственность. Потенциальный насильник в какой-то момент понимает, что при желании сохранить свою необузданность он вступит в конфликт с такой мощной силой, победить которую у него нет шансов. Подобное понимание эффективно сдерживает разрушительные намерения большинства, а тот, кто не унимается, обычно сам теряет свободу, ответственность или даже жизнь.

Во-вторых, коммерциализация, которая в определенный момент начинает приносить большую выгоду, чем насилие. «Деньги все шире замещали натуральный обмен, чему способствовало укрупнение государств и унификация национальных денежных систем» [Там же: 115]. Грубо говоря, можно зарабатывать и разбоем, однако производя, торгуя и сотрудничая ты заработаешь больше и, что важнее, обеспечишь себе спокойное существование с высоким качеством жизни. Если Левиафан, борясь с насилием, сам остается насильником и часто монархи с диктаторами оставляют после себя горы трупов, то коммерциализация стимулирует нас уменьшать насилие не из страха перед тем, что окажешься в этой горе, а из личной выгоды.

Революция чтения

Думается, второй фактор, обеспечивающий снижение насилия, важнее первого. Но не следует, конечно, упрощать ход процесса цивилизации. Не следует думать, будто коммерциализация всегда ведет к гуманизму. Подобное упрощение — это обратная сторона примитивного, но популярного в свое время представления, будто капитализм и жажда денег влекут за собой войны, фашизм и насилие по отношению ко всем слабым (пролетариям, женщинам, расовым и этническим меньшинствам). «Увы, но цивилизационный процесс и Гуманитарная революция не следуют друг за другом таким образом, чтобы мы могли предположить существование причинно-следственной связи, — справедливо констатирует Стивен Пинкер. — Процессы развития государств, роста торговли и уменьшения количества убийств, которые двигали процесс цивилизации, продолжались несколько столетий, и все это время никого особо не беспокоили жестокие наказания, власть королей и подавление ересей силой. Напротив, чем могущественнее становились государства,

тем они становились безжалостнее» [Там же: 229]. Поэтому для объяснения гуманитарной революции Пинкер использует понятие «революция чтения» [Там же: 233].

Коммерциализация стимулирует рациональное поведение с минимумом насилия, но для того, чтобы оно стало образом жизни широких масс, необходимы образование и просвещение, склонность к чтению и размышлениям, развитие способности идентифицироваться с героями романов, ставить себя на место страдающего человека. Все это, естественно, не приходит в общество автоматически и требует неоднократной смены поколений. «Развитие письменности и грамотности, — отмечает Стивен Пинкер, — кажется мне самым подходящим кандидатом на роль внешней причины, запустившей Гуманитарную революцию. Изолированный мирок деревень и кланов, постижимый с помощью пяти чувств и обслуживаемый единственным провайдером контента — церковью, уступил место феерии народов, мест, культур и идей. И в силу разных причин расширение границ мышления вполне могло добавить человеколюбия чувствам и убеждениям людей» [Там же: 234].

Вот действительный порядок событий: новшества в технологии книгопечатания, массовый выпуск книг, распространение грамотности и популярность романов предшествовали гуманитарным реформам XVIII столетия [Там же: 236].

Таким образом, Стивену Пинкеру удалось увязать в единую интеллектуальную конструкцию многие исторические процессы и вскрыть причины снижения насилия. Но книга «Лучшее в нас» важна не только потому, что она прочищает мозги, разоблачая мифы о нарастании жестокости. Она представляет собой еще и важное руководство к действию. Если мы хотим, чтобы насилие и дальше отступало, за это обязательно надо бороться. Тре-

буется отвергнуть два популярных у нас подхода. Во-первых, пессимистический, — согласно которому усилия, направленные на процесс цивилизации, бесполезны, поскольку мир все больше сходит с ума. А во-вторых, оптимистический, — в соответствии с которым достаточно насилия над насильниками (экспроприации экспроприаторов), чтобы разом решить проблему. Нам надо медленно, шаг за шагом формировать такой образ жизни, в котором насилие становится выгодно все меньшему числу людей.

Закат Европы 2.0?

XXI век глазами Ивана Крестева

Хотя новая книга болгарского политического аналитика Ивана Крестева «После Европы» (М.: Дело, 2018) относится не к числу толстых монографий по исторической социологии, а скорее, к числу оперативных публицистических заметок, сделанных на злобу дня, я включаю ее в эту книгу, поскольку автор совершенно справедливо обращает внимание на некоторые важные тенденции, которые именитые ученые старших поколений обычно упускают из виду.

*Демократия как механизм исключения,
а не вовлечения*

На первый взгляд книга эта алармистская, что вызывает некоторое недоверие к ней, поскольку Европе уже со времен Освальда Шпенглера много раз хоронили, а она при объективном взгляде из России по-прежнему выглядит весьма соблазнительно. «Я из тех, — пишет Иван Крестев, — кто верит, что поезд дезинтеграции давно покинул центральный вокзал Брюсселя и на всех порах мчит к неразберихе на континенте и глобальной неопреде-

ленности» [Крастев 2018: 19]. Причем дело даже не в Качинских и Орбанах (о проблемах в нынешних Польше и Венгрии кто только не твердит!), а в самой сути европейской интеграции.

Если дезинтеграция все-таки произойдет, это случится не из-за бегства периферии, но из-за охваченного смутой центра (Германия, Франция) [Там же: 20].

А центр заколебался, по мнению Крастева, потому что «миграционный кризис кардинально изменил характер демократии на национальном уровне» [Там же: 23]. Таким образом получается, что «в век миграции демократия из инструмента вовлечения превратилась в механизм исключения» [Там же: 25].

Выглядит в подаче Крастева это все жутковато, но на самом деле автор совершенно прав в том, что миграция нынешних масштабов — это уже не частность, о которой можно мельком обмолвиться в примечаниях к серьезной книге, а одна из важнейших черт эпохи, которая трансформирует суть той демократической системы, к которой мы привыкли. Трансформация эта, правда, состоит не в гибели демократии, о чем твердят порой наши любители авторитаризма, а скорее, в переструктурировании тех сил, которые давно играют на европейской политической сцене.

«В истерзанном воображении европейских масс, — жестко констатирует Крастев, — иммиграция — это форма нашествия, когда чужаки наступают со всех сторон, а местным некуда бежать» [Там же: 41]. Многие возразят на это, что «нашествие» совсем не так страшно и, более того, иммиграция — это важнейшее условие обеспечения Европы рабочей силой в условиях, когда граждане европейских стран не очень-то хотят браться за многие непрестижные виды трудовой деятель-

ности. Все верно. Однако в соответствии с так называемой теоремой Томаса, если широкие массы (правы они или не правы) считают, будто иммиграция представляет для них реальную угрозу, то и последствия этого страха окажутся вполне реальны. Европейцы будут «куста бояться», даже в том случае, когда поблизости никого из мигрантов не видно. Например, страхи Чехии, где никаких арабов практически нет, наглядно демонстрируют, что политикам придется принимать во внимание не столько реалии, сколько искаженное представление о них, которое возникает в головах под воздействием комплекса обстоятельств.

Глобалисты и нативисты

Новые обстоятельства так или иначе изменяют жизнь Европы, и политики должны будут с этими изменениями считаться, а ученые должны будут эти изменения осмысливать. Тот, кто пытается бороться за умы и голоса, не понимая, насколько серьезно иммиграция «бьет людей по мозгам», превратится в политического маргинала даже если с экономической точки зрения он совершенно правильно говорит о важности притока рабочей силы, а с гуманитарной — правильно обращает внимание на необходимость взаимопонимания людей разных культур.

И вот здесь-то мы подходим к самому главному, на мой взгляд, месту.

Деление на левых и правых как структурный фундамент европейской модели демократии больше не совпадает с реальными разделительными линиями в обществе [Там же: 48].

Вместо левых, которые всегда стремились перераспределить богатства общества в пользу трудящихся (даже шире — в пользу бедных), и правых,

которые этому противостояли, теперь появились, по выражению Крастева, глобалисты и нативисты. Или иными словами, появились такие люди, которые могут смотреть на мир широко (Отовсюду), понимая целостность этого мира и те взаимосвязи, которые делают его современным, и такие люди, которые смотрят на мир узко, из своей страны, своей деревни (Откуда-то), а потому не способны ни встать на иную точку зрения, ни понять всю сложность устройства того общества, которые обеспечивает их разнообразными благами [Там же]. Поскольку и глобалисты, и нативисты являются голосующими на выборах гражданами, то появляются новые политические силы, которые вместо того, чтобы отражать взгляды левых и правых (как в прошлом), начинают отражать это новое разделение общества. Одни стараются открыть мир, другие — его закрыть. Одни налаживают связи между людьми, другие их ограничивают. Одни ломают стены и строят современную экономику, другие возводят стены, стараясь как можно дольше уберечь от зарубежной конкуренции старые заводы и старые рабочие места. Я также писал об этих процессах в своей книге «Крутые горки XXI века. Постмодернизация и проблемы России» [Травин 2019], потому точка зрения Ивана Крастева мне наиболее близка из всего того, что приходилось встречать в современной литературе, описывающей влияние глобализации на политику и социум.

Макрон и Трамп

Если мы осознали, что современная политическая ситуация представляет собой переход от дилеммы «левые-правые» к дилемме «глобалисты-нативисты», то алармистское представление о современном миграционном кризисе у нас исчезает. Так же как исчезло в свое время алармистское представ-

ление о том, что на волне «восстания масс» к власти повсюду придут безответственные левые и мир рухнет, превратившись в один большой Советский Союз с бесконечными очередями за дефицитными товарами и тоталитарным политическим строем. Так же как левые и правые в свое время поочередно приходили к власти, формируя современное общество массового потребления (экономически не слишком эффективное, но в целом достаточно комфортное для проживания), так же, по всей видимости, будут в дальнейшем чередоваться у власти глобалисты с нативистами.

Один пример такого чередования Крастев приводит в своей книге. «Человеком, способствовавшим исторической победе Эммануэля Макрона во Франции, как ни странно, стал Дональд Трамп. Приход Трампа к власти и первые хаотические дни его правления напугали многих избирателей из числа среднего класса, но сработали как приманка для популистских лидеров. Результаты попыток ультраправых (здесь, кстати, Крастев не вполне последователен, надо бы говорить «нативистов», если применять его же собственную терминологию. — *Д. Т.*) использовать методы Трампа оказались разочаровывающими не только во Франции, но и в Австрии и Нидерландах. Победа Трампа привела к тому, что крайне правые партии отошли от центра именно тогда, когда заручились достаточной для победы поддержкой. Правые популисты отбросили с трудом давшуюся умеренность и в очередной раз выбрали более агрессивный тон и апокалиптический взгляд на мир» [Крастев 2018: 137–138].

Дело здесь не в том, хорош Макрон или плох на фоне Трампа. Макроны, как, понятно, и Трампы, приходят и уходят. Но остается политика, стремящаяся к центру, то есть к компромиссу, удовлетворяющему избирателей с разными взглядами. Компромисс этот европейцам придется дол-

го вырабатывать. Им придется теперь размышлять не столько над долей налогов в ВВП и уровне госрасходов, сколько над тем, как регулировать миграционный поток, чтобы насытить экономику рабочей силой, но не раздражить нервных избирателей, готовых принять саму «рабсилу», но не ее культуру. Придется определять, какие мигранты желательны, а какие — не слишком. Придется думать, как оградить свое социальное государство от множества желающих получать от него блага без серьезного трудового вклада.

Новые проблемы становятся важнейшими для демократии XXI века. И в этой связи стоит обратить внимание на некоторые размышления из другой книги Ивана Крастева «Управление недоверием» (М.: Европа, 2014). В ней он совершенно справедливо отмечает, что

демократии не могут предлагать недовольным гражданам исполнения их мечтаний, но они могут предлагать удовлетворение от права что-то делать со своим недовольством. Это реальное преимущество демократии над быстро растущими авторитарными режимами, такими, к примеру, как Китай. <...> Чем больше мы выбираем, тем меньше мы ценим наш выбор и тем менее довольными себя чувствуем. Покупательница, которая возвращает платье через сорок восемь часов после покупки для того, чтобы купить другое, представляет собой новый вид гражданина. Она недовольна своим выбором, но хочет попробовать еще раз. Выбор, таким образом, становится не инструментом, но целью. Для нее имеет значение лишь возможность непрерывного выбора, а не тот выбор, который она совершает. Именно эта способность современной демократии приспособливаться к миру недовольных граждан и потребителей, а вовсе не возможность принести удовлетворение делает ее столь привлекательной не только для обычных людей, но и для элит [Крастев 2014: 61–62].

Сегодня, как мы видим, недовольство концентрируется в иных сферах общественной жизни, чем в XX столетии. И, соответственно, демократия не разрушается, а выстраивается так, чтобы люди могли это недовольство выразить. А иллюзия непреодолимого кризиса демократии возникает в связи с тем, что старые политические силы предлагают обществу решать вчерашние проблемы, не реагируя или слишком вяло откликаясь, на вызовы XXI века. Ведь если покупателю все время предлагать выбор между платьями из вчерашней и позавчерашней коллекции, он может разочароваться в своем намерении выбирать вновь и вновь. Но если коллекции обновляются в соответствии с изменениями моды, любое недовольство лишь пробуждает стремление к осуществлению нового выбора.

Сегодня наступает новая эпоха с новыми вопросами, над важностью которых многие еще даже не задумываются, и новыми возможностями выбора, которые привлекают общество XXI века. Книги Ивана Крастева не дают нам исчерпывающих ответов на вопросы современной эпохи, но мысль нашу направляют именно в ту сторону, откуда они приходят.

Надо ли нам платить долги

Теория неусердной бедности Дэвида Гребера

Свою книгу «Долг: Первые 5000 лет истории» (М.: Ад Маргинем пресс, 2021) американский антрополог Дэвид Гребер начинает так, что продолжать читать ее уже не хочется. Он рассказывает об участии в «антиглобалистском движении» и о том, что важнейшим своим успехом считает борьбу с Международным валютным фондом (МВФ), который почти полностью удалось уничтожить [Гребер 2021: 6].

Понятно, что для массового читателя это хорошее начало, поскольку он надеется вместо толстого

заумного историко-экономического трактата получить от борца за глобальную справедливость набор четких, однозначных лозунгов и рекомендаций, с кем и как следует бороться. Но если ищешь в научной литературе не «агитку», а объяснение сложных проблем развития общества на протяжении пяти тысяч лет, книга о борьбе с МВФ вряд ли заинтересует. Я, впрочем, преодолел свое нежелание читать Гребера и в конечном счете обнаружил, что «Долг» и впрямь больше похож на заумный трактат, чем на то, чем пытался его представить автор с первых страниц.

Великая ловушка XX столетия

Автор «Долга» стремится развенчать классическую теорию происхождения денег из обмена. Если экономисты говорят, что деньги — это важнейший и необходимейший посредник, позволяющий нам обменивать свой труд или продукт своего труда на нужный товар, то Гребер утверждает, что сначала много лет назад возник долг, а затем уже деньги.

Купцы <...> были из числа тех немногих, кто часто использовал серебро, но даже они совершали большую часть своих сделок в кредит, а обычные люди, покупая пиво у трактирщиц или хозяев постоянных дворов, записывали его на свой счет и во время урожая возвращали долг ячменем или тем, что у них было под рукой. <...> Наше устоявшееся представление об истории денег перевернуто с ног на голову [Там же: 43].

И впрямь, если вслед за профессиональным антропологом попытаться представить себе реальную жизнь в деревне далекого прошлого, нетрудно понять, что, с одной стороны, там просто не было серебряных монет, а с другой — существовала высокая степень доверия между соседями: попробуй-ка не верни долг после сбора урожая! Монеты в отли-

чие от записей долга нужны лишь при встрече с чужаками, то есть при торговле в городе или в международной торговле.

Гребер, конечно, прав, но с экономистами он воюет напрасно. Экономисты обычно мало интересуются историей, но зато обожают абстрактные схемы (иногда еще и математизированные). Обычно они не думают, как реально возникли деньги, а лишь показывают на простых примерах, для чего они нам нужны. При чтении «Долга» кажется, будто Гребер совершил переворот в науке, подорвав устои экономической теории, но на самом деле он, скорее, дополнил исторической иллюстрацией то, что говорят экономисты, предпочитающие не выходить за пределы современности.

Впрочем, подобные добавления имеют важные последствия, благодаря чему мы от научного трактата все же возвращаемся к идеологии. На основе своей теории первичности долга в сравнении с деньгами Гребер интерпретирует налоги, как долг, который взимает с людей государство за саму возможность нашего существования на его территории [Там же: 61]. В общем, выходит так, что мы платим стране, платим банкам, платим международным финансовым организациям, и лишь в атмосфере этого всеобщего побора существует рынок, который экономисты представляют оплотом свободы. «Это великая ловушка XX столетия, — отмечает Дэвид Гребер, — с одной стороны, есть логика рынка, где мы представляем себя индивидами, которые никому ничего не должны. С другой стороны, есть логика государства, в соответствии с которой мы все изначально несем бремя долга, но оплатить его не в состоянии. Нам постоянно говорят, что рынок и государство противоположны друг другу и что только в пространстве между ними у человека остается простор для действий. Но это ложное противопоставление. Государства создали рынки. Рынкам требуется государ-

ство» [Там же: 73]. Проще говоря, там, где либерал видит свободу, Гребер, поставивший долг впереди рынка, видит эксплуатацию. Свободу же он видит в коммунизме, но воспринимает его не как утопию, а как повседневность, как любую совместную деятельность людей, работающих над общим проектом и не опосредующих свое общение товарно-денежными отношениями [Там же: 94–102].

Мы свой, мы новый мир построим...

Автор «Долга» не скрывает, что он принимал активное участие в движении *Occupy Wall Street*, но отрицает, что использовал это движение для рекламы книги [Там же: 396]. Но в реальной жизни, конечно, невозможно отделить идеологию от практики, если за тем и другим стоит один человек. Пример феноменальной популярности «Капитала» Карла Маркса — книги, которую миллионы марксистов почитали, но, естественно, не читали из-за ее сложности и схоластичности, — показывает это. Таким образом, вряд ли можно отрицать, что «Долг» — это не только труд в области исторической социологии, но и идеология новых левых интеллектуалов.

В целом картина, нарисованная Гребером, выглядит примерно следующим образом.

Во-первых, вместо класса капиталистов, который в ортодоксальном марксизме, является классом эксплуататорским, появляется более узкая группа финансовых капиталистов — не только банкиров, по всей видимости, но всех разнообразных обитателей глобальной Wall Street: начиная с чиновников, работающих с госдолгом, и заканчивая экспертами МВФ, обосновывающими международные кредиты.

Во-вторых, вместо эксплуатируемых капиталистами пролетариев появляется огромное число рассерженных должников, желающих свой долг не отдавать. Еще в самом недавнем прошлом, пока потребительские кредиты для широких масс

не приняли лавинообразной формы, этот «новый пролетариат» вряд ли мог порвать свои цепи. Но сегодня миллионы людей, заинтересованных в обнулении долгов, начинают представлять собой грозную силу.

В-третьих, довольно трудно убедить нынешнего обывателя в том, что капиталист, производящий машины, выпекающий хлеб или строящий дома, является лишь паразитом, заслуживающим уничтожения. Коммунистический опыт нашей страны, докатившейся после отказа от капитализма до колбасных электричек и талонов на мыло, бесследно для человечества не прошел. Но убедить разгневанных должников в том, что паразитами являются финансисты, не так уж трудно.

В-четвертых, эта теория вполне может апеллировать к чувству справедливости, поскольку сегодня есть много примеров списания долгов: начиная с крупных компаний, «слишком больших, чтобы рухнуть», и заканчивая малыми странами, слишком бедными, чтобы расплачиваться с МВФ. А если так, то, значит, государство может списать долги всем: пусть возьмет на себя издержки.

В-пятых, идея освобождения от финансового долга хорошо корреспондирует с идеей освобождения человека от экзистенциального долга. Ведь нам все время твердят, что мы кому-то должны: своей стране, своим родителям, своим детям, своим учителям... Сам факт нашего появления на свет порождает долг. И неприятие жизни под дамокловым мечом моральных обязательств усиливает неприятие жизни под давлением обязательств финансовых.

На самом деле, конечно, современная экономика не может нормально работать без финансового сектора. Квалифицированные экономисты это прекрасно понимают. Но Гребер так развенчивал экономистов в своей книге, что ее читатель вряд ли задумается о конкретных проблемах организации производственного процесса. А для тех, кто

все же задумается, у автора есть убийственный аргумент. Если мы будем и дальше стремиться увеличивать мировое производство товаров и услуг на 5% в год, то вполне возможно уничтожим вообще всё [Там же: 389]. Что имеет в виду Гребер, остается неясно. По-видимому, нарастающие экологические проблемы. Конкретного анализа «уничтожения всего» он нам не дает. Но тот, кто этот аргумент воспримет, получает сильный моральный козырь против финансистов: производство — это не добро, а зло. Не способ накормить голодных, а способ уничтожить наш мир.

Да здравствует бедность!

Завершает же книгу Дэвид Гребер потрясающим абзацем, достойным полного цитирования.

Я хотел бы закончить добрыми словами в адрес неусердных бедняков. Они хотя бы никому не причиняют вреда. Проводя свободное от работы время с друзьями и семьей, радуясь жизни и заботясь о тех, кого они любят, они, возможно, меняют мир к лучшему больше, чем мы замечаем. Быть может, нам следовало бы думать о них как о провозвестниках нового экономического порядка, которому не будет присуща нынешняя страсть к самоуничтожению [Там же: 390].

Вот он идеал достойной жизни! Его даже мне хочется поддержать, поскольку заботиться о близких гораздо лучше, чем производить миллионы автомобилей для того, чтобы потребители могли регулярно менять себе машину, влезая в долги и впрягаясь в бредовую работу ради денег. Проблема теории Гребера лишь в том, что она, как всякая утопия, предлагает человечеству достойный образ жизни «из головы», не сопрягая это с тем, к чему реально стремятся грешные и слабовольные люди. Стремятся же они, увы, к максимизации потребления, а не к заботе

о близких. Этого пессимистического вывода, конечно, читатель Гребера никогда не признает, поскольку кому из нас хочется думать о себе так плохо? Марксистская утопия тоже ведь строилась на желании человека видеть себя идеальным членом будущего идеального общества. Но когда выяснилось, что социализм дает каждому необходимый минимум (хлеб, крупу, штаны, рубашку и комнату в коммуналке), но не обеспечивает «лишнего» (модной одежды, личного автомобиля, уютного дома, качественной бытовой техники), дети и внуки пламенных коммунистов отказались от честной бедности ради возврата к обществу массового потребления.

Нынешняя многомиллионная армия должников образовалась не потому, что людям не хватало необходимого, а как раз в погоне «за излишним»: за кредитами на просторное жилье, престижный автомобиль, хорошее образование. Вся эта армия радостно поддержит борьбу с финансовыми эксплуататорами, пока утопает в долгах, но затем снова начнет максимизировать потребление. История человечества дала нам лишь один по-настоящему массовый пример неусердных бедняков — средневековое монашество. Но оно ведь неотделимо от пламенной веры в то, что за лишения в граде земном ты получаешь блаженство в граде небесном. На вопрос, можно ли создать мир неусердных бедняков в обществе, утратившем, или по крайней мере серьезно трансформировавшем, веру в Бога, Гребер ответа не дает.

Возомнившая о себе обезьяна

«Вегетарианская» история человечества

Юваля Ноя Харари

Если бы у Робинзона Крузо на острове оказалась вместо Библии книга израильского историка Юваля Ноя Харари «Sapiens: краткая история человечества» (М.: Синдбад, 2020), он бы точно не выжил.

Причем не потому, что зачитывался бы этой историей с утра до ночи, а потому, что представления Харари о жизни в первобытном мире прямо противоположны всему, что делал заботящийся о завтрашнем дне Робинзон, и вообще всему, что советует делать здравый смысл.

Реанимация теории «золотого века»

Среди современных авторов, пишущих о развитии общества, мне приходилось встречать самых разных — правых и левых, либералов и этатистов, а также тех, кто считает, что мы живем в лучшем из миров, и тех, кто собирается такой мир построить. Однако впервые попался сторонник популярной несколько столетий назад теории «золотого века». То есть теории, согласно которой люди лучше всего жили в далеком прошлом, а после по какой-то причине (за грехи?) они стали трудиться в поте лица и утратили гармонию с природой, дававшую им радость и спокойствие. Когда люди искренне верили в Бога, они считали представителями «золотого века» Адама и Еву. Когда веру утратили, стали завидовать беззаботным дикарям Африки и Америки, не знающим грязи и скученности больших европейских городов. Юваль Ной Харари выдвинул собственную теорию «золотого века» — с опорой на «науку». Он вдруг решил доказать, что охота и собирательство во всех отношениях были лучше цивилизаций, основанных на сельском хозяйстве и на промышленности.

«Тогдашняя экономика, — отмечает этот автор, имея в виду охоту и собирательство, — позволяла большинству людей жить гораздо более интересной и насыщенной жизнью, нежели живут теперь члены аграрного или индустриального общества. <...> Они бродили по ближайшим лесам и полям, собирали грибы, выкапывали съедобные корни, ловили лягушек, удирали от тигров.

К середине дня они возвращались в лагерь и готовили обед. У них оставалось сколько угодно досуга на сплетни, неспешные рассказы, игру с детьми, отдых и сон. Разумеется, порой кто-то попадался на зуб тигру или погибал от змеиного укуса — зато не рисковал попасть в автомобильную аварию или пострадать от загрязнения окружающей среды. <...> В большинстве регионов Земли почти в любую эпоху собирательство гарантировало наилучшую для человеческого организма диету. <...> Инфекционные заболевания представляли для охотников и собирателей меньшую угрозу» [Харари 2020: 67].

Порой при чтении текста Харари создается впечатление, что это вообще такой своеобразный троллинг: автор создает роман от имени путешественника во времени, сидящего за соседним кушетом, а издатель успешно втюхивает нам свой продукт за солидные деньги, как образец нового слова в исторической науке. «Охотники и собиратели научились превосходно управляться не только с внешним миром — животными, растениями, подручными материалами, — но и с собственным телом и его органами чувств. Они различали самые тихие шорохи — не ползет ли в траве змея? Сквозь густую листву деревьев их зоркий взгляд различал плоды, птичьи и пчелиные гнезда. Сами люди передвигались бесшумно и экономно, они умели сидеть, ходить и бегать так, чтобы тратить минимум сил с максимальной отдачей. Живя в постоянном движении, они становились крепкими, словно марафонцы, и приобретали такую гибкость, о какой современный человек не может и мечтать. Даже после многолетних занятий йогой или кунг-фу» [Там же: 66].

К своим современникам Харари относится с откровенным презрением, полагая, что именно с появлением сельского хозяйства и промышленности образовались ниши, где могли приткнуться «дурач-

ки». Появилась возможность выжить, трудясь, например, водоносом или на конвейере, и передать другим свои «глупые» гены. Странно, что автор не добавил сюда офисных сотрудников, перекладающих бумажки... Впрочем, нет. Он ведь прекрасно понимает, что люди из офисов — это его основные читатели и покупатели, тогда как с водоносами можно не церемониться.

Предельно упрощенный мир

Я, конечно, за кустом в обществе охотников и собирателей не сидел, поэтому не стану рассуждать, жили ли они полнокровной жизнью, как при коммунизме, или в вечном страхе, как пугливые зверушки, ожидающие в любой момент смерти от зубов тигра. Но некоторые «детали» в красочную картину, нарисованную Харари, внести могу. Беда его концепции в том, что она предельно упрощена. Всю сложность мира автор пытается свести в небольшую книгу, за которую способен заплатить средний покупатель. И в этой картине не остается места, например, для проблемы питьевой воды. А ведь в давние времена люди гораздо чаще заболели от своей плохой воды, чем от пришедших со стороны эпидемий. Заболели и умирали, не зная даже, что им желательно сменить место проживания.

А еще была проблема запасов. Случаются ведь неурожайные годы. Не только в аграрном обществе, но и в мире собирателей, когда полезные растения сгнивают от непрерывных дождей, либо приходят вдруг ненадолго холода. Пусть даже подобные бедствия случаются не раз в пять лет и не раз в десять, а раз в тридцать. Для столь идеализируемого Харари примитивного мира это ведь означает гибель всего сообщества. Стопроцентную. И вновь возродиться на этой территории жизнь сможет лишь тогда, когда туда забредут племена со стороны.

Цивилизации смогли организовать производство продукции, которую можно хранить. Охотники и собиратели жили в соответствии с природой и умирали, как только она на них «гневалась». Переход к цивилизации в изложении Харари выглядит, если не как грехопадение, то как глупость... Как коварный обман со стороны пшеницы, «убедившей» дурачков себя выращивать: «Пшеница добилась своего, обманув беднягу сапиенса» [Там же: 103]. Но вот ведь странность: «дурачки» все как один в разных частях света поддавались обману со стороны пшеницы, риса, овец и коров, обеспечивающих минимальную стабильность жизни, но нигде не уцелели «умные» охотники и собиратели, которые, как птички небесные не думали о завтрашнем дне.

Впрочем, Харари, конечно, понимает, что запасы пищи при цивилизации возросли. Но полагает, будто это вело лишь к размножению человечества за счет мук, претерпеваемых бедными домашними животными. Харари столь гневно обличает людей, мучающих зверюшек, что вновь возникает мысль: а может, это всего лишь троллинг?

Куры-несушки, дойные коровы и тягловый скот, как правило, получают отсрочку и могут прожить много лет, но какой ценой? Рабство, жесточайший режим эксплуатации, образ жизни, совершенно чуждый потребностям и желаниям живого существа. Уж наверное, быки предпочли бы свободно бродить в прерии вместе с другими быками и коровами, чем таскать груженные телеги и плуги, повинуюсь кнуту возмнившей о себе обезьяны [Там же: 119].

Нет сомнения, что в вегетарианских кругах этот пассаж вызовет овации, но трудно понять, почему другие читатели относятся к книге Харари как к научно-популярному труду. Или огромные продажи по всему миру получены только за счет вегетарианцев, которых становится все больше?

Легкость в мыслях необыкновенная

Поскольку Харари излагает всю историю человечества, то в книге есть ряд странных моментов, характеризующих иные эпохи, хотя, честно говоря, таких «шедевров», как про охотников и собирателей больше нет. Про экономический взлет Запада он пишет очень просто:

А потом грянула научная революция, и появилась идея прогресса. Суть идеи в следующем: если признать свое невежество и вложить средства в исследования, дела пойдут на лад [Там же: 378].

В общем, все ясно. Никаких особых загадок в этой истории для Харари нет. И нет, соответственно, смысла обращаться к дискуссиям о причинах научной революции, над которыми давно бьются ученые.

А вот еще одно весьма своеобразное размышление. На этот раз об экономической науке. «Каждый финансовый кризис или лопнувший биржевой пузырь вынуждают пересмотреть всю науку целиком» [Там же: 310]. Сильно сказано. Но если бы Харари попытался сравнить учебники экономики за много лет, то быстро убедился бы, что, как и в любой другой науке, здесь идут обновления (в том числе в связи с кризисами), но, конечно, ни о каком пересмотре всего свода знаний речь не идет.

Как сказал бы на этот счет Хлестаков, «легкость в мыслях необыкновенная». Как раз то, что надо для изложения всей истории человечества в одной книжке. Впрочем, Харари, конечно, не предлагает человечеству вернуться в «золотой век», отказавшись от прогресса. Его идея, насколько можно понять, состоит в другом. По большому счету автор «Краткой истории» разоблачает современный либеральный мир, показывая, что он не является единственно разумным и правильным. То, что миллионам наших современников представля-

ется успешным и выдержавшим испытание историей, Харари запросто готов принизить.

«Нет никаких причин считать, что наиболее успешные культуры были лучше для *Homo Sapiens*», — однозначно констатирует автор [Там же: 299]. «Господство сапиенсов произвело мало того, чем мы могли бы гордиться», — утверждает он [Там же: 502]. «Люди становятся все безответственнее», — нагнетает напряжение Харари [Там же: 503]. И, наконец, вопрошает: «Что может быть опаснее, чем разочарованные, безответственные боги, так и не осознавшие, чего они хотят?» [Там же: 503].

«Человечество теряет веру в либеральную идею», — утверждает Харари в самом начале [Харари 2019а: 19] другой своей книги «21 урок для XXI века» (М.: Сбербанк, 2019). А такие либеральные идеи как свободный рынок и демократические выборы скоро можно будет отправить в утиль. Почему? Этому посвящен большой раздел в еще одной книге «*Homo Deus. Краткая история будущего*» (М.: Синдбад, 2019). Дело в том, что люди в будущем будут утрачивать свою полезность. Если кого-то и станут ценить в XXI веке, то своеобразных «сверхлюдей» [Харари 2019б: 357]. Понятно, что раз широкие массы населения ценности не имеют, то ни демократических прав им давать не станут, ни возможности самостоятельно решать, что следует покупать на рынке.

Надо признать, Харари специально отмечает в книге «21 урок...», что считает либеральную демократию «самой успешной и гибкой политической моделью» [Харари 2019а: 17]. И о проблемах говорит, лишь чтобы заставить задуматься. Но не исключено, что истинная мотивация автора в другом. Как ни странно, идея о смерти либерализма в современном обществе прекрасно продается. Думается, в этом одна из причин успеха книг Юваля Ноя Харари. Наряду с простотой изложения, увлекательностью и эпатажем при подаче ряда сюжетов.

ГЛАВА 6

От империй к государствам

Как разрушаются империи

Падение великих держав в трактовке Пола Кеннеди

КЛАССИЧЕСКИЙ труд Пола Кеннеди «Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г.» (Екатеринбург: ГОНЗО, 2018) появился на английском языке более 30 лет назад. И лишь недавно он оказался издан у нас. Опоздание большое, но следует признать, что сейчас самое время в России с ним знакомиться. Ведь российским элитам долго казалось, будто бы наша страна излечилась от болезней, которые описывает Кеннеди применительно к взлетевшим, а затем рухнувшим великим державам. Но нет. В последнее время мы многое делаем для того, чтобы повторить их опыт. Как будто бы не было падения СССР. Как будто история ничему не учит. Как будто бы не идут нашим элитам впрок не только чужие, но даже свои собственные ошибки.

Экономика, а не конспирология

В своей огромной книге (более 800 страниц большого формата) Кеннеди показал, насколько тесно взлеты великих держав за последние полтысячелетия всегда были связаны с их экономическим развитием. Или точнее, он показал, что за счет природных ресурсов, исторических случайностей

или перенапряжения сил державы могут на какое-то время взлетать, но без серьезной экономической базы они неизбежно проигрывают соревнование и падают с высоты. Ни для каких тайных заговоров, разрушающих великие державы изнутри, ни для каких агентов влияния, плетущих заговоры в пользу иностранцев, ни для каких предателей, работающих на темные силы, места в этой научной работе не остается. Факты, приводимые Кеннеди, свидетельствуют о влиянии экономики, а не конспирологии.

«В этой книге утверждается, — отмечает автор, — что существует механизм перемен, движимый главным образом экономическими и технологическими факторами, которые затем влияют на социальные структуры, политические системы, военную мощь и позиции отдельных государств и империй. Скорость этих глобальных экономических перемен неравномерна просто потому, что темп технологических инноваций и экономического роста сам по себе неодинаков и обусловлен не только действиями конкретных предпринимателей и изобретателей, но также и климатом, болезнями, войнами, географией, социальной структурой и т. д. <...> Второй важный аргумент этой книги заключается в том, что эта неравномерность темпов экономического роста имеет важные долгосрочные последствия, проявляющиеся в относительной военной мощи и стратегическом положении государств. <...> Все основные сдвиги в мировом балансе *военных сил* следовали за изменением *производительных сил* <...> Победа всегда доставалась стороне с превосходящими материальными ресурсами» [Кеннеди 2018: 647–648].

Самый яркий пример взлета и падения — империя Габсбургов, достигшая расцвета в XVI веке, но рухнувшая уже через столетие. Успех ее определялся двумя важными случайностями. Во-первых, определенное сочетание монархических бра-

ков, объединяющих династии, и смертей, которые их пресекают, поставило под контроль Габсбургов почти пол-Европы с имеющимися там ресурсами. Во-вторых, серебряные рудники американских колоний дали дополнительные средства для завоеваний. В какой-то момент казалось, будто весь мир скоро окажется под пятой династии Габсбургов, но вскоре выяснилось, что случайность без серьезной экономической базы приводит лишь к временному успеху. Кеннеди обращает внимание на три фактора, на которые следовало бы обратить внимание и в сегодняшней России.

Во-первых, постепенно шло удорожание войны в связи с необходимостью расширять размер армии и приобретать все более сложное оружие. Тех ресурсов, которых вчера еще хватало для завоеваний, вдруг стало не хватать.

Во-вторых, держава Габсбургов была сшита династическими браками на живую нитку: лишь бы объединить ресурсы на короткое время. Когда выяснилось, что этих ресурсов не хватает, понадобилось выкачивать из народа дополнительные. Но это оказалось сложно, поскольку подобное «раскручивание на бабки» не представлялось в разных частях империи законным делом. Колосс стоял на глиняных ногах. Соревнование на длинной дистанции он проиграл тем соседним государствам (Франции и Англии, в первую очередь), которые осуществляли реформы и могли аккумулировать ресурсы для долгой борьбы с противником.

В-третьих, империя, уверовав поначалу в свое безграничное могущество, не обращала внимание на то, что если ты вступаешь в конфликт с большим числом противников и весь мир настраиваешь против себя, то в конечном счете оказываешься вынужден конфликтовать с соседями постоянно, без передышки. И, что самое печальное, это происходит в то время, когда противники могут объединить против тебя силы и воевать

вместе, либо по крайней мере устраивать себе отдых, накапливая силы для нового этапа борьбы [Там же: 81–100].

Финансовая революция

Такие сравнительно небольшие страны, как Англия и Голландия, построили сильную экономику. А та, в свою очередь, позволила государству занимать деньги для войны под сравнительно низкий процент. Не меньшее, чем экономика, значение для государственного долга имело парламентское устройство, при котором народные избранники гарантировали, что страна не обманет своих кредиторов [Там же: 137].

Франция, правда, не была столь эффективна экономически, но зато нашла способ успешно выкачивать налоги со своего огромного населения. А с помощью этих денег смогла в ходе Тридцатилетней войны поддержать шведов и некоторых германских князей в их противостоянии империи. В общем, оказалось, что эффективная экономика создавала альянсы более успешные, чем династические браки. И когда это выяснилось, у Габсбургов уже не осталось шансов.

В захиревшей Испании их династия пресеклась, а в Австрии худо-бедно дотянула до Первой мировой войны, которую проиграла, потеряв в итоге и трон, и государство. В конечном счете проигравшие вынуждены были признать, что торговец, мануфактурщик и фермер не менее важны, чем офицер кавалерии или пикинер.

Впрочем, самого по себе подобного признания недостаточно для того, чтобы великая держава оставалась всегда на высоте. В Великобритании, где значение бизнеса всегда было высоко, на протяжении столетия (с 1870 по 1970 год) происходило, по мнению Кеннеди, снижение военной мощи в отношении других государств. Причиной этого было

снижение мощи экономической, потеря некоторых важных условий конкурентоспособности, отличавших английский бизнес ранее. «Промышленное производство, которое в среднем росло ежегодно на 4% в период с 1820 по 1840 год и примерно на 3% с 1840 по 1870-й, в 1875–1894 годах увеличивалось лишь вялыми темпами не более чем на 1,5% в год — гораздо медленнее, чем у главных соперников страны. Такую потерю промышленного превосходства страна вскоре остро ощутила в процессе острой конкуренции за клиентов. Сначала британский экспорт потерял свои позиции в промышленно развитой части Европы и в Северной Америке, обычно защищенных высокими тарифными барьерами, а затем и на некоторых колониальных рынках, где приходилось конкурировать с другими великими державами: как в коммерческом отношении, так и в плане установления соответствующих тарифов на новых аннексированных территориях. И, наконец, позиции британской промышленности оказались ослаблены постоянно растущим притоком импорта на незащищенный национальный рынок. Все это было явным признаком того, что страна становится неконкурентоспособной» [Там же: 348–349].

В отличие от империи Габсбургов, сосредоточенной в эпоху своего могущества на религиозных вопросах, Великобритания в XIX веке продолжала уделять серьезное внимание развитию экономики. Так почему же пала и эта держава? Пол Кеннеди обращает внимание на то, что

увеличение размера электората впервые привело к значительным «социальным» расходам. Но <...> государство «ночной сторож» слишком мало получало средств в казну от налогов с частных лиц. <...> Таким образом, хотя Великобритания вплоть до 1914 года входила в число стран с самыми большими военными расходами, доля этих трат в национальных доходах у нее была ниже, чем у любой другой великой державы в Европе [Там же: 351].

Ирреальная политика

Книга Кеннеди вышла в свет незадолго до распада СССР, и автор не мог его проанализировать. Но мы сейчас знаем, что распад этот произошел примерно по тем же причинам, что и распад державы Габсбургов (с поправкой на специфику эпохи, естественно). Война становилась все дороже, и того, что выкачивал из народа Сталин, уже не хватало его преемникам. Республики, объединенные ранее мечтой о счастливом слиянии в будущем коммунистическом браке, решили развестись, как только стало ясно, что будущее они представляли себе неправильно. А западные соседи тем временем объединились в гораздо более прочный союз, основанный не на мечте, а на реальных интересах противостояния опасному Советскому Союзу.

Россия сегодня повторяет ошибки СССР. Наша экономика была конкурентоспособна в нулевые годы, пока народ был беден, а цены на нефть высоки. Но затем конкурентоспособность мы утратили. Конфронтация с большим числом экономически развитых и объединенных общим интересом соседей в условиях, когда собственных ресурсов не хватает, хозяйственная система находится в длительной стагнации без перспектив выхода из нее, а война (теперь еще и гибридная) становится все дороже, не оставляет сомнений в том, что ждет нас в будущем. А главное — силовики по-прежнему у нас считаются более важными людьми, чем торговец, мануфактурщик и фермер (не говоря уж об ученом и учителе), то есть доминируют представления, с которыми Запад стал расставаться столетия назад.

Еще один важный урок, о котором говорит Кеннеди, состоит в том, что у державы, желающей преуспеть, не может быть постоянных врагов, но должны быть постоянные интересы. И если вчерашнего врага сегодня вдруг можно использовать

в своих интересах, это надо обязательно делать. Такой вот Realpolitik пришел постепенно на смену войнам за религиозные убеждения. Особенно преуспели в построении различных выгодных альянсов с соседями англичане. Бисмарк был мастером подобной политики, и именно это помогло ему построить Германскую империю во главе с Пруссией. У нас же до сих пор некоторые «мыслители» полагают, будто Америка или Англия строят против России козни потому, что они являются нашими вечными и неизменными врагами. На такой базе российская внешняя политика остается не реальной, а скорее ирреальной.

Почему Россия не стала Англией

Военно-налоговая теория Чарльза Тилли

В России обычно принято искать восточную границу Европы и спорить о том, является ли наша страна европейской или нет. Те, кто считает, что она европейская, говорят о возможности развиваться, как все западные государства. Те, кто говорит, что не европейская, либо заявляют о нашей безнадежности для развития, либо уверяют, будто существует какой-то особый путь, которым идет русский народ, как особо выдающийся и призванный Господом к свершению великих подвигов.

Такой подход к истории очень широко распространен, и как большинство широко распространенных подходов, он ошибочен, поскольку сильно упрощает реальность и принимает во внимание лишь то, что лежит на поверхности. Чарльз Тилли — американский специалист в области исторической социологии — подошел к проблеме совершенно иначе в своей книге «Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. (М.: Территория будущего, 2009)». Размышляя о причинах развития государств, он тоже разделил Евро-

пу на части. Даже не на две, а на три. Но сделал это не географически — «по глобусу», а на основе серьезного исторического анализа.

Три настоящие Европы

Для начала Тилли «зашел» в историю с того конца, с какого нужно, отказавшись от типичных современных попыток представить далекие века упрощенной копией наших дней. Мы считаем порой, будто государи с незапамятных времен думали, как нынешние правительства, о необходимости стимулировать развитие экономики, способствовать богатству народа, поддерживать сирых и убогих. На самом деле государи с незапамятных времен думали либо о том, как захватить чужие богатства, либо (если чужаки сопротивлялись) — как им победить своих соседей в войнах [Тилли 2009: 39]. Причем в войнах государи участвовали не только для того, чтобы присвоить соседские ресурсы, но и для того, чтобы не дать агрессивному соседу присвоить собственные. Деньги требовались правителям в основном для укрепления армии. И лишь в этой связи у них неизбежно возникал рано или поздно вопрос об экономическом развитии, о государственном строительстве и об отношениях с различными группами своих подданных.

В долгосрочной перспективе главные составляющие европейских государств сложились под влиянием войн или подготовки к ним, а не вследствие иных видов деятельности [Там же: 59].

Современный экономист может подумать, что правитель давних веков должен был, осознав необходимость расширения ресурсов, предпринять меры для развития: стимулировать приток капитала, улучшать инвестиционный климат, кредитовать или дотировать из бюджета успешных предпринимателей. На самом деле всерьез о первых по-

пытках государства влиять на экономику можно говорить лишь применительно ко второй половине XVII века. До этого же государям приходилось иметь дело с той экономикой, какая у них была «от природы».

Поставив во главу угла принципиально важную для прошлых веков проблему ведения войн, Тилли проанализировал естественные условия, имевшиеся в разных странах для милитаризации жизни, и пришел к выводу, что все европейские государства принадлежали к одной из следующих трех групп.

Во-первых, те, которые имели на своей территории мало богатых городов и, значит, вынуждены были насильственным путем выжимать средства из широких масс населения на ведение войны. К этой группе принадлежали такие разные по нынешним временам государства, как Бранденбург (впоследствии превратившийся в Пруссию, а затем ставший центром формирования Германской империи), Польша, Венгрия, Сербия, Сицилия времен Фридриха II Гогенштауфена (впоследствии ставшая частью огромного испанского государства), Швеция и Россия. В одних странах этой группы (особенно в России и Пруссии) удалось выкачать большие ресурсы из населения с помощью принуждения, и эти страны стали мощными империями. В других дело с выколачиванием ресурсов не задалось, государственная власть ослабла, милитаризация провалилась, и страны в конечном счете утратили свою независимость [Там же: 202–210].

Во-вторых, города-государства, у которых благодаря активной торгово-ремесленной деятельности имелись немалые капиталы, а потому власти вместо предельно жестких форм изъятия ресурсов у купцов и ремесленников могли заключать с ними разного рода соглашения (налоговые, кредитные). Такие возможности, согласно Тилли, были, в пер-

вую очередь, у Венеции, но также у Генуи, Милана, Дубровника, а также Голландии и (в течение некоторого времени) даже у Каталонии и ганзейских немецких городов. Необходимость поиска компромисса власти с обществом способствовала формированию разумных налоговых механизмов в экономике (с упором на торговые пошлины), а в политике — развитию системы городского самоуправления [Там же: 211–221].

В-третьих, имелся и промежуточный вариант. Им пользовались крупные европейские государства, на территории которых находилось некоторое число весьма преуспевающих (хотя не самых богатых и крупных) городов. В ситуации, когда у монархов под рукой находились и города с купцами и ремесленниками, и огромные, населенные крестьянами пространства, принудительное изъятие части ресурсов посредством налогообложения сочеталось со взаимовыгодным совместным использованием капиталов государством и бизнесом. К числу таких европейских стран относились, в первую очередь, Франция и Англия [Там же: 221–232].

В зависимости от того, в какой группе оказалось то или иное государство, исходя из приоритета капитала или принуждения, по-разному формировалось соотношение классовых сил, по-разному строились внутривнутриполитические союзы, по-разному шла борьба между государством и обществом, по-разному организовывались механизмы изъятия ресурсов и различной была эффективность этого изъятия [Там же: 202].

Два способа выживания

На первый взгляд нам кажется, что не все ли равно, как классифицировать государства? Но на самом деле из этой правильной классификации следует два важных вывода, объясняющих причины

успехов и неудач различных европейских народов на протяжении долгого времени. С одной стороны, в тех государствах (второй и третьей групп), где власть должна была вступать в переговоры с городами насчет использования их ресурсов для военных целей, стала формироваться система сословного представительства. С другой стороны, небольшие города-государства (второй группы), хоть и были сравнительно богатыми (по ВВП на душу), не смогли выдержать интенсивной военной конкуренции с крупными странами, аккумулировавшими средства для ведения войн разными способами.

В итоге оказалось, что именно такие национальные государства, как Англия и Франция, смогли выжить в конкурентной борьбе и при этом оказаться наиболее передовыми в нашем современном понимании: они сочетали военную мощь с зачатками демократии.

Чем дороже и сложнее становилась война, тем больше приходилось монархам вести переговоры для получения на нее необходимых средств. В результате переговоров возникали или укреплялись представительные институты [Там же: 271].

Ключевым периодом, когда определилось преимущество национальных государств, был, по мнению Тилли, XVI век с его международными войнами, когда империя и города-государства не выдержали конкурентной борьбы за ресурсы, позволяющие побеждать соперников [Там же: 318].

Пруссия, Швеция и Россия тоже выжили в конкурентной борьбе, но для своего выживания, невозможного без милитаризации, они должны были культивировать в XVII–XVIII веках совершенно иные методы. Вместо использования тех инструментов взаимодействия власти и общества, которые мы сегодня считаем цивилизованными, эти страны превращались в огромный военный ла-

герь. Швеция при Карле XI и Карле XII, Пруссия при Фридрихе-Вильгельме и Фридрихе Великом, Россия при Петре Великом и его преемниках были во многом похожи. И сильно отличались при этом от Англии, Франции и Голландии (единственной страны второй группы, сумевшей аккумулировать ресурсы для выживания в конкурентной борьбе, но так и не ставшей ключевым игроком большой европейской политики).

Естественно, в дальнейшем стратегии Пруссии, Швеции и России тоже существенно разошлись, поскольку все они пытались догонять успешных лидеров, но особенности пройденного исторического пути ограничивали каждой из этих стран возможности для маневра. В этом состоит второй важный вывод, который можно извлечь из книги Тилли. Встав на определенный путь развития, страна может затем устремиться в погоню за теми, кто ее обошел, но не может «начать с чистого листа». Веками складывавшиеся правила игры будут тормозить развитие до тех пор, пока не удастся отказаться от старых, неэффективных институтов.

Зависимость от исторического пути

«Почему Венеция или Россия не стали Англией?» [Там же: 233], — задается справедливым вопросом Тилли, объединяя (что характерно) в пару «неудачников» самый успешный торговый город европейского Средневековья и периферийную аграрную империю. Почему направление развития было одно, а пути такие разные? — спрашивает Тилли и сам же отвечает на свой вопрос, говоря, что военное соперничество заставляло все страны двигаться в одном направлении, но «они не могли освободиться от власти прошлого, от прошлой истории» [Там же]. Не от мифической культуры Востока не могли освободиться разные страны (ее не было ни у Венеции, ни у Испании), на которую

мы часто сваливаем все беды России, а от совершенно конкретных проблем, нажитых на долгом пути развития.

«Итак, подведем итоги, — пишет Тилли в конце своей книги. — Чем объясняется большое разнообразие (вариативность) во времени и пространстве *типов государств, преобладавших в Европе после 900 года, и почему затем разнообразные формы европейских государств превратились все в национальные государства? Почему направление трансформаций было одно, а пути такие разные?* Исходные состояния этих трансформировавшихся европейских государств чрезвычайно различались в зависимости от распределения концентрированного капитала и принуждения. Изменения происходили постольку, поскольку менялось соотношение капитала и принуждения. Но соперничество в военной области заставляло их всех двигаться в одном направлении. Именно этот факт лежит в основе создания и затем доминирования национального государства. По ходу этого процесса европейцы создали систему государств, которая стала господствующей в мире» [Там же: 274].

Как преуспеть случайно

*Ричард Лахман о возникновении
капиталистов поневоле*

Мы начинали знакомство с исследованиями по исторической социологии с помощью книги Ричарда Лахмана, рассказывающей о сути этой науки. И вот теперь настало время вновь вернуться к нему, но уже как к автору одной из самых интересных научных работ о развитии общества. Эта книга называется «Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени» (М.: Территория будущего, 2010).

Все долгосрочные изменения неожиданны

Главный вывод Лахмана парадоксален. Людям, привыкшим к целесообразному развитию, к тому, что наши разумные действия представляют собой решения заранее поставленных задач, трудно согласиться с тем, что на самом деле в истории все совершенно не так. Важнейшие изменения в жизни человечества происходят вовсе не потому, что это предписано железными историческими законами марксизма, и тем более не потому, что так развивается гегельянский Абсолютный дух. Радикальные перемены происходят случайно. «Хотя люди были агентами изменений, — отмечает Лахман, — они не собирались создать то общественное устройство, которое в результате возникло. Средневековые общественные акторы хотели только улучшить или сохранить свое положение. Индивидуумы и группы шли на изменения, чтобы разрешить свои проблемы, которые они определяли в рамках существовавшего контекста их обществ, эпохи Средневековья или раннего Нового времени. Все долгосрочные изменения были неожиданными, агенты этих изменений были капиталистами поневоле» [Лахман 2010: 30].

Отличие от привычной нам марксистской схемы состоит не только в отсутствии исторических закономерностей, но еще и в том, что у Лахмана не классы борются между собой, а элиты. «Мое основное открытие, — пишет автор, — состоит в том, что цепочки случайных изменений начинаются с элит, а не с классов или индивидуумов. Конфликт элит приводит в движение и направляет каждую эпоху трансформаций» [Там же: 31]. Классовый анализ можно, конечно, осуществлять, но он представляет собой сильное упрощение действительности. Анализировать борьбу множества элитных групп значительно сложнее, чем рассуждать о рабах и рабовладельцах, крестьянах и феодалах, пролетариате и буржуазии. Но без этого никак.

Вот пример — отмена крепостного права. Оно, как известно, было широко распространено в средневековой Европе и не являлось отличительной чертой одной лишь несчастной России. Кто-то скажет, конечно, что именно русские из-за своей рабской натуры оставались в «рабстве» аж до 1861 года. Но есть объяснения, гораздо больше соответствующие историческим фактам, чем ссылки на мифический рабский менталитет. Лахман, например, полагает, что «там, где элиты пребывали в активном или неразрешенном конфликте, крестьяне получали свободу от трудовых повинностей, права на наследственное землевладение и стабильную ренту <...> там, где элитные конфликты были разрешены, крестьян вынуждали нести новые или усиливали старые трудовые повинности» [Там же: 81]. Проще говоря, до тех пор, пока английский король воевал с врагами при помощи феодальной армии, он был заинтересован в поддержании прав своих баронов на владение крепостными. Но со временем оказалось, что наемная армия эффективнее войска, состоящего из вассалов. А при построении наемной армии король оказался заинтересован в налогах с богатых крестьян. Зачем же он в такой ситуации будет отдавать людей в «рабство» феодалам, которые сами их обдерут? Но русский царь XV–XVI веков наемной армии не имел. Он был заинтересован в помещиках, как основе своего войска. Денег он им платил мало (поскольку наша экономика вообще была слабо монетизирована), зато позволял закрепощать крестьян, обеспечивавших помещиков кормом. В общем, серьезное расхождение интересов монарха с аристократией давало народу свободу, а общность интересов погружала крестьян в рабство.

Таким образом, развитие от крепостничества к свободе произошло не благодаря жестоким классовым битвам, как полагает марксизм, и не потому, что на Западе, мол, господствовала любовь к праву и уважение частной собственности крестьян,

как полагают сторонники некоторых других теорий. Как ни странно, все дело в разных способах построения армии: на Западе, где монарх мог деньги достать, он нанимал солдат, а на Востоке, где богатых городов было мало, но зато хватало земли, помещики служили царю за землю с крестьянами.

Единственная моя поправка к теории Лахмана состоит в том, что на Руси конфликты между элитами вовсе не были разрешены. Как показывают профессиональные исторические исследования, царь действовал в интересах помещиков, но при этом ограничивал богатое боярство, стремившееся подмять под себя всю рабочую силу. Тем не менее надо признать, что главная идея Лахмана совершенно верна: именно из конфигурации межэлитных конфликтов произрастает развитие общества.

Между папой и императором

Это же видно и еще из одной истории: в данном случае городской, а не деревенской. У нас есть немало любителей говорить, что на Западе город, мол, всегда был свободным и обладал большими правами в отличие от городов на Руси. С одной стороны, это верно. Но с другой — надо принять во внимание, что на Западе существовало значительное различие между свободными, богатыми городами Северной Италии, увеличившимися до огромных размеров, создавшими цветущие ремесла, прибыльную торговлю, высокую культуру, и скромными городами Англии или Франции, сохранявшими сильную зависимость от монархов или даже от региональных правителей. Почему Италия добилась к XIII–XV векам значительно большего, чем Европа, находящаяся к северу от Альп? Почему она долгое время отличалась от остальной Европы больше, чем вся эта Европа от Руси?

Да по той же самой причине: из-за конфигурации межэлитных конфликтов. Долгое время за власть

в Италии соперничали римские папы и германские императоры. Перевес в силах был то на одной, то на другой стороне, и никто в итоге не мог одержать решительной победы. А потому обе враждующие силы старались привлечь города на свою сторону не столько кнутом, сколько пряником.

Раскол между германскими императорами и папством создал стратегические возможности для новоявленных дворян <...> Ослабленные в военном смысле императоры XI века были вынуждены признать автономию Флоренции и других городских коммун, чтобы не допустить союза нового городского нобилитета с папством [Там же: 114].

«Другими словами, — точно резюмирует Лахман в другой своей книге «Государства и власть», — средневековые и возрожденческие города были сильны потому, что всё остальное в Европе было слабым. <...> Тосканская знать смогла натравить друг на друга конкурирующих захватчиков и завоевывать признание своих земельных прав с автономией для своих городов» [Лахман 2020: 49].

Нигде больше не сформировалось такой благоприятной для разных вольностей ситуации, как в Италии (причем только в северной!). Вот откуда городская свобода там произошла, а вовсе не из воспоминаний об античности, греческой демократии и доблестях Рима! Если бы Империя не враждовала со Святым престолом, никакая античность не смогла бы обусловить свободу Флоренции или Венеции.

Но между элитами городов Италии также возникали конфликты. Венеция и Генуя победили в борьбе за выгодную морскую торговлю с Левантом. На долю Флоренции осталась менее привлекательная торговля шерстью по разным городам Западной Европы. Зато, когда обнаружилась нужда Святого престола в займах на Крестовые походы,

оказалось, что их могут дать лишь флорентийцы, поскольку лишь они готовы в качестве гарантии кредитов принять право сбора церковной десятины в тех европейских странах, где у них уже были филиалы по торговле шерстью. В итоге на сборе десятины Флоренция нажилась не хуже, чем другие города — на морской торговле. Так возник уникальный флорентийский бизнес.

Начиная выстраивать свои зарубежные филиалы для торговли шерстью, купцы из Флоренции даже не догадывались, какой выгодой это обернется в тот момент, когда откроется возможность для партнерства с римскими папами. «Следует помнить, — поясняет Лахман, — что флорентийцы стали новаторами поневоле. Они занялись папскими финансами и обменом денег на континенте как второсортным делом, поскольку их вытеснили с более выгодных дальних торговых маршрутов, на которых господствовали венецианцы и генуэзцы» [Лахман 2010: 153].

В книге «Государства и власть» Лахман распространяет свою теорию «капиталистов поневоле» на государей, превращая их в своеобразных «монархов поневоле». «Образование государства нигде не было единым проектом стремившихся к величию правителей. Скорее, оно было незапланированным побочным продуктом сближения множества элит, хотевших обзавестись рычагом давления в своих конфликтах с другими элитами и крестьянами» [Лахман 2020: 112]. В общем, выходит, что повсюду объективные обстоятельства сильнее субъективных намерений.

Что нас ждет в будущем

То, как описывает историю Лахман, важно не только для осмысления прошлого. Оно многое может объяснить и в нашем российском настоящем. Если мы хотим понять, как будет в дальнейшем развиваться Россия, то стоит обратить внимание имен-

но на конфликты между различными элитами, а вовсе не на классовые бои, не на борьбу холодильника с телевизором и не на программы разных «добрых политиков», желающих осчастливить народ. Конфликты элит неизбежны, причем результат их столкновений оказывается весьма далек от желаний враждующих сторон. Как представители определенных элит становились в свое время капиталистами поневоле, так ныне представители некоторых элит современных могут стать демократизаторами поневоле, поскольку рано или поздно вынуждены будут в борьбе за свои собственные (корыстные!) интересы опереться на поддержку широких слоев населения, чтобы эта поддержка не досталась конкурирующим группировкам.

Теория Лахмана показывает нам, что для понимания будущего развития общества следует обращать внимание вовсе не на декларации разных политических акторов, не на их моральный облик и не на классовую принадлежность. Все, что мы видим сегодня, может, скорее, вводить в заблуждение, чем помогать разбираться в сути проблемы. Плохие, корыстные люди, желающие лишь денег и удовольствий, а не прав и свобод, могут при известных обстоятельствах получить выгоду именно от расширения свободы, поскольку без этого они проиграют борьбу за ресурсы и вообще окажутся где-то на обочине истории.

У каждого свой путь в Модерн

Мир-система Иммануила Валлерстайна

Иммануил Валлерстайн был первым историческим социологом, про которого я узнал. Даже Макс Вебер в начале 1980-х годов мне — советскому студенту, «измученному историческим материализмом», — оставался еще неизвестен. А про то, что, если интересуешься логикой истории, стоит читать Вал-

лерстайна, сказал Юрий Шишков — прекрасный ученый из ИМЭМО АН СССР (Института мировой экономики и международных отношений), взявший меня, ленинградца, под опеку во время преддипломной стажировки в Москве. К тому времени вышло (естественно, только на английском языке) лишь два тома из четырехтомного произведения Валлерстайна «Мир-система модерна» (М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015–2016), но Шишков уже эту книгу знал и советовал.

В дальнейшем Валлерстайну слегка не повезло с репутацией. Так часто бывает с мыслителями, чья известность сильно превосходит способность читателя одолеть их толстые научные труды. О Валлерстайне у нас обычно судят по отдельным фразам или по докладам, сделанным на разных конференциях, где он зарекомендовал себя в качестве левого интеллектуала, вызывающего скептическую усмешку правых. Но мир-системный анализ (именно так сейчас называют предложенную Валлерстайном методологию) в отличие от публицистики не сильно идеологизирован. Он представляет собой попытку понять, как и почему развивается общество, а во все не навязать ему какой-то конкретный механизм развития — левый или правый.

Преодолеть Маркса

Главное, что можно поставить в заслугу автору мир-системного анализа — как ни парадоксально это звучит применительно к левому интеллектуалу, — преодоление подхода к исследованию развития, предложенного на первых же страницах первого тома «Капитала». Карл Маркс писал в предисловии к своему знаменитому труду, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [Маркс 1978: 9]. Иными словами: все народы развиваются одинаково, но одни начина-

ют несколько раньше, а другие идут по стопам лидеров. Поскольку Маркс, сделав подобное заявление, больше, по сути дела, к данной проблематике не возвращался, предпочтя анализу исторических фактов словесную эквилибристику со странными терминами типа «прибавочная стоимость», фраза из предисловия к «Капиталу» так и не была научно обоснована. Каждый, кто всерьез изучал историю, мог заметить, что она сильно расходится с реальностями, однако до Валлерстайна немногие авторы в исторической социологии предлагали иной подход, основанный на детальном изучении фактов.

Мир-системный анализ стал исходить из того, что, выясняя механизмы развития общества, нам нет никакого смысла рассматривать отдельные страны, как принято у историков, опасующихся больших обобщений, а надо рассматривать мир в качестве системы, где разные страны дополняют друг друга и потому не могут быть совсем одинаковыми. То есть в истории близких народов (например, европейских) есть, конечно же, много общего, но, поскольку в международном разделении труда они занимают различное место (Валлерстайн поделил мир на Центр, Периферию и Полупериферию), историческая судьба их тоже окажется различна.

При переходе от Средневековья к Новому времени в центре Европы возникла зона высокоразвитого ремесла и торговли. Германские, фламандские, итальянские бюргеры производили ткани и оружие, строили корабли, транспортировали редкие товары на большие расстояния. Они проживали в больших городах и все чаще нуждались в сырье и пище, не производившихся рядом с ними, или производившихся в недостаточном объеме. Скажем, для изготовления тканей нужна была шерсть, и вот уже на выращивании овец стали специализироваться Кастилия с Англией. А людям для питания требовалось все больше зерна, и вот уже хлеб стали поставлять из Сицилии, Апулии, Польши, Пруссии. Мяс-

ным регионом стала Венгрия, откуда в центр Европы перегонялись большие стада крупного рогатого скота. Когда же в хозяйственную мир-систему включилась еще и Америка, из Нового света в Старый стали на кораблях привозить сахар, табак, хлопок.

«Мы обрисовали в общих чертах две главные составляющие мир-системы Модерна, — пишет Валлерстайн. — С одной стороны, капиталистический мир-экономика был основан на всемирном разделении труда, в рамках которого различным зонам <...> были предписаны особые экономические роли, в них развивались разные классовые структуры <...>. С другой стороны, политическое действие по большей части происходило в рамках государств, которые вследствие различия своих ролей в мир-экономике, обладали различной структурой, причем государства центра были наиболее централизованными» [Валлерстайн 2015, т. 1: 197].

Теперь зададимся вопросом: могут ли страны, специализирующиеся на производстве столь разных товаров, развиваться одинаково? Могут ли Италия, Германия и Нидерланды показывать Польше, Пруссии и американским колониям их собственное будущее, как следует из цитированной выше фразы Маркса? Могут ли вообще все эти страны жить по похожим сценариям? Ведь для производства сложных изделий лучше всего подходит свободный труд. Производство зерна до поры до времени обеспечивается крепостнической экономикой. А производство сахара или хлопка — рабским трудом негров, завозимых в Америку из Африки.

Если рассматривать мир как систему, где разные части выполняют разные функции, то упрощенный подход Маркса, некритично воспринятый ортодоксальными марксистами, совершенно перестает нас удовлетворять. Но вместе с тем разрушаются и представления об особом пути разных народов, их особой душе, особом предназначении. Ведь мир-системный анализ теснейшим образом связывает между собой

разные страны, показывая, что коли мы объединены общим рынком, у них нет ни особой судьбы, ни автаркических возможностей для развития.

Наука эпохи глобализации

Сегодня Европа в нашем понимании тянется от Атлантики до Урала, но с точки зрения Валлерстайна рыночное хозяйство, возникшее на этом пространстве, постепенно, в течение долгого времени «разрасталось» из передовых западных центров. «Основной идеей этой книги, — пишет он, — станет утверждение, что для появления капиталистического мира-экономики были существенно важны три момента: 1) расширение его географических пределов; 2) развитие рыночных способов контроля над трудом для различных продуктов и для различных зон мира-экономики; 3) создание сравнительно сильных государственных аппаратов там, где появятся государства центра (ядра) капиталистического мира-экономики. Второй и третий аспект в значительной степени зависели от успеха первого. Следовательно, теоретически территориальное расширение Европы было ключевой предпосылкой для разрешения „кризиса феодализма“» [Там же: 43].

Сформулировав это ключевое положение, Валлерстайн погружается в долгое историческое путешествие, рассматривая и экономику прошлого, и политику, и международные отношения. В четырехтомнике есть много конкретики, в которой можно долго копаться. Но главным, на мой взгляд, является именно мир-системный подход. Если мы его принимаем, то создаем базу для многочисленных исследований, в которых исторический путь той или иной страны в ту или иную эпоху анализируется, исходя из того места в системе международного разделения труда, которое она занимает. Валлерстайн изобрел систему своеобразного экономического детерминизма, на первый взгляд, весьма

похожую на марксистскую, однако приводящую исследователя к совершенно иным выводам.

Для экономиста в том, что сказал Валлерстайн, нет, в общем-то, ничего нового. Экономисты всегда исходят из того, что существует разделение труда и фирмы участвуют на рынке в глобальной кооперации, дополняя друг друга, а вовсе не показывая молодым фирмам их собственное будущее. Металлургический комбинат не может показать будущее швейной мастерской или компании, создающей программное обеспечение. Однако экономисты, как и историки, боятся больших обобщений. Возможно, поэтому то, что очевидно экономистам, долгое время не распространялось на историческую социологию. Но с появлением научного труда Валлерстайна мир-системный анализ быстро вошел в моду.

Надо признать, что семидесятые годы оказались чрезвычайно удачным временем для «изобретения» мир-системы. Начиналась эпоха глобализации. Все социальные науки теперь были вынуждены смотреть на мир, как на огромную систему, в которой отдельные страны (от центра Европы до азиатской глубинки) связаны разделением труда. И Валлерстайн, показавший, что к исторической социологии следует подходить именно с такими мерками, быстро пришелся ко двору.

Наш мир еще сложнее

Однако, несмотря на бесспорные научные заслуги Валлерстайна, мир-системный анализ далеко не во всем нас удовлетворяет. Валлерстайн усложнил мир в сравнении с простенькими схемами Маркса и наивными теориями особого пути, однако думается, что на самом деле мир еще сложнее, чем в «Мир-системе Модерна». И развитие общества зависит не только от того, какое место страна занимает в мир-системе, а еще и от множества других факторов. Валлерстайн, естественно, понима-

ет это и принимает во внимание. Поэтому, когда читаешь его четырехтомник, иногда надолго забываешь мир-системную теорию: на протяжении десятков и даже сотен страниц конкретный анализ автора фактически не имеет никакого отношения к его методологическим положениям.

Важнейший из факторов, влияющих на развитие, можно назвать демонстрационным эффектом. Отсталые страны, находящиеся на периферии мир-системы, и, казалось бы, обреченные навсегда там оставаться, воспринимают идеи модернизации и трансформируют свои институты (правила игры) с тем, чтобы догнать лидеров.

Периферийные страны сегодня оказываются вдруг в центре развития, и это плохо согласуется с мир-системным анализом и с теорией зависимости, которой Валлерстайн в свое время тоже отдал дань. Согласно Валлерстайну (и в этом проявляется его научная левизна), центр эксплуатирует периферию. Но именно за те десятилетия, что мир читает книги, посвященные мир-системному анализу, Китай и многие другие страны резко рванули вперед. Вряд ли без серьезных натяжек можно сегодня назвать отношения США и Китая отношениями эксплуатации. Поэтому из научного наследия Валлерстайна нынче приходится полностью изымать остатки левой идеологии, серьезно разошедшейся с реальностью. И надо признать, что без нее его фундаментальный труд «Мир-система Модерна» выглядит гораздо лучше.

Гегемоны всемирной истории

*Джованни Арриги ищет путь
к «мировому правительству»*

Обычно, когда тот или иной автор начинает искать вдруг мировое правительство, его изыскания превращаются в конспирологию и вряд ли заслуживают

серьезного внимания со стороны ученых. Но хотя итало-американский экономист Джованни Арриги упоминает в своей работе о процессе «формирования мирового правительства» [Арриги 2006: 123], его книгу «Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени» (М.: Территория будущего, 2006) надо отнести к числу классических трудов в области исторической социологии. А слова «мировое правительство» стоит взять в кавычки, поскольку Арриги заставляет нас задумываться не о тайных силах, правящих миром, а об объективных процессах, трансформирующих на протяжении долгого времени систему межгосударственных отношений. Проще говоря, он демонстрирует нам как постепенно формировались некоторые важнейшие черты XX века, как вырос современный мир из мира прошлого, причем не потому, что кто-то строил современность целенаправленно, а потому, что новые процессы разрушали старые скрепы.

По словам самого автора он придал многогранному описанию раннего капитализма, которое сделал в свое время великий французский историк Фернан Бродель, «некоторую логическую последовательность и историческую протяженность» [Там же: 36]. Это, конечно, сузило угол обзора в сравнении с эпохальным броделевским трудом (и могло несколько озадачить читателей), но, как деликатно отметил Арриги,

конструкция, предлагаемая здесь, является всего лишь одним из многих имеющих право на существование <...> описаний долгого двадцатого века [Там же].

Скрипят старые скрепы

Старые скрепы были в основном испанскими. В XVI веке габсбургская Испания совместно с габсбургской германской империей и папством пыта-

лась контролировать Европу, сохраняя худо-бедно от полного распада ветхие средневековые механизмы управления. Естественно, эти амбициозные попытки вызвали сопротивление разных европейских государей. И в конечном счете Испания надорвалась. Ей не удалось сформировать всеевропейскую империю, но и другим странам это тоже не удалось. В результате возник, по выражению Арриги, системный хаос [Там же: 84]. Новая (неимперская) система межгосударственных отношений могла сформироваться, только преодолев этот хаос и установив в Европе новый порядок без военного и административного контроля из Мадрида. Европейские правители, не желавшие бесконечно воевать друг с другом, теряя силы и ресурсы, должны были согласиться на какой-то взаимовыгодный механизм совместного существования.

Арриги полагает, что такой механизм, с одной стороны, возникал объективно, но с другой — мог оформиться окончательно лишь при помощи некоего гегемона, то есть государства, прокладывающего дорогу к новым правилам. Таким гегемоном стала в XVII веке Голландия. Во-первых, потому, что «по мере возрастания хаоса за время Тридцатилетней войны нити дипломатии связывались и распутывались в Гааге, а голландские предложения по общей реорганизации европейской системы правления находили все больше сторонников среди европейских правителей, пока, наконец, Испания не оказалась в полной изоляции» [Там же: 86]. А во-вторых, такое доминирование Голландии оказалось возможным не в силу случайности, но в силу того, что эта страна стала экономическим лидером эпохи. Капиталисты из северных Нидерландов скопили большие капиталы благодаря успешной торговле на Балтике и в других морях, благодаря «обратному налогу» (проще говоря, грабежу), который гёзы взымали с Испании, а также благодаря «мобилизации и перекачиванию избыточного капитала

со всей Европы на Амстердамскую биржу и в банковские институты, созданные голландцами для обслуживания биржи» [Там же: 195].

Голландия стала в концепции Арриги европейским гегемоном, хотя думается, что этот популярный в марксизме термин не слишком удачен. При всем неоспоримом значении Голландии для формирования новой экономики и новой политики, многие, наверное, усомнились бы в «гегемонизме» страны, обладавшей все же меньшими ресурсами и значительно меньшей военной силой, чем Франция Людовика XIV. И неудивительно, что соседи (особенно Франция) вскоре смогли поставить преграды на пути голландского «гегемонизма». Меркантилистская торговая политика ударила по доходам, которые голландские купцы извлекали какое-то время из сравнительно свободной торговли. А это ограничило как богатства маленькой европейской страны, так и его влияние на межгосударственную систему. Все европейские государства стали учиться у голландцев и подражать им в экономике, закрывая одновременно им торговые пути с помощью таможенных пошлин.

Гегемон умер, да здравствует Гегемон!

Когда дело дошло до того, что голландцы перестали «заказывать музыку» в европейском «концерте», межгосударственная система вновь вошла в состояние хаоса, преодолеть который, по мнению Арриги, мог лишь новый гегемон. Им стала к XIX веку Великобритания. Созданная британцами система, которую можно назвать «фритредерским империализмом», была системой правления, одновременно продолжавшей и вытеснявшей Вестфальскую систему» [Там же: 97].

Великобритания стала доминирующей в экономике европейской державой благодаря промышленному перевороту, связанному с ним (а также

с эксплуатацией колоний) быстрому развитию экономики и накоплению капитала. По сути дела, Британия оказалась своеобразной всемирной мастерской, а Лондон постепенно сменил Амстердам в качестве мирового финансового центра. Для своего времени Британия, конечно, была больше похожа на гегемона, чем Голландия для своего. Но все равно, думается, анализ проблемы в подобных терминах не вполне корректен. Многие историки, изучающие военное дело, скажут, конечно, о гегемонизме Франции во времена Наполеона, причем не только из-за личного влияния полководца и императора, а в первую очередь из-за того, что у него появилась армия совершенно нового типа, основанная на всенародном ополчении. Британии нужно было участвовать в международных альянсах для того, чтобы такой армии противостоять.

При этом в целом Арриги четко демонстрирует, как из экономического лидерства англичан возникает массовый интерес к свободной торговле, приходящей на смену меркантилизму, и как возникает новая система межгосударственных отношений. В целом влияние Великобритании после поражения Наполеона было, бесспорно, больше, чем мощь ее государственного аппарата и армии.

Расширение и замена Вестфальской системы британским фритредерским империализмом <...> показывает, что формирование и экспансия капиталистического мира-экономики означает не столько замену, сколько продолжение другими, более действенными средствами имперской экспансии досовременной эпохи [Там же: 103].

Но вот вопрос: империализм — империализмом, но ведь именно в эту эпоху в западном мире становится все больше разнообразных свобод, как экономических, так и политических. Корректно ли называть фритредерство продолжением экспансии досовременной эпохи? Не пытается ли Ар-

риги «подогнать» сложность развития общества под свой довольно левый взгляд на «долгий двадцатый век»?

В XX веке возник третий вариант «гегемонии исторического капитализма» — теперь основанный на американской системе свободного предпринимательства. Кажется, будто этот вариант похож на британский, но нет.

Точно так же как либеральная идеология британской гегемонии поставила стремление к получению богатства имущими подданными над абсолютными правами правителей, так и идеология американской гегемонии поставила благосостояние всех подданных («высокий стандарт массового потребления») над абсолютными правами собственности и абсолютными правами правления [Там же: 112].

После Второй мировой войны эта система привела к длительному международному миру. Арриги полагает, что в этой системе американской гегемонии более успешно, чем в системе британского фритредерского империализма, ограничивались «права и возможности суверенных государств выстраивать свои отношения с другими государствами и собственными подданными, как они считали нужным. Национальные правительства были гораздо менее свободны, чем прежде в преследовании своих целей методами военной и территориальной экспансии и (в меньшей, хотя все же значительной, степени) нарушении гражданских прав и прав человека» [Там же: 113].

Думается, предположение, будто права человека, скажем, во Франции или Германии, не нарушаются потому, что эти страны теряют суверенитет в системе американского гегемонизма, крайне сомнительно. Оно просто «притянута за уши» к концепции «долгого двадцатого века», основанной на эволюции межгосударственных отношений. В Европе

хватает внутренних объяснений позитивных метаморфоз, происходивших после ликвидации нацизма. Но то, что Америка давит порой на другие страны, требуя соблюдения прав человека и отказа от войн с соседями, сомнения не вызывает. Подобный «гегемонизм» во многом меняет мир.

Господство без гегемонии

Тем временем долгий двадцатый век кончился, поскольку наступил двадцать первый. Естественно, Арриги должен был на это как-то прореагировать и развить свою теорию. Неудивительно, что вышла книга «Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век» (М.: Институт общественного проектирования, 2009). Поскольку во второй половине минувшего столетия произошло возрождение Восточной Азии [Арриги 2009: 11], можно ли ожидать очередной смены гегемона?

Современное положение США Арриги называет «господство без гегемонии» [Там же: 196–236]. То есть Америка пока еще извлекает выгоды из своего доминирующего положения, но уже перестает превращать хаос в стабильность, как должен делать «порядочный гегемон». Процветание американцев уже зависит не столько от них самих, сколько от тех стран, которые держат американские ценные бумаги. Это все, впрочем, вполне очевидно. Критика текущего положения США не требует сегодня больших аналитических навыков. А то, что Китай наступает Америке на пятки, можно узреть и без провидческих способностей. Но так и не ясно, впишется ли XXI век в теорию «долгого двадцатого века»? Появится ли в Азии гегемон, способный стимулировать возникновение новых правил международной игры ради преодоления хаоса? На эти вопросы наш автор не дает ответа. Его новая книга явно уступает старой, что не снижает, однако, в целом интерес к теории Джованни Арриги.

Государство как побочный продукт агрессии

Война и мир Филипа Боббитта

Американский юрист и историк Филип Боббитт в своей книге «Щит Ахилла. Война, мир и ход истории». Том 1. (М.: Индивидуум, 2021) вслед за Полом Кеннеди и Чарльзом Тилли прослеживает связь между войной, экономикой и трансформацией государства в Европе на протяжении долгого времени. Боббитт не является пионером в такого рода исследованиях, да и вообще исследовательская задача у него оказывается лишь прикладной по отношению к выработке оптимальной стратегии внешней политики США в XXI веке, но зато автору «Щита Ахилла» удалось, на мой взгляд, лучше, чем его предшественникам проследить сложные исторические связи и показать, как менялось европейское государство с эпохи позднего Средневековья до настоящего времени. Читателю, который не имеет времени и желания знакомиться со всеми анализируемыми мной книгами, я бы рекомендовал выбрать для изучения именно Боббитта. Особенно вторую часть первого тома, представляющую собой научный историко-социологический труд в отличие от третьей части, где содержится много практических рекомендаций (на мой взгляд малоинтересных и слабо связанных с предваряющим их анализом).

Главный вывод Филипа Боббитта выглядит следующим образом:

Государство оказалось жизнеспособным институтом благодаря периодическим структурным изменениям. Когда над государством нависает смертельная опасность: стратегические инновации конкурентов, грозящие непоправимым ущербом, или внутренняя напряженность, со-

здающая риск распада, — государство прибегает к конститутивным преобразованиям и реорганизации [Боббитт 2021: 377].

При этом гибкое государство сравнительно легко трансформируется под воздействием меняющихся обстоятельств. Но «государство более жесткое будет сковано историей, как смирительной рубашкой, настолько туго затянутой, что только политический Гудини (вроде Бисмарка) сможет дать ему свободу» [Там же: 349].

Нет денег — нет швейцарцев

Как все это конкретно происходит, автор показывает на большом историческом материале, начиная с той эпохи, когда на европейских театрах военных действий появилось огнестрельное оружие. Оно сделало бесполезными замки, в которых средневековые князья укрывались от своих противников, поскольку пушка легко пробивала каменные стены. Что могло в такой ситуации обеспечить безопасность князей от агрессии со стороны соседа? Они должны были расширить зону своего контроля: от замка к территориальному государству, которое есть «постоянная инфраструктура для сбора податей, организации материально-технического снабжения и руководства армией, необходимой для защиты владений» [Там же: 162]. Если раньше князь не отождествлял себя с определенной страной и народом, захватывая или получая в наследство владения в разных уголках Европы, то теперь стала формироваться прочная связь между налогоплательщиками и их государем. А точнее, даже не государем, а государством, поскольку без князя такая система могла существовать, но без государственного аппарата, собирающего с населения налоги и формирующего на собранные деньги армию, нет. «Современное государство, — делает вывод Фи-

лип Боббитт, — родилось при переходе от господства князей к княжескому государству на Апеннинском полуострове в конце XV столетия — переходе, спровоцированном необходимостью» [Там же: 163].

Казалось бы, именно на Апеннинах государство должно было получить и дальнейшее развитие... Но вновь в дело вмешались внешние факторы и итальянские князья (в том числе города-государства) оказались на обочине развития. Государства могли набирать силу лишь в той мере, в какой набирали наемников. Как говорили в те годы: нет денег — нет швейцарцев (лучших солдат эпохи раннего Нового времени). Поначалу богатые итальянцы лучше других европейцев могли формировать наемные воинские части, но со временем княжеское государство на Апеннинах «стало ветшать, а затем исчезло, поскольку не могло содержать вооруженные силы под стать соперникам — более крупным и богатым, но, главное, готовым вести долгую игру и потому менее уязвимым к неверности наемных командиров» [Там же: 179]. На смену малым княжеским государствам стали приходить большие королевские монархии, которые могли собирать налоги со значительных территорий и обеспечивать безопасность этих земель крупными армиями и целыми системами сложных фортификационных сооружений, выстроенных вдоль границ.

Золотые реки

Впрочем, не все так просто. Королевские монархии существовали в Новое время наряду с империями и должны были еще выиграть у них конкурентную борьбу. На первый взгляд империи были сильнее. Скажем, император Карл V в первой половине XVI века контролировал тем или иным образом практически пол-Европы наряду с заокеанскими колониями, откуда в его казну текли золотые и серебряные реки. Однако на деле имперский ме-

ханизм формирования большого государства оказался менее пригоден для практических целей, чем монархический.

Империя фактически представляла собой лишь объединение под одной короной (на принципах личной унии) большого числа княжеских государств, тогда как монархия (в первую очередь, французская) — единый, жесткий механизм аккумуляции ресурсов со всех своих земель. Империя по разным причинам не могла равномерно выкачивать ресурсы со всех своих бескрайних пространств. Например, попытка получить больше денег из далеких Нидерландов обернулась для Испании нидерландской революцией, отделением Голландии и утратой части даже тех финансовых ресурсов, которые были доступны Мадриду ранее. А во Франции кардиналу Ришелье удалось повысить налоговое бремя, несмотря на сопротивление различных регионов. Кроме того, Ришелье все свои действия совершал в интересах государства, тогда как испанские монархи во главу угла долгое время ставили религиозные ценности. Ришелье запросто сошелся в ходе Тридцатилетней войны со шведскими протестантами, тогда как Испания не могла себе позволить никакого союза с еретиками [Там же: 208–209]. В итоге XVII век стал победоносным для Франции, расширившей свои территории и провальным для «скукожившейся» Испании.

«Стратегические инновации: дорогие фортификационные сооружения и сложные приемы пехотного огня, — отмечал Боббитт, — разрушили те формы конститутивного устройства, которые не смогли к ним приспособиться. Сначала пали княжеские государства, бюджет которых был для этого слишком скромным; затем — хрупкая габсбургская империя, составленная из таких княжеских государств. Она рисковала в решающих сражениях на столь многих театрах боевых действий, что оказалась истощена

в войнах нового типа, более динамичных и разрушительных» [Там же: 194].

Из королевской монархии, согласно теории Боббитта, произошло территориальное государство, доминировавшее в Европе примерно с Тридцатилетней войны до Великой французской революции.

Монархия организована вокруг одного человека, территориальное же государство определяется монолитностью своей территории и поэтому постоянно беспокоится о своих границах [Там же: 222].

В таком государстве появляется как возможность (благодаря постоянному притоку налогов), так и необходимость (для защиты всей территории) содержать большую постоянную профессиональную армию. Если раньше наемников собирали в связи с началом войны, причем в национальном плане это могла быть весьма разношерстная масса, то новая армия состояла из рекрутов, набранных в своей стране и понимающих, что воюют они за свою страну, а не только за хозяина, который им платит. Для монархов же в территориальном государстве хорошим тоном стало уверять, что они являются такими же слугами народа, как и вся королевская бюрократия. Типичным правителем территориального государства по Боббитту был Фридрих Великий [Там же: 247].

Народ и армия едины

Понятно, что при таком обороте событий от территориального государства было уже рукой подать до возникновения национализма. Или, в терминах Филипа Боббитта, до формирования нации-государства, «которое объединяет нацию как этнокультурную группу, чтобы она действовала именем Государства» [Там же: 261]. В новых условиях появилась возможность поставить под ружье весь народ, рез-

ко увеличив размер войска даже по сравнению с армиями Людовика XIV, Петра Великого и Фридриха Великого. Такая народная армия впервые возникла в ходе защиты революционных завоеваний во Франции, а затем трансформировалась в наполеоновскую армию, оказавшуюся, к удивлению лучших полководцев Европы, почти непобедимой.

На протяжении многих веков армия, формируемая посредством всеобщей мобилизации, была невозможна по техническим причинам: солдата надо было долго учить. Например, линейной тактике или подготовке мушкетного залпа. Но к концу XVIII века технический прогресс создал такое оружие, которое позволило Наполеону быстро поставить в строй простых французских крестьян, чей патриотизм оказался в конечном счете важнее отсутствия выучки. Другие страны начали учиться у наполеоновской армии, и это стало (помимо всего прочего) важнейшим фактором падения крепостного права в Центральной и Восточной Европе. Трудно ведь сделать патриота из крепостного крестьянина, но без него массовую армию не выстроишь.

Народная армия, в свою очередь, потребовала трансформации нации-государства. Ведь «в нем не было представительных собраний с широкой базой избирателей, которые стали бы посредниками в решении стратегических вопросов, и была сравнительно неразвита свободная пресса, которая бы просвещала публику и формировала ее мнения» [Там же: 286]. В итоге образовалась демократия, или (в терминологии Боббитта) «государство-нация». Таким образом, мы видим, что возникновение современного мира, где государство получает легитимность не от бога, а от народа, было долгим и сложным процессом, непосредственно связанным с трансформацией армий, финансов и бюрократии.

А сейчас в мире, по Боббитту, происходит преобразование государства-нации в государство-рынок. Войны XX века показали, что для победы се-

годня требуется не просто промышленно развитое, но творческое общество [Там же: 378]. В нем нужно не просто ставить под ружье миллионы безликих патриотов, но создавать больше возможностей для развития потенциала отдельного человека. «Государство-рынок является прежде всего механизмом расширения перспектив, *возможностей* в масштабах нашего воображения» [Там же: 383]. Филип Боббитт — оптимист, считающий, что долгая эволюция государства ведет в конечном счете к формированию структуры, создающей человеку творческие возможности.

ГЛАВА 7

Революции и борьба

Как возникают революции

Научный переворот Теды Скочпол

КАК ВОЗНИКАЮТ революции? Почему они вдруг в некоторых случаях прерывают спокойный ход модернизации? Можно ли их избежать и если да, то что надо для этого делать? Подобные вопросы интересуют сегодня многих не только из-за интереса к отечественной истории, но и потому, что хочется понять, насколько справедливы популярные рассуждения об опасности «Майдана» в сегодняшней России. Если отойти от досужих размышлений и обратиться к научной литературе на эту тему, то следует прочитать классическую работу ученицы Баррингтона Мура Теды Скочпол «Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая» (М.: Издательство Института Гайдара, 2017).

Слабое государство

В США книга появилась еще в конце 1970-х годов и с тех пор постоянно цитируется политологами, обстоятельно занимающимися революционной проблематикой. Возможно, это произошло потому, что Скочпол смогла перевернуть сложившиеся представления о механизмах социальных взрывов. Те представления, которые в нашем массовом сознании доминируют, как мне кажется, и по сей день.

Мы полагаем порой, что революции возникают, если народу живется плохо. И по мере того как ухудшается положение широких масс населения, вероятность открытого возмущения нарастает. С этим предположением связаны, в частности, соображения насчет опасности резкого снижения цен на нефть в современных условиях. Из этого же предположения исходила наша старая марксистская схема октябрьской революции, покоившаяся на теории абсолютного и относительного обнищания пролетариата из «Капитала».

На самом деле Россия перед революцией активно развивалась, экономика росла, создавались рабочие места, причем труд квалифицированных «пролетариев» не так уж плохо оплачивался. И все же старый режим рухнул. При этом истории известно множество восстаний, происходивших в давние времена, когда народу жилось и впрямь трудно. Однако восстания эти не приводили к падению режимов. Власть находила способы их подавить. А во многих случаях даже восстаний никаких не возникало в трудных житейских условиях. Скорее всего, потому, что страдальцы боялись царского гнева и разнообразных кар, которые принесет подавление.

Скочпол в своем анализе исходит из проблемы государства. Если оно по какой-то причине разваливается, то революция может быть успешной вне зависимости от того, действительно ли народные массы страшно бедствуют. Просто даже слабое давление на власть в такой ситуации встречает еще более слабое сопротивление. Это объясняет, в частности, способность царского правительства подавить первую русскую революцию и неспособность справиться со второй.

«Политические кризисы, дающие начало социальным революциям, — пишет Скочпол, — вообще не были эпифеноменальными отражениями социальной напряженности или классовых противоре-

чий. Они, скорее, были прямым выражением противоречий в государственных структурах старых порядков. Конфликтующие политические группы, фигурировавшие в социально-революционных битвах, были не просто представителями социальных интересов и сил. Они, скорее, формировали группы интересов в рамках государственных структур и вели борьбу за придание тех или иных форм этим структурам» [Скочпол 2017: 71]. Скажем, во Франции конца XVIII века для того, чтобы запустить революционный процесс, погубивший Старый режим, не требовалось никаких классовых противоречий: «было вполне достаточно многоаспектных политических разногласий среди правящего класса» [Там же: 134].

Впрочем, борьба политических групп, отстаивающих свои интересы, существует всегда, почему же власть именно в определенные моменты резко слабеет? Что здесь влияет, если не социальная напряженность и классовые противоречия? Скочпол в этой связи обращает особое внимание на международные процессы. Даже сильное государство может надорваться, если втягивается в трудное и дорогостоящее соперничество с соседями. Франция при старом режиме вошла в страшный финансовый кризис, «провоевавшись» в длительном конфликте с Англией. А царская Россия не выдержала Первой мировой войны. «Революционные политические кризисы возникли во всех трех старых порядках потому, что аграрные структуры пришли в столкновение с самодержавными и протобюрократическими государственными организациями таким образом, что блокировали или сковывали инициативы монархий, направленные на то, чтобы справиться с усиливающимся международным соперничеством в мире» [Там же: 192].

Распад государства может идти по разным сценариям. Скажем, Людовик XVI, пытаясь поднять налоги ради спасения бюджета, пробудил вдруг

такую активность недовольных масс (сверху до низу), что больше не смог уже взять инициативу в свои руки. Крестьяне во французской глубинке бунтовали, а элиты, собравшиеся на заседания Генеральных штатов, требовали разнообразных свобод. Что же касается Николая II, то за него никто не хотел вступаться, когда питерские рабочие устроили в феврале 1917 года бузу, которую в иных условиях представители власти легко подавили бы. Как отмечает Скочпол, «реальное важное различие между 1917 и 1905 годами заключалось в том, что происходило с армией. Тогда как в 1906 году по сути нетронутая имперская армия могла быть использована для сокрушения сельских бунтов, летом и осенью 1917 года раздутая армия, мобилизованная для общеевропейской войны, разложилась» [Там же: 254–255].

В общем, получается, что государство, скорее всего, переживет революцию, если не будет втягиваться в международные конфликты, способные высосать из него соки и породить разнообразные группы людей, не желающих его поддерживать. Однако легко ли от этих конфликтов удержаться, если «маленькая победоносная война» часто используется режимами для повышения своей популярности?

Борьба за власть, а не за идеи

Другое распространенное в нашем обществе представление о революции исходит из того, что массы идут на бой со старым режимом за великие идеи. Однако Скочпол подмечает, что профессиональные политики в ходе этих боев действуют исходя из логики борьбы за власть, а не борьбы за идеи. От старых теоретических представлений они могут легко отойти, если это нужно для построения широкой коалиции людей, недовольных властью. И в случае победы революции политики продол-

жают действовать весьма прагматично. Они укрепляют власть, а не реализуют свои старые лозунги. Поскольку после победы им часто бывает трудно реализовать мечты угнетенных масс из-за вызванного революцией экономического развала, приходится ради сохранения власти прибегать к непопулярным мерам.

Если эта теория верна, то в стремлении понять, возможна ли революция в той или иной стране в то или иное время, следует смотреть не столько на настроения широких масс населения, сколько на состояние власти. Разодрана ли она внутренними конфликтами? Популярен ли вождь? Готовы ли силовики стрелять в народ или даже маленькая толпа столичных жителей, собравшихся на центральной площади, может вынудить правителей пойти на уступки?

У политологов такой подход весьма популярен, поскольку он рекомендует нам в первую очередь изучать противоречия между различными группами интересов. Как во власти, так и среди революционеров. А господствующие идеологии, настроения широких масс и экономическое положение страны отходят на второй план вместе с исследованиями психологов, социологов, культурологов и экономистов.

Потерялся город

Тем не менее Скочпол в своей книге не может пройти мимо массовых движений времен революции. И здесь у нее появляется трудно объяснимая странность. Она почему-то во всех случаях объявляет по-настоящему значимыми лишь крестьянские движения. Город Скочпол вообще не исследует, и настроения промышленных рабочих оказываются чем-то маловажным, затерявшись в треугольнике «восставшие крестьяне — профессиональные революционеры — распадающееся государство».

Применительно к Китаю — это, наверное, правильный подход. Применительно к Франции конца XVIII века вряд ли. Роль Парижа в Великой французской революции следует признать достаточно важной, даже если не преувеличивать значение взятия Бастилии. И совершенно невозможно игнорировать ситуацию в Петрограде февраля 1917 года, обращая внимание лишь на войну крестьян с помещиками за землю. Крестьянская война в России на многое повлияла и заставила, в частности, большевиков (точно по теории Скочпол) отойти ради борьбы за власть от строгой марксистской схемы, отдав землю земледельцам по эсеровскому сценарию. Но вряд ли можно объяснить события Февраля, проигнорировав город. А без февральского кризиса в Петрограде не было бы у нас и всего остального.

Похоже Скочпол, интересовавшаяся в основном Китаем, а не Россией, подправила историю ради верности своей «крестьянской схеме». Более того, раздел книги о маоистском Китае — просто ужасающий. Это труд не серьезного ученого, а наивной студентки с левацкими увлечениями, возникшими на бунтарской волне 1968 года. Например, Скочпол, полностью игнорируя факты, умудрилась оценить маоистское сельское хозяйство как экономически эффективное и способствующее существенному росту уровня доходов и благосостояния [Там же: 480–481].

Возможно, разгадку такой противоречивости книги «Государства и социальные революции» дал Мартин Малиа:

Свои домыслы Скочпол объясняет «приверженностью демократическому социализму», которая во время волнений 1960-х годов и вьетнамской войны пробудила у нее глубокий интерес к Восточной Азии. В результате она спроецировала гегемонию революционного крестьянства, так восхитившую ее в Китае, на «буржуазную революцию» во Франции, а затем на «пролетарскую революцию» в России. Однако к Франции такая

проекция совершенно неприменима, поскольку здесь именно знать и буржуазия, а вовсе не крестьяне низвергли монархию и сословную систему [Малиа 2015: 365].

Впрочем, явные провалы не отрицают общего значения книги Теды Скочпол. Важность ее вывода о роли слабого государства в революции трудно переоценить. Но для того, чтобы объяснить позицию широких масс, разрушающих старый режим в ходе революционных боев, следует все же всерьез думать о том, почему горожане в кризисной ситуации настроены против режима в целом, тогда как крестьяне бунтуют лишь ради дополнительного клочка земли или ограничения помещичьего самовластия.

Нищета как нормальное положение дел, *или Пять условий революции Джека Голдстоуна*

Провести оценку того, насколько вероятна революция в сегодняшней России, можно на основе небольшой популярной книги Джека Голдстоуна «Революции. Очень краткое введение» (М.: Издательство Института Гайдара, 2017), выпущенной как раз накануне столетнего юбилея наших бурных революционных событий.

Казалось бы, революция — это очень просто.

Широко распространенное и при этом ложное мнение гласит, что революции по сути представляют собой акты негодования и происходят тогда, когда люди говорят: «Нам совсем плохо и мы больше не будем терпеть». Однако исследователи показывают, что эта точка зрения ошибочна [Голдстоун 2017: 27].

В истории есть много примеров, когда терпеть, казалось бы, уже невозможно, однако революций не происходит. Подобное положение дел может

обращиваться не революцией, а апатией из-за отсутствия веры в возможность что-либо изменить собственными силами. Люди могли адаптироваться к жизни в нищете, «затянуть пояса» или эмигрировать, но не подниматься на восстание. «Почти на всем протяжении истории крайнее неравенство и глубокая нищета оправдывались религией и традицией как нечто естественное и неизбежное. С ними смирялись и даже признавали их в качестве нормального порядка вещей» [Там же: 28].

На самом деле «революции чаще происходят не в самых бедных странах, а в странах со средним уровнем дохода» [Там же: 27]. Голдстоун пишет, что «исследователи революций согласны друг с другом относительно пяти элементов, которые считаются необходимыми и достаточными условиями неустойчивого социального равновесия» [Там же: 35]. Рассмотрим их здесь, изменив лишь слегка последовательность изложения темы автором книги о революциях.

Возмущение есть, но возмущающихся не видно

Первый элемент — «революционная мобилизация, опирающаяся на нарастающее народное возмущение несправедливостью. Это возмущение не обязательно оказывается следствием крайней нищеты или неравенства. Люди скорее чувствуют, что теряют положение в обществе по причинам, которые нельзя считать неизбежными и в которых нет их вины» [Там же: 36].

За последнее время сформировалось ощущение, будто именно так обстоит дело в сегодняшней России. Одна часть населения считает несправедливой пенсионную реформу. Другая — возмущена тем, как происходят выборы. Третья — обращает внимание на растущую коррупцию. Четвертая — грустно иронизирует насчет арестов инвесторов, происходящих чуть ли не каждый день. Пятая — в шоке

от сгорающей на глазах сибирской тайги. А шестая полагает, что власть находится в руках либералов, продающих врагам Россию с потрохами.

Все меньше остается людей, которых все вполне устраивает. И если исходить из существующего у многих из нас школьного советского представления о революции, которую устраивает народ, недовольный своей жизнью, то кажется, будто перемены в России уже не за горами. Однако если исходить из современных научных взглядов, обобщенных Голдстоуном, то ситуация выглядит несколько иначе.

Второй элемент — «растущее отчуждение и оппозиционные настроения в среде элит <...> Отчуждение возникает, когда та или иная группа элиты чувствует, что ее систематически и несправедливо оттесняют и лишают доступа к правителю» [Там же: 35–36]. Подобное ощущение сегодня возникает, конечно. Бизнес не доволен действиями силовиков и огорчается, что некому оградить его от наездов. Бюрократия все чаще попадает под антикоррупционную «мельницу» и беспокоится за свои доходы и за свое положение. Отчуждение порождает недовольство, но оно не может быть выражено открыто. Представители элит не возмущаются политической системой и тем более не помогают оппозиционно настроенным гражданам эту систему раскачивать. С одной стороны, элитам есть что терять даже в том случае, когда они считают себя оттесненными от руля. С другой стороны, элиты понимают, как быстро в отношении них будут предприняты жесткие действия, если они, скажем, станут давать деньги оппозиции, поддерживать протестующих открытыми высказываниями и публикациями или тем более создавать политические партии и движения.

Вполне возможно, что через какое-то время ситуация в элитах переменится, но сейчас все механизмы государственной системы действуют вполне исправно. В основных российских СМИ никакая оппозиция невозможна. Бизнес дает деньги лишь системным

политическим силам. Росгвардия с полицией энергично пресекают «беспорядки». Все хоть сколько-нибудь заметные фигуры во властных рядах демонстрируют стопроцентную лояльность президенту.

Третий элемент — «проблемы в экономической и фискальной сферах, мешающие поступлению ренты и налогов в распоряжение правителей и элит и снижающие доходы всего населения в целом» [Там же: 35]. Нет сомнений, что проблемы в экономике России постепенно нарастают. Фактически она находится в длительной стагнации. Ничтожный рост ВВП, пенсионный кризис и повышение НДС являются ярким свидетельством этого. Реальные доходы населения несколько лет снижались и вряд ли смогут возрасти в течение ближайшего времени. Однако масштаб этих проблем совершенно несопоставим с масштабом проблем многих из тех стран, где в прошлом происходили мощные революции.

Экономические и особенно фискальные проблемы важны не столько сами по себе, сколько в связи с политикой. Если из-за отсутствия денег власть не может управлять страной так, как раньше, она начинает вести переговоры с различными группами населения о возможных переменах. Если, скажем, госбюджет безнадежно увяз в долгах, то это будут переговоры с бизнесом и политиками о повышении налогов. Если забастовки разваливают экономику, это будут переговоры с профсоюзами о прекращении стачечной активности. Если страну охватила гиперинфляция, требуются совместные переговоры с бизнесом и профсоюзами о замораживании цен и зарплат на фоне перехода Центробанка к умеренной денежной эмиссии. В сегодняшней России нет ни высокой инфляции, ни активного забастовочного движения, ни такого бюджетного кризиса, который нельзя было бы решить чисто бюрократическими методами (повышением налогов в сочетании с сокращением расходов). Экономика России плоха, но она не создает проблем в управлении.

«Печеньки» революциям не помогут

Четвертый элемент — «идеология, предлагающая убедительный и разделяемый всеми нарратив сопротивления, объединяющая недовольство и требования населения и элит, устанавливающая связь между различными группами и способствующая их мобилизации» [Там же: 38]. Ничего подобного сегодня в России нет. Даже близко страна не подобралась к такой ситуации, которая отвечала бы этому условию. Причем происходит это по двум причинам.

Во-первых, сегодня вообще нет таких массовых духоподъемных идеологий, какие вдохновляли на большие революции в прошлом. Ни религиозные идеи, ни коммунистическая утопия, ни мысль о формировании нации не способны в европейской стране, каковой, бесспорно, является Россия, объединять людей и наполнить их энтузиазмом. В исламских странах религиозные идеи по-прежнему вдохновляют широкие народные массы на протест, но это явно не наш случай.

Во-вторых, протестующим людям в России трудно объединить свои силы даже на базе разумного компромисса, удобного для представителей различных взглядов. Если в странах Центральной и Восточной Европы тридцать лет назад подобным компромиссом стало желание следовать европейским ценностям, то у нас сегодня они отнюдь не всех привлекают. Для кого-то Европа — это образец цивилизованного общества, а для кого-то — источник слабости, бюрократизации, общественного разлада. Кто-то считает, что наши проблемы сводятся к отсутствию демократии, а кто-то — к тому, что власть пока еще не закрутила гайки по-настоящему.

И в этой связи надо взглянуть на пятый элемент — «революции необходима благоприятная международная обстановка» [Там же: 39]. Конечно, здесь речь не идет о вторжении иностранных

войск для подавления или поддержки революции (хотя такое в истории случалось). И даже о раздаче иностранных «печенок» протестующим всерьез говорить не стоит. Но международная обстановка может влиять на наши дела по-другому. И это влияние пока явно не способствует переменам.

Существуют ли успешные зарубежные образцы, глядя на которые можно было бы сказать, что революция способствует прогрессу? «Успехи» Украины явно убедят сегодня немногих. С Грузией ситуация сложнее, поскольку положение дел в полиции там действительно стало лучше благодаря реформам Михаила Саакашвили. Но в целом и Грузию сегодня нельзя продемонстрировать россиянам как образец успеха. Она по-прежнему заметно беднее нашей страны, живущей благодаря нефти и газу.

Вместе с тем авторитарный Китай за последние четыре десятилетия был мировым лидером по темпам экономического роста. Упрощенный взгляд на проблему, свойственный у нас многим обывателям, наводит на мысль о том, что конструктивная автократия лучше деструктивной демократии. На самом деле автократия в Китае создает массу проблем, которые в обозримой перспективе серьезно скажутся на развитии этой страны. Но в данный момент китайский опыт, скорее, подсказывает обывателю, что революции надо подавлять (как это делалось в 1989 году в Пекине на площади Тяньаньмэнь), а не поощрять.

Сейсмоопасная зона

Таким образом, чтение книги Голдстоуна наводит на мысль, что в России еще довольно долго будет сохраняться та же картина, которую мы видим сейчас.

Пока элиты едины и лояльны режиму, а большинство групп относительно довольно жизнью и предпочитает заниматься собственными де-

лами, режимы могут оставаться стабильными в течение столетий вопреки любым трудностям и кризисам [Там же: 31].

Ну, насчет столетий, это, конечно, не про современность. Это у Голдстоуна, скорее, характеристика мира, существовавшего до начала Нового времени, и связанных с ним революций. Но в том, что режимы в этих условиях могут существовать десятилетиями, Голдстоун, по-видимому, прав.

Нельзя, конечно, исключить перемен. Ведь «революции подобны землетрясениям. Геологи умеют выявлять зоны повышенного риска, и мы знаем, что именно там землетрясения, скорее всего, и произойдут. Однако <...> сказать заранее, что случится, скорее всего, невозможно» [Там же: 34–35]. Россия является «сейсмоопасной зоной» в политическом смысле, но в данный момент, если следовать методологии Голдстоуна, нет достаточных оснований рекомендовать людям выбегать из домов с вещами или прятаться в сельской местности, где катастрофические обрушения порождают меньшее количество жертв.

Можно ли не попасть под локомотив революции

Мартин Малиа и его европоцентричная трактовка истории

В книге «Локомотивы истории. Революции и становление современного мира» американского профессора Мартина Малиа (М.: РОССПЭН, 2015) дается подробный анализ ключевых политических катаклизмов Нового времени, начиная с гуситских войн и заканчивая русской революцией. Не все из этих катаклизмов у нас принято считать именно революциями. Но Малиа видит в них общие черты. А разделяет при этом на революции, завершившиеся и прерванные. Что общего в тех случа-

ях, когда государство попадает под «локомотивы истории» и оказывается раздавленным? И что общего в тех случаях, когда в последний момент удастся дернуть стоп-кран?

Базовая модель европейской революции

Если Теда Скочпол, о которой мы уже говорили, подошла к анализу революции как политолог, разбирая вопрос, по какой же причине вдруг рушатся старые режимы в определенный момент, то Мартин Малиа, скорее, интересуется проблемой в широком смысле: а почему вообще происходят революции? Теория Скочпол ближе к конкретной практике: разумный правитель порой может ее даже использовать в своей деятельности, стараясь свести к минимуму причины, порождающие неспособность властей сопротивляться действиям революционеров. Малиа же отвечает на вопрос пытливых научных умов о том, как происходят в недрах общества такие потрясения, что оно вдруг «слетает с катушек» и ударяется во все тяжкие, устремляясь от привычного мира к какому-то светлому будущему.

Автор «Локомотивов истории» полагает ошибочным мнение, будто «при наличии определенных условий революции могут происходить в любом месте и в любое время» [Малиа 2015: 8]. Революция в его понимании — это не просто бунт недовольных, а форма становления современного мира. Обычное восстание, каковых было много с истории человечества, революцией не является.

«Феномен революции, — пишет Малиа, — имеет европейское происхождение подобно тому, как европейским творением является современная цивилизация вообще, как бы несправедливо это ни казалось всему остальному человечеству» [Там же: 10]. Лишь в XX веке то явление, которое мы называем революцией, охватило большинство стран «третьего мира» [Там же: 16]. И произошло это, по мнению

Малиа, именно потому, что этот мир вошел в сферу европейского влияния [Там же: 8], то есть стал развиваться в рамках той логики, которую раньше продемонстрировали европейские народы.

Базовая модель европейской революции, которую Малиа разбирает на примере гуситского движения в самом начале своей книги, выглядит примерно так. Часть элиты требует существенных реформ. Другая часть, равно как и монархия, колеблется. Именно этот своеобразный «раскол элит» втягивает в конфликт городскую верхушку — по сути, ту силу, «которую позже будут называть „гражданским обществом“» [Там же: 69]. Затем радикалы поднимают городской плебс на захват власти в столице. А когда власть рушится, на политическую сцену выходят и крестьяне. Таким образом, в революцию последовательно втягивается все общество. А всеобщая мобилизация поляризует это общество «на лагеря консервативных опасений и радикальных ожиданий, ведущих игру друг против друга» [Там же: 70]. Поначалу доминируют идейные радикалы, так как «лагерь надежды мотивирован сильнее лагеря страха. <...> Однако после победы устранение общего врага, усталость от войны и угасание милленаристского пыла» [Там же] усиливают умеренных и они в союзе с откровенными консерваторами ликвидируют экстремистов.

В большей или меньшей степени эта картина повторяется во всех европейских революциях, но если высшие слои активно идут на союз с низшими, эти революции развиваются «по максимуму», если же подобный альянс в какой-то момент разваливается, революционное движение притормаживает.

От традиции к современности

Все это, впрочем, лишь внешняя схема, очень важная с исторической и политической точки зрения. Но в книге излагается и общая логика европей-

ского революционного движения. Суть ее примерно такова. Есть два типа общества: традиционное и современное. Они коренным образом отличаются друг от друга по формам существования людей, по мотивам их поведения, по способу объяснения причин нашего существования в этом мире. Переход от традиции к современности (который обычно называется модернизацией) не всегда порождает революции. Но в некоторых случаях дело без них не обходится. И надо понять почему.

В традиционном обществе люди считают, что мир создан божественным промыслом таким, каков он есть. Человек не задумывается о причинах бытия, не пытается мир изменить, не борется за свою свободу. Традиционный мир иерархичен: всегда в нем есть те, кто наверху, и есть те, кто внизу. Традиционный мир корпоративен: люди в нем выживают только группами, поддерживая друг друга и умиряя новаторов-одиночек, которые не готовы жить, как все.

В подобном мире, разумеется, не могло идти речи о революции, равносильной, по сути, богоухльству. В этой связи часто цитируются слова Святого Павла: «Всякая душа, да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» [Там же: 30].

Традиционный мир может строиться по принципу рабовладельческого полиса, феодального государства, восточной деспотии или империи, объединяющей многие этносы. В любом случае это — традиционное общество, а всякие марксистские заморочки с так называемыми способами производства или общественными формациями, восходящими от первобытности к коммунизму, лишь затемняют суть.

В современном демократическом обществе, которое иногда называют государством всеобщего благосостояния, люди ведут себя иначе, чем в тра-

диционном. Они могут верить в Бога, но полагают при этом, что мир нужно менять в лучшую сторону, отказываясь от старых традиций. Они задумываются об истоках бытия и пытаются сделать что-то такое, что наделит наше существование смыслом. Они не живут по правилам, заданным отцами и дедом, но стремятся добиться большего, выделиться из общей массы. На смену корпоративности приходит индивидуализм. Разрушаются рамки, ограничивающие инициативу, а законы государства защищают яркого индивида от возможной агрессии безликой толпы.

Понятно, что момент перехода от традиции к современности очень сложен и болезнен для многих. Какое-то время в обществе сосуществуют два мира, живущих по разным законам. И они не могут не конфликтовать. Человек из другого мира кажется толпе либо развращенным нарушителем устоявшихся норм («либерастом»), либо, напротив, тупым быдлом («ватником»), стоящим на пути прогресса. Если конфликт удастся как-то урегулировать, то модернизация осуществляется мирно. Если же нет, то происходит революция. И путь к современному миру проходит через жесткую ломку старых институтов (правил игры), через кровь и жестокие расправы с теми, кому суждено было на данном этапе развития проиграть. «Если смотреть с такой точки зрения, — пишет Малиа, — подобный переход — обычно ускоренный посредством насилия и освящаемый кровью мучеников — по самой своей природе возможен лишь однажды в истории каждого конкретного „старорежимного“ государства» [Там же: 309]. Проще говоря, нет ни буржуазных, ни социалистических революций, ни тем более революций рабов (был в «сталинской науке» такой антинаучный термин). Существует лишь одна жесткая ломка на пути от традиции к современности. Другое дело, что эта «ломка традиции» может проходить в несколько этапов на про-

тяжении многих десятилетий, поскольку довольно трудно урегулировать весь комплекс социальных противоречий за раз.

Радикалы и умеренные

Тем не менее иногда это все же возможно. В разных странах при разных обстоятельствах революции растягивались на разные сроки. Какие же обстоятельства должны сойтись воедино, чтобы режим рухнул? Малиа отмечает, что революция происходит тогда, когда «все или почти все значимые социальные группы нации выступают против монархии либо одновременно, либо в очень быстрой последовательности друг за другом» [Там же: 328]. Иными словами, если представители старого режима так «мастерски» управляют страной, что постепенно настраивают против себя абсолютно всех, то происходит революция. И не спасают ни пропаганда, ни харизма, ни «вся королевская конница, вся королевская рать». Если же против режима спланируется лишь часть значимых групп интересов, то революцией это назвать нельзя и у правителей появляется шанс выжить, урегулировав тем или иным образом конфликты. Так было, скажем, во времена Жакерии, когда выступило крестьянство и с ним удалось расправиться. Так было во время Фронды, когда выступила аристократия и с ней удалось в конечном счете достичь компромисса.

В принципе «социологический подход» (как можно, наверное, его назвать) Мартина Малиа в этой части анализа похож на политологический подход Теды Скочпол. Хотя по большому счету революция — это важное явление, возникающее в процессе модернизации и зависящее от состояния доходов и умов широких масс населения, непосредственным толчком к революционному кризису является распад государства, то есть неуклюжая политика властей, умудряющихся своими действиями

настроить против себя все серьезные силы общества и, таким образом, теряющих поддержку тех, кто в иной ситуации готов был бы их защитить.

Высшие слои нечасто готовы выступать против власти одновременно с низшими. Малиа приводит в своей книге как конкретные исторические примеры успешных революций, сплотивших различные группы интересов, так и примеры революций, провалившихся по причине раздробленности революционных сил. Яркий пример провала — это, в частности, германская реформация XVI века, когда крестьяне под руководством Томаса Мюнцера поднялись на борьбу, но не были поддержаны другими группами, поднятыми на реформацию Мартином Лютером. Вzbунтовавшихся крестьян консервативные силы опасались даже больше, чем католических имперских властей, с которыми боролись. А, скажем, в русской революции XX века было все совсем по-другому: «кадеты придерживались гибельной политики „слева нет врагов“ в отношении революционеров-террористов» [Там же: 311]. В конечном счете самые разные группы интересов легко отказались от самодержавия в 1917 году, и дальше революцию было уже не остановить. Радикалы смогли уничтожить всех соперников, не нашедших возможности объединиться, и рвались вперед до тех пор, пока сталинизм не нашел возможности уничтожить их самих.

Сад, нефть или озеро?

*Чарльз Тилли размышляет о том,
что такое демократия*

Суть проблемы, которой посвящена книга американского социолога Чарльза Тилли «Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 гг.» (М.: Изд. дом ВШЭ, 2010) можно, наверное, выразить одной краткой фразой из первой главы. «Пока Франция

давала уроки революции, Англия давала уроки демократии» [Тилли 2010: 8]. И впрямь, с конца XVIII по конец XIX века французы сотворили четыре разрушительных революции. А у англичан в эту же эпоху осуществлялось постепенное расширение избирательных прав населения.

От альянсов к расширению прав

Наши отечественные авторы часто смотрят на Запад как на единое целое, стеля по поводу безнадёжного отставания России от Европы. Подобный подход хорош только для lamentаций, но не для серьёзного анализа и не для размышлений о том, как нам из отставания выбираться. Историческая социология в США и ряде ведущих европейских государств работает принципиально по-другому. Специалисты там хорошо знают, насколько исторический путь одних стран, ставших ныне успешными, был непохож на путь других стран, столь же преуспевающих. У одних он был довольно тернист, у других — сравнительно гладок. Задача науки состоит в том, чтобы понять, в чем причины различий и можно ли использовать исторический опыт для содействия сравнительно гладкому пути модернизации у нас.

Демократия, согласно мнению Тилли, возникает в результате борьбы. Различные борющиеся стороны, скорее всего, даже не ставят себе задачи демократизации. Они стремятся усилиться, а для этого вступают в альянсы. Например, различные представители элиты могут искать поддержки в борющихся за свои права низах. В известном смысле можно сказать, что демократия возникает случайно. Не потому, что ее хотели, а потому, что логика альянсов заставляла сильных мира сего предоставлять права широким народным массам.

Однако альянсы эти возникали по-разному в зависимости от конкретных условий, сложившихся

в той или иной стране в то или иное время. Поэтому не существует какого-то единого закона или единого рецепта всеобщей демократизации. К ней могут вести разные пути.

Благоприятствующие демократизации обстоятельства существенно меняются от эпохи к эпохе и от региона к региону, являясь производными от предшествующей истории, международной обстановки, моделей политической организации и господствующих социальных отношений [Там же: 15].

Демократия — не месторождение нефти, которое может сформироваться только в очень специфических условиях за века или даже за тысячелетия. Но демократия — и не сад, который опытные садоводы создают за короткое время в любой среде. Скорее она напоминает озеро, крупный водный объект, окруженный сушей. Озера образуются по-разному — в результате заполнения оставленных ледником впадин или вулканических кратеров, возникновения преград на реках, целенаправленных человеческих действий и т. д. [Там же: 55].

Этот вывод Тилли весьма благоприятен для России, поскольку показывает, что демократия — это вовсе не какое-то уникальное западноевропейское сочетание обстоятельств, непригодное к воспроизводству в иной среде. И этот вывод одновременно неблагоприятен для сторонников экспорта демократии (вроде людей из команды Джорджа Буша младшего), поскольку показывает, что по стандартной схеме ее не сварганишь. К демократии должен подвести исторический путь страны.

Французский путь

То, что к демократии могут вести разные пути, обычно признается наукой. Но вот в чем Тилли подчеркивает свое «особое мнение», так это в при-

знании важнейшей роли народной борьбы. Восстания, революции, широкое давление снизу иногда рассматриваются специалистами как помеха демократизации, как обстоятельство, вносящее хаос и порождающее кровь. Тилли же утверждает, что без борьбы нигде в Европе после 1650 года демократия не рождалась на свет. Другое дело, что постепенно произошел переход от жестоких расправ низов над верхами к таким цивилизованным формам протеста, как митинги, демонстрации, забастовки [Там же: 46–47].

Тилли начинает свой анализ с 1650 года, поскольку считает, что в тот момент еще «не существовало ни одного национального режима, который можно было считать демократическим» [Там же: 105]. Зародыш демократии мог быть среди олигархии купеческих городов и в крестьянских общинах, но не в государствах.

С 1653 года французский политический режим становится все более авторитарным. «Корона весьма преуспела в разоружении потенциальной оппозиции, наращивая свои возможности принуждения и регулируя изъятие ресурсов у подданных» [Там же: 163]. Но бесконечно изымать и растрачивать ресурсы невозможно. К концу XVIII века французская монархия оказалась истощена долгами, коррупцией и неспособностью осуществить реформы. Вновь возникла оппозиция. А за ней пришла революция.

Раньше у нас считалось, что революция приносит демократию. Но это неверно. Серьезное изучение хода революционных событий во Франции показывает, что демократии после падения монархии больше не стало. Скорее, дела ухудшились, режим якобинцев стал предельно жестоким и репрессивным. Поэтому в наше время многие полагают, что лишь подавление революции приносит демократию. По мнению Тилли, и это неверно. Демократию порождает борьба. То есть, если вы хотите,

чтобы эта борьба не шла постоянно, вам надо договариваться с противниками. Не прошло и ста лет с момента первой революции, как Франция решила эту проблему. С 1870 года возврата от республики к монархиям и империям уже не было.

«Опыт Франции решительно противоречит обычным объяснениям демократизации и дедемократизации, — отмечает Тилли в другой своей книге с лаконичным названием «Демократия». — Он категорически опровергает представления о демократизации как о постепенном, продуманном и необратимом процессе, как о готовом наборе политических изобретений, которые народ просто применяет там и тогда, где и когда он к этому готов. Напротив, опыт Франции демонстрирует, что необходимы борьба и толчок как для построения демократии, так и для отхода от нее» [Тилли 2007: 51]. В общем, надо сначала ввязаться в битву за демократию, а там посмотрим, сказал бы, наверное, какой-нибудь демократ, желающий перефразировать Наполеона.

Британский путь

В Британии, на первый взгляд, дела обстояли похожим образом. Тилли весьма критически замечает: «несмотря на то, что британцы всегда гордились своей способностью к компромиссам и урегулированиям, демократизация на Британских островах, как и повсюду, была результатом ожесточенной борьбы» [Тилли 2010: 219]. Движение к демократии началось в XVII веке с конфликтов, еще более жестких, чем те, которые в дореволюционную эпоху были во Франции.

С одной стороны, Славная революция 1688 года способствовала установлению новых институтов (правил игры), при которых собственность была защищена лучше, чем раньше, и бизнес получил возможность для развития. В конечном счете это

развитие обеспечило технический переворот и промышленную революцию. Но демократической ту систему, которая установилась в XVIII веке, назвать было нельзя. Правом голоса обладало лишь ничтожное меньшинство населения, а католики страдали от притеснений со стороны господствующей англиканской церкви.

Борьба католиков за свои права положила, согласно мнению Тилли, начало демократизации. А после эмансипации католиков в борьбу вступили широкие массы населения, лишенные права голоса. Новой революции, однако, не случилось. Логика утвердившейся в Британии парламентской борьбы привела к тому, что некоторые парламентарии оказались склонны вступать в альянсы с народными лидерами для того, чтобы противодействовать влиянию конкурирующих фракций. А это, в свою очередь, способствовало тому, что элиты стали идти на уступки массовым низовым движениям. В частности, Британия была первой европейской страной, в которой оказались легализованы некоторые формы забастовочной активности. Она обогнала Францию в этом деле на сорок лет [Тилли 2019: 224].

Вследствие всего этого народные массы вдруг обнаружили, что могут сравнительно мирными средствами оказывать воздействие на политику. Вместо баррикад, перекрывающих парижские улицы, в Британии стали формироваться общественные движения. Забастовки и демонстрации влекли за собой меньше опасностей для их участников, чем революционное насилие, но в то же время они оказывались весьма эффективны, поскольку соперничающие между собой элиты вынуждены были в условиях демократии (даже цензовой) прислушиваться к бурлению низов. В ответ на мирные акции протеста власти осуществили несколько реформ, благодаря которым право голоса получала каждый раз все большая доля населения страны.

В конечном счете все завершилось одним и тем же. Демократия пришла как во Францию, так и в Британию. И старые агрессивные методы борьбы народа за свои права сменились методами, характерными для демократий — митингами, шествиями, памфлетами, забастовками, избирательными кампаниями и воззваниями к прессе. Но достигнуто это было в разных странах в разное время и разными методами. Тилли в своей книге разбирает еще случай Швейцарии — страны, про которую мы привыкли думать, как про тихую демократическую гавань. Но на самом деле, она шла к демократии в 1830–1848 годы через острые конфликты, развившиеся в классовой и межконфессиональной борьбе, а также в борьбе между кантонами.

Впрочем, конфликты не бесконечны. В книге «От мобилизации к революции» Тилли обращает внимание еще и на интересный шведский опыт. «Шведские забастовки последовательно убывали по мере роста членства в профсоюзах» [Там же: 228]. Связано это было с высокой централизацией шведского профсоюзного движения, которое набрало такую силу, что элитам выгоднее было превентивно договариваться с рабочими об уступках, даже не доводя дело до забастовок. Такая «идиллия», правда, является лишь завершающим этапом борьбы. Если судить по книгам Тилли, к ней вряд ли можно перейти без длительного противостояния.

Россию Чарльз Тилли в своей книге о борьбе тоже рассматривает, определяя крах СССР, как следствие стремления части советских элит заручиться поддержкой народа в ситуации все более интенсивной борьбы широких масс, происходившей в перестроечные годы. С этой оценкой вполне можно согласиться. Хотя распад Советского Союза у нас обычно трактуют чуть ли не как борьбу всех против всех, на самом деле наша картина полностью вписывается в теорию Тилли.

Революционный экстаз

Шмуэль Эйзенштадт и связь общественного устройства с революцией

Израильский социолог *Шмуэль Эйзенштадт* является одним из классиков теории модернизации. Но в непосредственной связи с его исследованиями этого процесса находится серьезный анализ революций, осуществленный в книге «Революции и преобразования обществ. Сравнительное изучение цивилизаций» (М.: Аспект Пресс, 1999). Автор полагает, что причины революции нам в целом известны — классовый конфликт, недовольство в элитах, фрустрация, связанная с завышенными ожиданиями. Эйзенштадт не стремится добавить к этому набору важных факторов преобразований что-то новое. Он хочет выяснить, «в каких обстоятельствах и при каких условиях подобные причины приводят к тому, что было названо революциями и революционными преобразованиями?» [Эйзенштадт 1999: 40]. И для этого он проводит в своем исследовании не только изучение самих революций, но также тех особенностей обществ, которые могут к революциям приводить или не приводить. Книга Эйзенштадта, к сожалению, написана чрезвычайно тяжелым наукообразным языком, способным, скорее, отпугнуть, чем привлечь, читателя (возможно, и перевод подкачал), но, бесспорно, она входит в число классических работ на эту тему.

От царубийства к революции

Восстания, недовольства, социальный протест существовали в обществе и до эпохи Нового времени. Элиты могли вступать между собой в схватку за власть, широкие массы населения — выражать недовольство эксплуатацией или налоговой политикой государства, религиозные секты — бороться

ся за выживание в условиях репрессий со стороны приверженцев традиционных верований. Однако все эти движения до поры до времени не предполагали радикального изменения институтов, не предполагали смены тех «правил игры», в соответствии с которыми функционирует общество. Восставшие стремились сменить плохого правителя на хорошего, или даже просто поставить «настоящего царя» вместо «не настоящего». Победители становились довольны результатами своих действий, проигравшие таили злобу и готовились отомстить. Но в целом мир оставался примерно таким же, каким был до восстания. Преобразования Нового времени отличались от этих смут, бунтов, погромов тем, что вместо простого цареубийства была предложена революция, сопровождающаяся сменой социальной системы и введением новых институтов — тех, которые общество в тот момент времени считало правильными. «Иначе говоря, — пишет Эйзенштадт, — тенденция заменить одного (плохого) правителя другим (хорошим) и предать забвению восстания против плохих правителей уступила место понятию <...> о переустройстве легитимными представителями сообщества всего социополитического порядка, его основ и предпосылок» [Там же: 224–225].

Революции Нового времени порождали своеобразный экстаз в восставшем народе. Революционеры не просто стремились к захвату власти, к улучшению жизни общества или к отмщению власть имущим за прошлые грехи. В революции, по словам Эйзенштадта, сливались трансцендентное и мирское — реальное общество и своеобразное общество-двойник, формировавшееся в теоретических (причем в значительной степени утопических) представлениях мыслителей, прокладывавших на бумаге новые пути в будущее [Там же: 227]. Рушились традиционные установки, традиционные основы легитимности власти. На смену им прихо-

дила новая легитимность — не от Бога, а от народа, от системы народного представительства.

Думается, каждый, кто помнит великий роман Андрея Платонова «Чевенгур» и его персонажа — странствующего рыцаря русской революции Степана Копенкина, совершающего разнообразные подвиги и поклоняющегося «прекрасной деве Розе Люксембург», поймет, в чем состоит революционный экстаз. В поведении таких героев, как Копенкин, и впрямь проявляется особый дух социальных перемен.

Возможен ли неревolutionный путь?

Но революция, по Эйзенштадту, происходит не всюду и не всегда.

Несмотря на то что обществам свойственны социальные конфликты, инакомыслие, восстания, изменения и преобразования, составляющее образ подлинной революции уникальное сочетание элементов, как в традиционных, так и современных системах, — это лишь один из нескольких путей изменений. <...> Комбинация символических и структурных характеристик, которая отличает настоящие, классические революции, возникает лишь в исключительных обстоятельствах [Там же: 379].

Яркий пример избирательности в этом вопросе — это революция социалистическая.

Подобно великим религиям и большинству революционных движений, которые возвестили начало Нового времени в Европе, и в противоположность повстанческим движениям, инакомыслию или миллениаризму других эпох социалистические движения соединяли протест, восстание, инакомыслие с активной политикой строительства институтов и формирования центров [Там же: 237].

С точки зрения Эйзенштадта, развитие социализма в Европе (и, соответственно, возникновение социалистических революций) было не проявлением каких-то общемировых тенденций, а «следствием определенной специфики европейской цивилизации Нового времени и развитием некоторых противоречий, свойственных этому региону» [Там же: 239]. С одной стороны, Великая Французская революция провозгласила отказ от системы насилия старого эксплуататорского мира и внедрила в массовое сознание идеи свободы, равенства и братства. Но с другой — промышленная революция в ту же эпоху привела к обострению классовых конфликтов, усилению неравенства, а также другим сложным экономическим и социальным пертурбациям. «Социализм стал реакцией на уникальные проблемы и противоречия» [Там же]. Но в дальнейшем, поскольку европейская цивилизация стала активно распространяться по всему миру (как вследствие колонизации этого мира европейцами, так и вследствие соблазнительности европейских экономических успехов для Азии, Африки и Латинской Америки), распространился по миру и социализм.

С этим, наверное, можно согласиться. Европа «экспортировала» за рубеж некоторые свои разрушительные идеи вместе с идеями созидательными. Но если представить себе, что промышленный переворот произошел сначала в Китае или Аргентине, разве не возникло бы там острого противоречия утопических идей всеобщего счастья, равенства и братства с реальными социально-экономическими проблемами, вызванными быстрой модернизацией? Мы не можем проверить, конечно, что было бы, если бы экономическая история человечества пошла по-другому, но трудно понять, в какой ситуации переход от традиции к современности мог бы пройти без революционных эксцессов или без ав-

торитарных режимов, подмораживающих общество, созревшее для острого конфликта различных групп.

Если исключить Россию...

Эйзенштадт прямо настаивает на том, что революции совсем не обязательны, а порождены лишь спецификой отдельных стран, что это, по большому счету, мутация [Там же: 386]. «Если исключить Россию, Китай и, возможно, Турцию, Югославию и Вьетнам, то можно констатировать, что западноевропейские общества, подобные Германии и Италии, многие восточноевропейские общества, азиатские общества, подобные Японии, и большинство обществ Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки совершали переход от традиционного к современному государству неревolutionционным путем» [Там же: 248].

Формально, дело вроде бы и впрямь обстоит подобным образом, если под революциями понимать такие жуткие потрясения, сопровождающиеся гражданскими войнами, как российские или китайские трагические события XX века. Но вообще-то революции прокатились почти по всей Западной Европе в 1848 году. А 1989 год был годом хоть бархатных, но все же революций в Европе Центральной и Восточной. Потом были еще революции «арабской весны», которые Эйзенштадт, скончавшийся годом ранее уже не мог проанализировать. А разве не было в самом начале Нового времени мощнейших революций в Нидерландах и Англии? Почему Франция с ее четырьмя революциями исчезла из перечня Эйзенштадта? Уж эти-то революции никак нельзя назвать незначительными и не влиявшими на путь к современности.

Но, по большому счету, проблема здесь не только в «недоучете революций». Возьмем три пере-

численных Эйзенштадтом «нереволюционных» страны — Германию, Италию и Японию. Не кажется ли нам, что возникшие там тоталитарные режимы, непосредственно ответственные за Вторую мировую войну, являются просто обратной стороной революции — такой же жестокой и деструктивной? Не кажется ли нам, что существует одна большая проблема перехода от традиции к модерну, а от специфических национальных обстоятельств зависит лишь то, пройдет ли конкретная страна через жаркие революционные бури или через ледяной душ диктатур? К этому надо добавить, бесспорно, тот факт, что тоталитарные режимы были не только в трех отмеченных выше странах, но надолго установились под советским давлением в Восточной Европе, которой, по мнению Эйзенштадта, был свойственен нереволюционный путь. А еще надо принять во внимание то, как бурлит сегодня якобы нереволюционный Ближний Восток, раздираемый гражданскими и религиозными конфликтами, находящими выражение, в революционном терроризме, направленном на свержение старых режимов. Стоит вспомнить еще и про десятилетиями существовавшие автократии иберийского мира: например про режим Франсиско Франко в Испании, утопивший в крови кровавую революцию 1930-х годов, и про режим Аугусто Пиночета в Чили, предотвративший в 1973 году революцию ценой военного переворота и длительного «замораживания» свобод.

И самое главное: большая часть неевропейского мира еще ведь не прошла целиком свой путь от традиции к современности. Какие социальные катаклизмы случатся на этом пути в будущем, мы не знаем. Не исключено, что еще не раз человечеству в разных частях света придется столкнуться с революциями, напоминающими европейские революции Нового времени. Мы сегодня буквально по пальцам можем перечислить страны, сумевшие

обойтись в своей истории и без кровопролитных революций, и без суровых автократий, их подавляющих. Дания, Швеция, Норвегия... Кажется, хватит одной руки, чтобы их сосчитать?

Впрочем, теория Эйзенштадта имеет все же большое значение, поскольку обращает наше внимание на большое разнообразие мира и на то, что нет одинаковых путей модернизации, нет одинаковых механизмов модернизационного сбоя. Где-то революции всё сокрушают на своем пути, где-то они лишь временами прерывают модернизацию, а где-то модернизацию прерывает не революция, а борьба с ней.

Кто же на самом деле сотворил революцию?

Крестьянство в теории Теодора Шанина

Знаменитого патриарха исторической социологии Теодора Шанина в широком кругу интеллектуалов знали в основном как организатора науки, а не как ученого. Как создателя «Шанинки» («Московской высшей школы социальных и экономических наук»), а не как автора фундаментальных научных работ. Но на самом деле его книги «Неудобный класс: политическая социология крестьянства в развивающемся обществе: Россия, 1910–1925 (М.: Дело, 2020) и «Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. → 1917–1922 гг.» (М.: Весь мир, 1997) являются классическими исследованиями как российского крестьянства в целом, так и его роли в революции. Эти тесно связанные друг с другом работы впервые появились на английском в начале семидесятых и середине восьмидесятых годов соответственно. С тех пор трудно представить себе без них анализ революции, хотя формально Шанин описывал не общие закономерности, а лишь историю нашей страны.

«Наш» на одну пятую?

Не припомню, чтобы у нас когда-нибудь возникала мода на Шанина, как возникала мода, скажем, на Иммануила Валлерстайна, Дугласа Норта или Дарона Аджемоглу. Тем не менее он был, бесспорно, выдающимся исследователем. Хотелось бы, конечно, сказать, российским, но на самом деле он был «нашим» лишь на одну треть, поскольку в неменьшей мере своей научной карьерой Шанин был обязан Израилю и Великобритании. А если принять во внимание то, что родился он в 1930 году в литовском Вильнюсе, который тогда являлся польским городом Вильно (и польский язык, кстати, являлся для Теодора родным), то, возможно, на долю России остается лишь одна пятая доля великого социолога Шанина?

Но нет, пожалуй, это все же не так. Доля России в нем намного больше, поскольку в своих работах Шанин в отличие от Валлерстайна, Норта, Аджемоглу и десятков других выдающихся исторических социологов серьезно исследовал именно нашу страну. Для него она была не далекой европейской периферией, которой можно заняться лишь после того, как разобрался в событиях из английской, французской, испанской, немецкой и итальянской истории, а важнейшей развивающейся страной, демонстрирующей, что развивающийся мир может оказаться не совсем таким, как мир развитой. Если Карл Маркс в первом томе «Капитала» писал, что «страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего», то Теодор Шанин, характеризуя Россию времен революции 1905–1907 годов, отметил, что она «стала местом, где была впервые в полной мере поставлена под сомнение универсальность западноевропейского опыта для остального человечества» [Шанин 1997: 10].

Мир не станет ни Россией, ни Техасом

На первый взгляд книги Шанина выглядят как обычные работы по истории конкретного класса и конкретной революции. Ну, может быть, как труды, посвященные изучению определенной эпохи — эпохи больших перемен в России. Однако в тексте одной из них автор рассуждает о проблемах исторической социологии и эффективно решает некоторые из стоящих перед ним задач.

Шанин оспаривает представление, будто существует «независимое от человеческого выбора и однолинейное развитие всех обществ вдоль магистральной линии» [Там же: 17]. Сегодня мы сравнительно легко воспринимаем представление о сложности и нелинейности мира, но в середине 1980-х годов значение классического марксизма было еще весьма велико. И в СССР особенно. Поэтому упрощенные представления об однолинейности доминировали в интеллектуальной среде (по крайней мере, в нашей стране). И даже те ученые, которые отрицали марксистский вывод о неизбежной победе коммунизма, находящегося в конце этой магистральной линии, часто саму однолинейность не отрицали. Как в силу приверженности привычной догме, так и из-за плохого знания истории различных стран мира.

По мнению Шанина, мир не превратится в универсальную советскую Россию, но он не превратится и в универсальный Техас [Там же: 17]. Автор книги о русской революции, которую многие в 1980-х годах еще считали образцом для будущих революций по всему миру, настаивает на большем принятии разнообразия, сложности и противоречивости человеческого мира. С его точки зрения, исследуемая им революция не копировала ни Великую французскую революцию, ни революции 1848 года. Ключевые события 1905–1907 годов и тем более 1917–1922 годов во многом определялись

специфическими чертами российской истории, а также конкретными действиями исторических акторов. Большое внимание Шанин уделяет формированию взглядов Петра Столыпина, Льва Троцкого, Владимира Ленина, демонстрируя, как эти яркие люди отходили при формировании своей практической политики от стандартных воззрений, определяемых социальной средой или доминирующей научной теорией [Там же: 366–469].

Заканчивает свою книгу Шанин словами «Пока существует выбор, есть надежда» [Там же: 484]. Эта фраза, наверное, идеально отражает методологию исследователя. Ленин выбрал не тот путь, что предписывал ему классический марксизм, и победил. У нас же, в свою очередь, есть шанс победить ленинизм и весь порожденный им последующий ужас, поскольку не железные законы истории сотворили власть КПСС и КГБ, а в основном умелое использование тех возможностей, которые имелись у большевиков в конкретной исторической ситуации. И четкий анализ этой ситуации, на мой взгляд, является главной научной заслугой Шанина.

Согласно классическому марксизму, сознательный пролетариат совершает свою пролетарскую революцию, понимая, что ему нечего терять, кроме своих цепей. Шанин же показал, что в России опорой большевиков в 1917 году стали, скорее, молодые рабочие, недавно приехавшие из деревни. Многие из них во время революции 1905–1907 годов еще жили, по всей видимости, на селе и готовы были крушить все вокруг, демонстрируя, скорее, не знание железных законов истории, а склонность к русскому бунту, бессмысленному и беспощадному. Женщины и особенно влиятельные в сельской общине старики сдерживали порой этот безумный напор молодежи. Но когда бунтовщики оказались в городе, сдерживающая их сила исчезла. Нормы жизни стали совершенно иными. На смену традиционным ценностям пришли ценности,

проповедуемые разного рода пропагандистами [Там же: 300–301].

В 1912–1914 годах, пишет Шанин, «обозначился раскол между старыми профсоюзными активистами, поддерживавшими в главном меньшевиков, и молодыми людьми, которые во время первой революции были детьми и подростками (причем это часто были сельские мигранты, только что приехавшие из деревни). Молодые мужчины в большинстве своем поддерживали большевиков и эсеров. Именно благодаря их поддержке большевики сумели упрочить свое влияние на петербургских заводах и фабриках в 1912–1917 годах, что стало решающим фактором в событиях рокового 1917 года. Можно по-разному гадать о причинах этого влияния, однако важно отметить, что опыт поражения и разочарований 1905 года, массовая безработица 1906–1910 годов и зрелище неудачных попыток социалистов удержать свое организационное влияние в период „спада“ мало значили для этой группы. Они жаждали бросить открытый вызов политике „малых дел“ и связанным с ней настроениям» [Там же: 302].

В этом анализе революции переплелись и многолетний интерес Шанина к анализу крестьянской среды, и увлечение исследованием того, как меняются представления общества со сменой поколений. На мой взгляд, именно хорошее знание крестьянства помогло Шанину понять суть так называемой пролетарской революции, поскольку совершили ее именно люди с крестьянской ментальностью, лишившиеся сдерживающих «скреп» сельской общины. Ленин и Троцкий, конечно, направляли революцию, понимая, что делать ее надо совсем не так, как полагали Энгельс и Каутский. Но никакой большевистский авангард не справился бы со столь сложной задачей, если бы в его рядах не оказалось в 1917 году достаточного числа «квазипролетариев» для совершения «квазипролетарского» переворота.

Две разные революции

Но как же революция в деревне, может спросить оппонент? Там ведь крестьянство тоже немало кровавых дел натворило, однако община сохранялась и мудрые старики, казалось бы, должны были сдерживать напор молодежи.

Шанин показал, что революция на селе имела иной характер, чем в городе, и плохо вписывалась в марксистскую картину. Она была направлена на решение конкретных задач, важных для крестьянства, но не на переустройство мира. Мужики воевали с помещиками, громя усадьбы и стремясь отобрать землю, которая, как они считали, должна принадлежать общине. Но антикапиталистической революции в деревне не было. Не было войны с кулаками, которая должна была вроде бы вытекать из марксистской теории, а вопросы распределения земли обычно решались общиной на сходе. Причем порой при доминировании богатых, умных и влиятельных крестьян. «Социальный характер беднейшей прослойки делал крайне маловероятным ее объединение в самостоятельный класс и ее активное участие в независимых политических акциях. А тот факт, что на селе фактически не было разделения на качественно различные и конфликтующие между собой группы работодателей и наемных рабочих, смягчал потенциальные классовые конфликты» [Шанин 2020: 298].

По сути дела, крестьяне в совокупности (как бедняки, которые не были пролетариями из марксистских книжек, так и кулаки, которые не были капиталистами) воевали лишь с теми, кто вмешивался в их жизнь, стремясь либо отнять землю, либо замучить продразверсткой. Община воевала с чужаками, как белыми, так и красными, но не занималась развертыванием социалистической революции [Там же: 253].

Взгляд Теодора Шанина на революцию сохраняет актуальность по сей день, хотя, конечно, да-

леко не все в его книгах пережило свое время. Так, например, вряд ли можно согласиться с шанинским увлечением протекционизмом. Думается, что при взгляде на экономику ученый допускал то самое упрощение реальности, с которым боролся при анализе истории. Он хорошо видел провалы рынка (особенно в развивающихся странах), но, возможно, не замечал, что провалы государства при проведении протекционистской политики могут быть не менее значительными.

Но протекционизм — это частность, практически не связанная с тем значением, которое и по сей день имеют книги Теодора Шанина. Помимо всего прочего они учат нас искать ответы на сложные вопросы, отвергая простые и очевидные «истины», вытекающие из давно сложившихся представлений.

Старой власти уже нет, а новой еще нет

Революция глазами Егора Гайдара

Исторические исследования, написанные крупными государственными деятелями, встречаются нечасто. Трудно быть одинаково компетентным в двух столь разных сферах, как наука и управление. Тем не менее Франсуа Гизо и Уинстон Черчилль показали в свое время, что это возможно. Егор Гайдар тоже опубликовал несколько книг, анализирующих исторический аспект проблемы модернизации. Особое место среди них занимают «Смуты и институты» — одна из последних и самых интересных его работ (первая публикация в книге Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 2009).

Мне представляется, что работа над ней была для Гайдара очень личным делом. Даже более личным, чем работа над «Гибелью империи». Поскольку в той большой книге Гайдар рассказывает, как огромная советская империя подошла к кри-

зисному состоянию, во время которого ему лично довелось проводить реформы, а в «Смутах и институтах» он анализирует, что непосредственно происходит с обществом в момент, когда государство развалилось, наступил хаос, и реформаторам надо каким-то образом из этого хаоса выныривать, таща за собой страну, обиженную на всех и униженную собственными неудачами, издерганную от страха и упирающуюся из-за постигшей ее в состоянии хаоса полной дезориентации. «Смуты и институты» — уникальное исследование, в котором человек, лично переживший опыт работы премьер-министром в условиях серьезной смуты, сам анализирует эпоху распада государственных институтов, как профессиональный ученый.

«Мы диалектику учили не по Гегелю»

Гайдар дополняет своим трудом ключевые историко-социологические исследования, глядя на проблему как бы изнутри органов власти и анализируя, почему всякая настоящая революция разрушительно действует на жизнь общества. Его книга совершенно уникальна: это тот редкий случай, когда российский автор явно более компетентен, чем многие западные профессора. Те почти всегда лучше подготовлены теоретически, чем мы, но лично в ситуации революционного хаоса они не жили и изучают его лишь по книжкам. А Гайдар не только жил, но и пытался лично с этим хаосом совладать на своем посту.

«Под революцией обычно понимают потрясения, снимающие препятствия на пути развития общества, — пишет Гайдар. — Но революция — это часть более широкого круга явлений, связанных с тем, что старой власти уже нет, а новой еще нет. Не случайно в русском языке слово „революция“ перекликается со словом „смута“, периодом хаоса и беспорядка. <...> Смута — социальная болезнь, сопоставимая по последствиям с голодом,

крупномасштабными эпидемиями, войнами» [Гайдар 2009: 8–9, 13].

Суть проблемы, волновавшей Гайдара, можно понять, когда считаешь ряд книг, написанных людьми, изучающими преобразования со стороны. Очень часто даже среди крупных зарубежных ученых и российских академиков, глядящих на события из своего кабинета, можно встретить непонимание важной вещи, которую чувствует любой человек, находящийся в гуще событий в кризисный момент.

Ученый говорит: для достижения успеха надо было действовать так-то и так-то, принимать такие-то решения. Практик его спрашивает: а кто будет эти решения выполнять, почему народ будет им подчиняться, как институты обеспечивают нормальный ход жизни? Оппонент часто не понимает подобных вопросов. В его представлении выполнять государственные решения будут те же самые люди, которые выполняют всегда. И все обычные институты будут функционировать. Чиновники соберут налоги, полицейские наведут порядок, банкиры предоставят бизнесу кредит в соответствии с проводимой центральным банком политикой.

Однако в настоящей революции привычные механизмы перестают действовать. Власть лишь формально остается властью в этих условиях. Ее представители занимают высокие кабинеты в красивых столичных зданиях, но их распоряжений уже не слушают. И их решения остаются на бумаге. Это — главное, что нам следует понять, если мы хотим разобраться в проблеме революции. В период большой смуты все происходит не так, как в период обычной жизни.

Откуда порядку взяться?

Почему, собственно говоря, полиция должна наводить порядок? Зарплату ей часто в смутную эпоху не платят из-за пустой казны. Если платят, то обес-

ценившимися из-за инфляции деньгами. В голове у простых полицейских царит хаос, поскольку они не знают, кто прав, кто виноват в революционном противостоянии. Порой они симпатизируют восставшим. А самое главное — они боятся, что если восставшие победят, то их сделают крайними и вздернут на фонарях как сатрапов и палачей.

Почему, собственно говоря, кто-то должен платить в казну налоги? Давайте, положи руку на сердце, признаем, что не такие уж мы сознательные граждане и если можем на налогах сэкономить, то часто пользуемся этой возможностью. Если чиновник сбор налогов не контролирует, полиция и суды за неуплату не наказывают, а инфляция обесценивает деньги, то мы либо вообще не будем платить, либо сделаем это как можно позже, чтоб заплатить государству уже обесценившимися деньгами.

Подобная логика касается практически всех сфер государственной деятельности. В революцию решения, принятые властью, не выполняются, и это усугубляет хаос, порожденный самим фактом кровавого народного восстания или даже сравнительно мирной смены правительства оппозицией, желающей править по-иному.

Гайдар в своей маленькой книге не подвергает анализу теории оппонентов, и это, наверное, можно считать недостатком работы «Смуты и институты». Но косвенным образом он высказывается о тех «теоретиках», которые плохо представляют, как устроена реальная жизнь. Говоря о последствиях вторжения американцев в Ирак (а оно было у всех на слуху в те годы, когда писалась книга), Гайдар фактически обрисовал проблемы революционной ситуации. «Те, кто принимал решения, не понимали, что после исчезновения с улиц полиции старого режима грабежи, перебои в энергоснабжении станут элементами ежедневной жизни, что многие привычные установления (например, низкие цены на бензин) можно поддерживать, лишь имея действующие

пограничные и таможенные службы, что с их исчезновением дефицит нефтепродуктов, холод и голод станут острой проблемой» [Там же: 13]. Хотя формально Ирак страдал не от революции, а от вторжения извне, последствия были аналогичны — распад худо-бедно работавших ранее институтов, вызванный смутой и хаосом.

«Цивилизация — очень хрупкая конструкция»

Здесь может возникнуть вопрос: какое отношение имеет гайдаровская реформа к трагическому опыту различных революций? Почему мы говорим о том, что Гайдар глядел на революционные процессы изнутри? Дело в том, что главное в революции — вовсе не выстрел «Авроры», не штурм Бастилии или Зимнего. Даже не казнь монарха. Как романтические, так и трагические моменты могут в революции быть или не быть. Но настоящим признаком всякой смуты является распад государственных институтов и хаос, им порожденный. По этому критерию наши события 1988–1993 годов можно вполне отнести к числу революций.

Политическая реформа, затеянная Михаилом Горбачевым в 1988 году, привела не столько к демократизации общества, сколько к двоевластию и даже многовластию, за которым последовал хаос политический. А экономическая реформа Николая Рыжкова обусловила хаос экономический: денежную эмиссию, которая постепенно смела с полок магазинов остатки товаров, и дезорганизацию работы предприятий, замерших между уже не работающим планом и еще не функционирующим рынком. К августу 1991 года распад институтов, как политических, так и экономических, стал столь явным, что путчисты попытались навести порядок, взяв власть в свои руки, но даже этого из-за царящего в силовых структурах хаоса сделать не смогли. Так что Гайдари пришлось действовать с политической

и экономической точки зрения именно в революционной ситуации, хотя в плане военном мы, слава богу, отделались малой кровью, если сравнивать с Францией конца XVIII века, Россией 1917–1921 годов или Испанией второй половины 30-х годов XX столетия.

«Цивилизация — очень хрупкая конструкция» [Там же: 38], — написал Гайдар. Это он ощутил на собственном опыте, застав «конструкцию» в полуразрушенном состоянии в тот момент, когда Ельцин поручил ему реформировать экономику. Книга «Смуты и институты» представляет собой анализ той революционной картины, которую видел Гайдар своими глазами, на фоне тех революций прошлого, которые описываются многими профессиональными историками, но часто без глубокого понимания всей логики событий, связанной с распадом институтов. В отличие от таких (иногда очень обширных) работ Гайдар кратко описывает русскую смуту 1917–1918 годов, сосредоточивая внимание не на боях за власть, не на энтузиазме масс и не на портретах великих революционеров, а на том, как исчезали власть, порядок, приличная еда, боеспособные части армии, транспортное сообщение и практически все то, что отличает любое нормально функционирующее государство — даже самое бедное и отсталое. Когда видишь весь этот фон, понимаешь, что, хотя гайдаровская реформа по программе действий была похожа на реформы Вацлава Клауса в Чехословакии и Лешека Бальцеровича в Польше, обстановка, определившая ход событий, у нас напоминала, скорее, обстановку времен великих революций далекого прошлого. И это наложило свой отпечаток на все наши события начала 1990-х годов.

Годы спустя, когда пришлось обсуждать эту ситуацию на экономическом семинаре, которым руководил один из основателей Чикагской эконо-

номической школы профессор А. Харбергер (там были его ученики, работавшие министрами финансов, председателями центральных банков многих стран мира), на вопрос, что, на взгляд столь опытных людей, в этой ситуации надо было делать, министр финансов одной крупной страны ответил: «Застрелиться. Остальные решения хуже» [Там же: 136].

Может показаться, что, приводя этот случай, Гайдар стремится объяснить, насколько тяжело ему лично было решать проблемы России в 1991–1992 годах. В какой-то мере это, наверное, и впрямь так. Но когда данный пример приведен в узкоспециальной научной работе, а не в интервью, рассчитанном на миллионы зрителей, важнее другое. Это — характеристика революционной ситуации, четкий и лаконичный рассказ о том, как важно любой стране не попасть в такое положение, когда даже министрам проще застрелиться, чем найти реалистичные решения.

У революции нет цели

В концепции Владимира Мау — это лишь механизм решения задач

Книга Владимира Мау «Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций» (М.: Издательство Института Гайдара, 2017) продолжает исследование, начатое автором более 20 лет назад (совместно с Ириной Стародубровской) в работе «Великие революции от Кромвеля до Путина» (М.: Вагриус, 2001). Основной тезис новой книги выглядит совершенно парадоксально. У революции в целом нет цели. Она «не может быть успешной или неуспешной. Успешным или неуспешным может быть политическое развитие событий для отдельных лидеров» [Мау 2017: 323].

Научный и «бытовой» взгляд на проблему

Парадоксальность такого подхода состоит в том, что он полностью противоречит нашему привычному, «бытовому» взгляду на революцию. Ведь обычно ее у нас представляют как целенаправленный процесс, осуществляемый революционерами ради достижения неких целей. В лучшем случае люди, размышляющие о революции, признают, что ее ход зависит не только от субъективных намерений разного рода деятелей, но и от множества объективных обстоятельств. В худшем — строят конспирологические теории, согласно которым маленькая группка революционеров может устроить заговор, обмануть наивный народ и разрушить государство для достижения своих целей. Но в книге Владимира Мау вопрос о том, кто и ради чего делает революцию, — казалось бы, главный для ее понимания — вообще уходит в сторону и становится частной проблемой. Объясняется это вот чем.

Каждый революционер желал бы, наверное, прийти к своим целям быстрым, коротким путем, без перенапряжения сил, вызванного революционным хаосом. Реформа всегда обходится «дешевле» революции, но, к сожалению, не всегда возможна. И вот, когда государство рушится, утрачивая способность не только проводить необходимые реформы, но даже обеспечивать текущую жизнедеятельность, возникает революция. «Общественное развитие вдруг оказывается результатом не чьих-то целенаправленных воздействий (иногда более, а иногда менее эффективных, но все же осмысленных), а результатом равнодействующей многих групп интересов, „тянущих“ страну в разных направлениях. Отсюда возникает стихийность» [Там же: 24]. А в этой стихийности механизм решения задач становится совершенно иным, чем в условиях, когда государственный деятель может издать некий указ, вызвать подчиненных и пору-

чить им решение проблемы. При стихийности нормальный ход работы государства останавливается, но жизнь-то ведь не прекращается. И вопрос, как идет такая «безгосударственная жизнь», становится очень важным. Он, по сути дела, и оказывается главным вопросом, поставленным в книге Владимира Мау.

«Революция — представляет собой не набор событий, а механизм решения задач», — отмечает автор [Там же: 323]. Но мне кажется, что для него это, в первую очередь, даже не механизм решения, а большая проблема. Проблема, которая встает перед обществом, лишенным возможности нормальной жизни. Проблема, которая встает перед государственными деятелями, лишившимися своего государства и тех рычагов, на которые они нажимали. Проблема даже для революционеров, которые обнаруживают в хаосе событий, что все их стройные революционные стратегии, написанные в тиши библиотек, разваливаются так же, как государство, и для решения задач им приходится срочно искать тактические ходы, подбирая новых союзников, нейтрализуя неожиданных противников и добиваясь в краткосрочном плане совсем не того, чего хотелось бы добиться в долгосрочном.

Механизм решения задач в ходе революции каждый раз будет разным. Его невозможно предсказать. И невозможно научить будущих революционеров (равно как и контрреволюционеров), что им делать, столкнувшись с безгосударственным хаосом. Но вот описать и объяснить на основе большого исторического опыта суть проблем, возникающих в ходе революции, вполне возможно. Именно этому посвящена книга Владимира Мау. Она находится между работами исторических социологов, которых интересует вопрос, почему возникают революции, и работами историков, которые просто описывают ход конкретных революций. Мау исхо-

дит из того, что революция так или иначе уже случилась, хаос наступил и теперь мы должны увидеть некую логику во всем этом хаосе.

Экономическая картина революции

Логика для Мау, специализирующегося на исследованиях в области экономической истории, выглядит примерно следующим образом. В предшествующий революции период всё складывается, казалось бы, довольно неплохо. Экономика быстро растет на протяжении нескольких десятилетий. Подобное положение дел вроде бы не должно приводить к революции, однако хозяйственное развитие создает проблему, не бросающуюся в глаза. Экономическое положение различных классов и групп меняется неравномерно [Там же: 39]. Кто-то выигрывает больше, а кто-то меньше. Кто-то, возможно, даже проигрывает. И в любом случае в обществе могут накапливаться серьезные обиды. Может, по всей видимости, возникать представление о несправедливости сложившегося положения дел.

Затем в силу какой-то «внешней» причины (война, экономический кризис, плохие урожаи, хозяйственные реформы) может произойти резкое ухудшение ситуации. Государство сталкивается с финансовыми проблемами, а у значительной части населения резко ухудшается материальное положение. Начинается революция. Но власть на первых порах принадлежит умеренным политическим лидерам. Во многих случаях им даже удается слегка улучшить экономическое положение (стабилизировать финансы, наладить производство). По мнению автора, так обстояло дело во всех крупных революциях, кроме российской 1917 года [Там же: 40].

Но дальше в условиях слабого государства вновь усиливается кризис. А это усиление, в свою очередь, приводит к дальнейшему распаду государства. Умеренные не могут удержаться у власти, которая пере-

ходит к радикалам. Ну а радикализм в экономике способствует очередному хозяйственному провалу. Таким образом, экономические проблемы раз за разом ослабляют государство, а в слабом государстве неспособность правителей справиться с хозяйственными провалами провоцирует применение все более опасных для экономики радикальных рецептов.

Почему же экономика не выдерживает революции? Почему она плохо работает в условиях слабого государства?

Во-первых, это происходит из-за того, что бизнес оказывается незащищен. С одной стороны, он в этой ситуации вынужден больше тратить средств на то, чтобы защищаться самостоятельно (создание собственных охранных структур, выплата вознаграждения бандитам и силовикам за «крышевание»). С другой стороны, из-за роста таких расходов и неопределенности ситуации предприниматели могут вообще приходить к выводу о необходимости сворачивания дел [Там же: 46–47].

Во-вторых, на фоне разнообразных экономических проблем резко нарастают бюджетные проблемы государства. Ведь налоги становится собирать все труднее, как из-за того, что бизнес работает хуже или даже бежит из страны, так и из-за того, что госаппарат в ситуации развала плохо справляется со своими обычными задачами. А раз нет налогов, приходится прибегать к займам, расплатиться по которым в обещанные сроки обычно не удается. В результате часто возникает дефолт по государственным обязательствам. Кроме того, широкое распространение получают неплатежи государства получателям бюджетных средств [Там же: 47–55].

В-третьих, государство, не справляющееся со своими обязательствами, начинает налегать на такие источники добычи средств, как инфляционный налог и манипуляции с собственностью [Там же: 55–66]. Казалось бы, возможность

отнять чужие деньги за счет порчи монеты, масштабной денежной эмиссии или просто конфискации чужого имущества — это признаки государства, настолько сильного, что его можно даже назвать насильником. Однако Мау показывает, что в основе такого насилия лежит слабость: неспособность прибегнуть к более сложным, но менее разрушительным для экономики методам преодоления финансового кризиса.

Что такое «термидор»

Не удивительно, что революции заканчиваются «термидором». Если мы полагаем, будто революция — это слом старого общества и попытка строительства нового, то «термидор» для нас предстанет удивительной закономерностью, в соответствии с которой консервативные силы все время побеждают прогрессивные. Но если мы исходим из того, что революция — это не движение от старого к новому, а большая проблема, связанная с распадом государства, «термидор» оказывается всего лишь победой прагматиков, пытающихся спасти от революции то, что еще можно спасти.

Конечно, «термидорианцам» во всех революциях тоже нелегко приходится, поскольку сам по себе переворот не способен создать новое общество. Термидорианским властям приходится постоянно маневрировать между различными группами интересов. Но эти группы уже в основном относятся к элите, они постепенно укрупняются и имеют четко оформленные и определенные интересы [Стародубровская, Мау: 149]. Таким образом, маневрировать становится легче, чем в тот революционный период, когда власть зависела от толпы и принимала откровенно популистские решения. Государство оказывается сильнее. Оно начинает принимать ответственные (или, по крайней мере, не столь популистские, как раньше) ре-

шения. Революция заканчивается и начинается период нормального развития. Возможно, до следующего кризиса, перерастающего в следующую революцию.

Такова концепция Владимира Мау, которую, думается, следует изучать в тесной связи с концепцией Егора Гайдара, изложенной в работе «Смуты и институты». Как минимум два положения являются для Гайдара и Мау общими: большое внимание, уделяемое экономическим факторам возникновения революции, и постановка во главу угла проблематики слабого государства. Конечно же, сходство подходов здесь не случайно. Гайдар и Мау — коллеги, друзья и соавторы по некоторым публикациям. Оба лично участвовали в «реформаторско-революционных» событиях, имевших место в России начала 1990-х годов. Оба на себе испытали, что получается, когда государство в силу своей слабости не способно сопротивляться популизму. Книга Гайдара содержит, пожалуй, больше исторических иллюстраций, книга Мау — больше теоретических обобщений. Но в целом, пожалуй, эти две работы в сочетании с «Гибелью империи» Гайдара и «Великими революциями...» Стародубровской и Мау можно рассматривать в качестве большой революционной тетралогии, изучить которую стоило бы каждому, кто хочет разобраться в новейшей истории России.

Революция как побочный продукт модернизации

*Борис Миронов о проблемах перехода
от традиции к модерну*

Думается, что в названии книги профессора Санкт-Петербургского государственного университета Бориса Миронова «Российская модернизация и революция» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2019) сло-

ва «модернизация» и «революция» не случайно соединены. Обычно у нас их принято разводить (модернизация — это созидание, тогда как революция — разрушение), но Миронов в своей книге рассматривает непосредственную связь двух важнейших для России процессов. И хотя книга посвящена непосредственно истории нашей страны, думается, общую схему Миронова можно распространить на основные революции Нового времени.

«Российскую модернизацию и революцию» следует изучать в связи с другими трудами автора и, в первую очередь, с огромным трехтомником «Российская империя: от традиции к модерну» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2014–2015). Это исследование создавалось автором на протяжении нескольких десятилетий. Если слегка упростить, можно сказать, что трехтомник представляет собой синтез двенадцати отдельных монографий. Колонизация, социальная стратификация, демография, семья, город и деревня, крепостное право, община, государство, общественное мнение, право, уровень жизни, культура — все эти проблемы последовательно исследуются в трехтомнике и каждой посвящена отдельная глава. Там нет лишь специальной главы о революции. Ей оказалась посвящена отдельная монография.

Думается, очень важно понимать связь этих двух книг Бориса Миронова. Если революция анализируется не просто как событие, а как результат российской модернизации, то для понимания причин революции мы должны видеть всю картину движения от традиции к модерну, нарисованную автором. В трехтомнике даже о революции говорится, как о побочном продукте успешной модернизации [Миронов 2015, т. 3: 676]. Думается, что это очень точное и остроумное соображение, хотя, наверное, шокирующее тех, кто хотел бы видеть черно-белую картину исторического развития.

*«Россия до такой степени страшно выросла,
что едва веришь»*

Революция по Мировому возникает не потому, что страна столетиями остается неизменной (в такой ситуации социальный взрыв маловероятен), а потому, что она модернизируется и обществу оказывается трудно адаптироваться к быстро происходящим переменам. Ведь от них кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает в краткосрочном плане. Одна часть населения быстро принимает происходящее и стремится извлечь из него выгоду, а другая оказывается в растерянности и не может понять, как теперь следует жить. Обостряются противоречия. Сталкиваются между собой различные группы населения. Люди, которые раньше находились в относительной изоляции на селе и в крохотных городках, теперь конфликтуют в больших мегаполисах с другими людьми и начинают их обвинять во всех бедах.

Если мы рассмотрим механизм возникновения важнейших революций Нового времени в Европе, то увидим, что при всем очевидном различии исторических ситуаций, многое оказывается схожим. И, в первую очередь, то, что революции происходили именно тогда, когда начинался процесс модернизации: в Англии — в XVII веке, во Франции — в XVIII–XIX веке, в Германии и Австро-Венгрии — в XIX–XX веке. В России, как периферийной европейской стране, настоящая модернизация (петровскую вряд ли можно считать таковой) началась с существенным отставанием от западных образцов и, соответственно, революция пришлась на XX столетие.

Конечно, для того чтобы понять суть происходящих в каждой революции событий, недостаточно общей схемы. Серьезный анализ катаклизмов, происходивших в Англии или Франции, показывает, что каждая страна «переваривает» модернизацию по-своему. Но такое подробное описание раз-

вертывания революции демонстрирует нам обилие тех самых «деревьев», за которыми можно иногда не увидеть «леса». Отличие книги Бориса Миронова от многих других исследований российской революции состоит в том, что автор не просто рассказывает о происходивших более ста лет назад политических событиях. Он стремится показать причины этой революции, отыскивая их в сложностях российского модернизационного процесса, и в этом поиске теория Миронова соприкасается с теориями Теодора Шанина, Егора Гайдара и Владимира Мау. В книге «Российская модернизация и революция» можно найти большой объем любопытных фактов, но они приводятся не просто потому, что интересны для читателя. Они собраны в определенную систему ради объяснения читателю смысла происходивших в России событий.

Миронов отвергает весьма популярную в советское время (а для многих людей привлекательную и сейчас) концепцию, согласно которой предреволюционная Россия находилась в состоянии серьезного кризиса. На самом деле это было время активной модернизации. Экономика росла, возникали новые заводы и фабрики, люди уезжали из деревни и искали работу в городах. «С 1861 по 1913 год темпы экономического развития стали сопоставимы с европейскими. Национальный доход за 52 года увеличился почти в 4 раза» [Миронов 2019: 16]. То есть в России происходило именно то, что нужно для превращения в развитую страну с высоким уровнем жизни.

Миронов приводит в своей книге слова журналиста Суворина, сказанные в 1911 году:

Все мы жалуемся каждый день, что ничего нам не удастся, во всем мы отстали... За мою жизнь, вот уже 50 лет, как я оглядываюсь сознательно, Россия до такой степени страшно выросла, <...> что едва веришь [Там же: 73].

Любопытно, что примерно то же самое можно сегодня сказать про перемены, происходившие в России за последние десятилетия: жаловаться, бесспорно, есть на что, но трудно не замечать, как радикально все изменилось в сравнении с 1985 годом.

От модернизации к фрустрации

В общем, предреволюционная Россия не зарулила в общий кризис капитализма, как полагали марксисты советского времени, и не пошла своим особым (неевропейским) путем, как полагают сейчас сторонники так называемой теории «русской матрицы». Россия делала в общих чертах примерно то же самое, что делали другие страны — те, которые сегодня считаются успешными и развитыми. И именно на пути к успеху у нас (и во многих других странах) произошел срыв из модернизации в революцию.

Те горожане, которые активно участвовали в революции, были, по всей видимости, вчерашними крестьянами. Люди из деревни активно переселялись в город. Как показывает Миронов, в 1869–1910 годах численность крестьянства в Петербурге выросла в 5,3 раза, тогда как общее число жителей только в 2,5 раза [Там же: 209]. Оказавшись в российской столице, эти вчерашние крестьяне столкнулись с совершенно новым для них образом жизни: странным, непривычным, непонятным, пугающим и провоцирующим неожиданную реакцию.

Во-первых, сильно изменились жилищные условия. Ночевать приходилось иногда в казарме, а иногда прямо на заводе, возле станка. В сельской избе, конечно, крестьяне тоже жили тесновато, но чем качественно отличалась теснота городская от сельской — в городе в подобных условиях трудно было завести семью.

Во-вторых, в городе не имелось той социальной поддержки, которая нужна человеку для нормальной жизни. В сельских условиях она обеспечива-

лась большой семьей (отцами, дедями, влиятельными родственниками) и крестьянской общиной. В городских — ни того ни другого не существовало. И поскольку совсем не было детских садов, трудно оказалось воспитывать ребенка.

В-третьих, в город на заработки перебирались из деревни в основном мужчины. Женщин-работниц было значительно меньше. Таким образом, даже если молодой человек хотел жениться, несмотря на различные житейские трудности, он мог просто не найти себе супруги в ближайшем окружении.

В-четвертых, среди городских рабочих существовал так называемый «молодежный бугор, рассматриваемый некоторыми социологами как важная предпосылка революционных выступлений» [Там же: 215]. Иными словами, доля молодежи в общей массе населения оказалась высока, но при этом завести семью было трудно.

К 1913 году, — отмечает Миронов — «по стране в составе промышленных рабочих мы находим около 1 млн молодых одиноких мужчин и около полу-миллиона одиноких молодых женщин, по причине дисбаланса полов матримониально и сексуально озабоченных, раздраженных и не удовлетворенных жизнью уже только потому, что в стране, где так ценились семья и дети, многие из них не имели ни того, ни другого. В ситуации реальной невозможности удовлетворения фундаментальных, базисных потребностей у человека рождается конфликтное отрицательно эмоциональное состояние — недовольство, разочарование, тревога, раздражение и даже отчаяние — то, что называется в психологии фрустрацией, которая часто находит проявление в агрессивном поведении, направленном против действительного или мнимого его источника. Фрустрированные люди легко вовлекаются в политические движения протестного характера, становясь легкой добычей разных политических и религиозных пророков, сочувствую-

щих им и обещающих быстрое изменение жизни к лучшему, если они будут следовать их принципам или призывам» [Там же].

Аномия успеха

Естественно, «взрывная» революционная масса образовывалась не только благодаря напряженности, связанной с одиноким и неприкаянным образом жизни молодых городских рабочих. Примеров проблем, возникавших в ходе модернизации, можно приводить много. Горожане в первом поколении, недавно лишь выбравшиеся из деревни, были фрустрированы одиночеством, несправедливостью, социальной незащищенностью, отсутствием авторитетов, на мнение которых можно опереться в кризисной ситуации. Все это в совокупности создавало возможность революции.

«Модернизация способствует росту социальных, политических и экономических противоречий, — пишет Миронов, — вследствие чего, чем быстрее и успешнее проходит модернизация, тем, как правило, выше конфликтность и социальная напряженность в обществе. <...> Необыкновенный рост всякого рода протестных движений порождался с одной стороны дезориентацией, дезорганизацией и социальной напряженностью в обществе, с другой — полученной свободой, ослаблением социального контроля и возросшей социальной мобильностью, с третьей — несоответствием между потребностями людей и объективными возможностями экономики и общества их удовлетворить. Общество испытало так называемую *травму социальных изменений*, или *аномию успеха*» [Там же: 21].

Вот из этой-то аномии успеха, как ни парадоксально, произошли наши печальные революционные последствия. Они не были, конечно, жестко предопределены ходом модернизации, но травмы социальных изменений делали их весьма вероятными.

Странные ошибки «специалиста» по революциям

Джин Шарп и его теория освобождения

Удивительно тоненькая и очень просто написанная книга Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения» (М.: Новое издательство, 2012) намного популярнее в широких читательских массах, чем любая классическая научная работа о революции.

Одни люди считают Шарпа классиком политологии, объясняющим народу, как правильно добиваться свободы с помощью стратегии ненасильственного сопротивления. Другие — расценивают Шарпа в качестве врага, подстрекающего свободные народы к мятежу в интересах господства мирового капитала. Но на самом деле небольшая книжечка Шарпа не является ни серьезным политологическим исследованием, ни злобной вражеской методичкой. Скорее, она является изложением мыслей автора по исторической социологии, точнее по тому ее разделу, в котором изучаются революции. Однако в мыслях этих содержится целый ряд серьезных ошибок, которые делают данный «трактат» малопригодным для борьбы за освобождение. И уж точно можно сказать, что работа Шарпа не несет никакой угрозы нынешней российской политической системе.

Ненасильственный протест?

Автор начинает свою книгу с, казалось бы, верного утверждения:

Благодаря главным образом ненасильственному неповиновению, с 1980 года пали диктаторские режимы в Эстонии, в Латвии и Литве, в Польше,

в Восточной Германии, в Чехословакии и Словении, в Мали, в Боливии, на Филиппинах и на Мадагаскаре (с. 10).

Увы, на самом деле утверждение это является столь большим упрощением сути сложных процессов, что, скорее, искажает истину, чем помогает к ней подобраться.

Представление о том, что эстонцы, литовцы или латыши добились свободы благодаря своему ненасильственному протесту, совершенно неверно. Точнее, протест такой, конечно, был. Я восхищался тогда и до сих пор восхищаюсь тем мужеством и тем единством, которое эти народы продемонстрировали на рубеже 1980–1990-х годов. Но «после того» не значит «вследствие того». Свобода балтийских государств стала результатом сочетания целого ряда обстоятельств, среди которых мирный протест играл важную, но даже не первостепенную роль. В теориях революции часто отмечают, что они в большой степени зависят не только от низового протеста, но и от раскола элит, от международной обстановки, от господствующих в обществе идей (см., например, анализ теории Джека Голдстоуна в этой главе). Все перечисленные факторы надо учитывать, чтобы понять суть процессов, которые происходили на рубеже 1980–1990-х годов.

Сама возможность протестовать появилась благодаря расколу советских элит. То есть, во-первых, благодаря новому курсу Михаила Горбачева, а во-вторых, потому, что среди балтийских элит нашлось много сторонников демократизации, несмотря на то что формально эти люди принадлежали к Коммунистической партии. Я сам видел, как в октябре 1988 года Арнольд Рюитель — глава Верховного Совета Эстонии посетил первый съезд эстонского Народного фронта и даже в какой-то момент подсел в зале к его лидеру Эдгару Сависаару, что вызвало переполох среди множества свобод-

но присутствовавших на этом мероприятии журналистов зарубежных изданий. Коммунистическая элита готова была идти навстречу своему народу, и это создавало возможность ненасильственного массового протеста.

Не меньшее значение, чем раскол элит, имела та широкая поддержка, которую русская интеллигенция оказала балтийским народам в их стремлении к свободе. Если бы русские демократы на манер демократов революционных времен начала XX века хотели бы лишь к словам «единая и неделимая Россия» добавить слово «демократическая», до сих пор на карте Европы не было бы ни Эстонии, ни Латвии, ни Литвы. Ненасильственный протест оказался важен именно потому, что это был, в первую очередь, русский ненасильственный протест. А он уже сформировал возможность для демократизации как в Балтии, так и в других регионах СССР.

Ну и конечно, огромное значение для демократизации имела принадлежность балтийских народов к европейской культуре, или, точнее, их самоидентификация как европейцев. Протесты тогда имели место в разных местах Советского Союза, однако результаты получились совсем разные. Эстонскую, украинскую и российскую демократии даже трудно сегодня именовать одним словом: настолько они различны.

В общем, если мы будем надеяться, что какая-нибудь новая революция произойдет благодаря низовому протесту и не станем обращать внимание на другие условия, ждать перемен придется до «второго пришествия».

*Лучше быть богатым и здоровым,
чем бедным и больным*

Продолжим, однако, читать Джина Шарпа. Далее он отмечает, что сторонникам перемен необходимы стратегический план, а также бдительность,

упорный труд и твердая дисциплина в борьбе за свои цели [Шарп 2012: 75]. Подобные советы может давать любой человек, не изучавший опыта ненасильственных революций и не имеющий за спиной исследовательского института. Это все равно что говорить: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным».

Почему в одних условиях протестующие упорно выходят на протест раз за разом, а в других — людям надоедает собираться на митинги после двух-трех ходок? Что может дисциплинировать большую толпу и заставить подчиняться общей стратегии? Да и к стратегии есть вопросы. В чем состоял мудрый стратегический план Ленина, который чуть ли не два десятилетия ждал начала мировой войны без всякого прогресса для своей партии и лишь на фоне военных катаклизмов сумел добиться успеха? Увы, Шарп вряд ли ответит на эти вопросы, потому что предлагает в своей книге лишь теоретические банальности без анализа сложных исторических примеров.

Еще один совет Шарпа состоит в том, что следует опасаться переговоров с диктаторами, поскольку они могут заболтать и притормозить протест [Там же: 19–23]. Однако опыт стран Центральной и Восточной Европы, на который автор ссылается, показывает нам иное. Уже польский «круглый стол», с которого, собственно, и началась демократизация, наводит на мысль, что Шарп не понимает важных вещей. А ведь в той или иной форме переговоры с властями велись в разных странах.

Трудно придумать более вредный совет, чем говорить о вреде переговоров с диктаторами. Диктаторы чаще садятся за стол переговоров не потому, что хотят заболтать протест, а потому, что вынуждены идти на уступки. В частности, им бывает выгодно пойти на демократизацию, чтобы победившая революция их потом не подвергла репрессиям. Если у представителей старого режи-

ма при демократизации сохраняются политические права, то затем они могут выигрывать выборы и вновь возвращаться к власти, но уже демократическим путем. Такой вариант выгоден всему обществу, поскольку именно он обеспечивает ненасильственность.

Думается, надо не пугать желающих перемен людей переговорами, а советовать протестующим при любой возможности идти на «круглые столы», стремясь к достижению компромисса. Своевременные проведенные переговоры — важнейшая причина того, почему бархатные революции 1989 года стали именно бархатными.

Притча про обезьян

Но самая главная ошибка Джина Шарпа содержится в его притче про победу обезьян над эксплуатировавшим их стариком [Там же: 24–25]. В этой притче «трудящиеся» вдруг сразу понимают суть эксплуатации и все вместе решаются на протест. В реальной жизни такого никогда не бывает. Сегодняшняя Россия наглядно демонстрирует, что общество состоит из большого числа очень разных групп. У каждой из них есть свои интересы. И поэтому каждая группа в разное время и по разным причинам приходит к протесту (а многие вообще не приходят). Поэтому надежда на то, что все всё поймут разом после хорошего разъяснения, является по-детски наивной. Такие надежды может пробуждать разве что человек, который сам не жил в авторитарной стране и не пытался беседовать там с разными людьми. А ведь практически все свои ключевые советы Шарп основывает на том, что люди вдруг всё поймут и выйдут на массовый протест в таком количестве, при котором диктатура задрожит.

Впрочем, вряд ли Джин Шарп действительно был столь наивен, когда писал свою поверхностную работу. Скорее всего, он понимал сложность про-

тестного движения. Об этом можно судить по отдельным фразам его текста. Беда в том, что маленькая книжка очень плохо написана и не акцентирует внимание на по-настоящему важных вещах, создавая множество иллюзий. Таковы стандартные проблемы большого числа книг, рассчитанных не на вдумчивого читателя, способного хотя бы на неделю-другую погрузиться в изучение сложных процессов, а на активиста, не привыкшего читать и способного сосредоточивать свое внимание на каком-то тексте лишь в течение двух-трех часов. Широким массам для активных действий всегда нужно что-то вроде «Манифеста Коммунистической партии», написанного в середине XIX века Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, или «От диктатуры — к демократии», подготовленной в наше время Джином Шарпом. А ту литературу, которая действительно помогает понять, как реально происходят преобразования в обществе, ученые читают обычно в своем узком кругу.

Более того, книги, подобные той, которую написал Шарп, скорее, дискредитируют массовый протест, поскольку излюбленным занятием разного рода пропагандистов, нанятых представителями власти, становятся рассуждения о том, что революции делаются, мол, по методичкам, присланным из-за рубежа. И поскольку люди, на которых такая пропаганда рассчитана, сами ничего не читают, они думают, будто и впрямь наши проблемы состоят не в том, что народ плохо живет и потому протестует, а в том, что лидеров протеста купила «мировая закулиса».

Ненасильственное сопротивление диктатурам действительно необходимо. В этом Джин Шарп прав. Многие серьезные авторы (см., например, анализ теории Чарльза Тилли в этой главе) показывают, что в долгосрочном периоде без борьбы за свободу эта самая свобода появиться не может. Однако сама книжка Шарпа способна вызвать лишь раз-

очарование, когда люди быстро столкнутся с тем, что организовать ненасильственное сопротивление во многих условиях практически невозможно.

В истории человечества было не так уж много революций (в сравнении, скажем, с войнами). Тем более ненасильственных. И это потому, что революции возможны только при совпадении целого ряда обстоятельств. Изучать объективные условия, при которых это совпадение происходит, гораздо полезнее, чем читать «методички» по организации протеста, где имеется лишь голая схема и толком не отделяются Ливия от Боливии, Словения от Словакии и Латвия от Литвы.

Историческое счетоводство

*Как Вальтер Шайдель просчитал жизнь
человечества давних веков*

А что происходит после революций? Удается ли им хоть в какой-то степени изменить общество? Именно общество, а не только политический истеблишмент, который, естественно, обновляется после любой серьезной встряски. О политических изменениях в той или иной стране после той или иной революции написаны тысячи книг. Но есть ли исследования, выполненные в историко-социологическом ключе? Естественно, есть. Вопрос о последствиях революций, войн, распадов государства и пандемий интересовал, в частности, австрийского историка Вальтера Шайделя, написавшего книгу «Великий уравнитель. Насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия» (М.: АСТ, 2019).

Четыре всадника уравнивания

Главный вывод приводится уже на первых страницах. Автор полагает, что в нормальной ситуации, когда экономика имеет возможность спокойно раз-

виваться, обычно усиливается неравенство. Но бывают ситуации, когда процессы экономического развития и усиления неравенства разворачиваются вспять. «На протяжении записанной истории наиболее основательное уравнивание неизменно становилось следствием самых мощных потрясений, среди которых можно выделить четыре основных категории: война с массовой мобилизацией, трансформационные революции, распад государства и летальные пандемии. Я называю эти разновидности бедствий Четырьмя всадниками уравнивания», — делает вывод Шайдель [Шайдель 2019: 26]. И здесь, конечно, напрашивается аналогия с Четырьмя всадниками Апокалипсиса, появление которых говорит о конце света.

С выводами автора вполне можно согласиться. В истории есть множество примеров, демонстрирующих, что эти бедствия уничтожают так или иначе нажитые людьми богатства. Война перемалывает в хлам все ценности, созданные человечеством, доводя до нищеты как богатых, так и бедных. Революция целенаправленно перераспределяет имущество между преуспевающим меньшинством и широкими народными массами. Распад государства приводит к тому, что бедные, не сдерживаемые законом и правоохранительными органами, сами забирают добро у тех, кто его нажил. А пандемии порой столь сильно сокращают число работников, что оставшиеся в живых потребители вынуждены платить больше за их труд.

Шайдель досконально исследует то, что, в общем-то, представляется очевидным и без специальных научных изысканий. Получив подтверждение своих интуитивных предположений, читатель вполне может остановиться где-то на тридцатой странице книги, насчитывающей в общей сложности более 700 страниц. Но если он не остановится и продолжит внимательно изучать монографию Шайделя, то получит невероятный объем инфор-

мации о неравенстве в разных странах мира в разные эпохи. Вопрос лишь в том, насколько ценной будет эта информация?

В науке тоже бывают веления моды

Дело в том, что в последнее время существует мода на количественные исследования в разных социальных науках. Экономисты гораздо активнее пользуются статистикой чем, скажем, политэкономы XIX века. Социологи постоянно применяют данные массовых опросов для объяснения того, каким нынче является общество. Не обошла эта мода и историческую социологию, стремящуюся рассказать нам о развитии человечества (например, о соотношении равенства и неравенства) на протяжении столетий, а может, даже тысячелетий. Книга Вальтера Шайделя — яркий образец следования этой моде. Автор рассчитывает коэффициент Джини (измеряющий степень, в какой распределение дохода и материальных активов отклоняется от идеального равенства) для самых разных обществ, в том числе и для тех, про которые мы знаем очень мало из-за отсутствия исторических сведений.

В целом трудно не согласиться с тем, что количественные оценки нужны. Если сегодня в отличие от прошлых столетий существует государственная статистика, то ее следует использовать, чтобы делать исследования точнее. Если государство или частные спонсоры нынче способны выделять средства на проведение опросов, то надо с их помощью переходить от интуитивного понимания общества к конкретным представлениям о его структуре. Но здесь скрыты, увы, большие проблемы.

Надо признать, что даже в современной экономике, для которой есть статистические сведения о доходах, искажения могут порой быть чрезвычайно большими. Например, в такой несовершенной хозяйственной системе, как наша российская, весь-

ма велик теневой сектор, где люди скрывают от государства свой труд и, соответственно, свои доходы. Оценить его размеры можно лишь косвенным образом, причем вероятность ошибки весьма велика. Экономисты все время спорят об этом. Шайдель же оценивает в своей книге доходы для обществ далекого прошлого, когда вообще государственной статистики не существовало, а сведения об объемах производства, налогах, доходах и т. д. фиксировались лишь от случая к случаю, причем роль косвенных данных была намного больше, чем роль прямой информации.

В принципе, автор не скрывает спорности своей методологии.

Примерно до 1800 года неравенство в доходах во всем обществе можно оценивать только с помощью социальных таблиц, *грубо обобщенных данных о доходах*, полученных о разных группах населения исследователями того времени или выведенных, пусть часто и *на сомнительных основаниях* (курсив мой. — Д. Т.), учеными более поздней эпохи [Там же: 38].

Итак, мы имеем дело не с фактами, а с грубыми обобщениями и сомнительными основаниями. Именно на этой базе построена большая часть исследования.

Шайдель постоянно пользуется в своей книге такими оборотами, как «согласно некоторым оценкам», «ситуация в такой-то стране неопределенная», «данные для такой-то страны недоступны», «информация о том-то и том-то богатая, но иногда сбивающая с толку», а «в отношении того-то и того-то много вопросов, связанных с качеством записей». Например, подобные обороты встречаются постоянно в размышлениях Шайделя о так называемом долгом XIX столетии. И о Великобритании недостаточно точных данных. И с Италией ситуация столь же неопределенная. И для Фран-

ции с Германией общенациональные данные недоступны. А в Норвегии и Швеции много вопросов, связанных с качеством записей [Там же: 155–164]. И это, подчеркиваю, XIX столетие. Что же говорить о качестве информации об отдаленных веках! Надо признать, что автор провел огромную работу с разного рода сомнительными источниками, но возникает вопрос: стоит ли эта работа затраченного труда и той бумаги, на которой все это опубликовано?

Под видом исторической социологии

Я ни в коей мере не хочу ругать автора и тем более давить на издателей, публикующих подобные исследования. Каждый имеет право исследовать то, что считает нужным (тем более такой признанный специалист, как Вальтер Шайдель), и каждый имеет право покупать те книги, которые считает нужным прочесть. Я только считаю важным обратить внимание читателей на то, какую информацию они получают, глубоко погружаясь в «историческое счетоводство», существующее под видом «исторической социологии». Думается, большая часть оценок коэффициента Джини для далекого прошлого могла бы оказаться совершенно иной, если бы в войнах и пожарах уцелели иные архивы, если бы имелась возможность пользоваться данными для большего числа городов, если бы мы хоть что-то знали про теневую экономику тех давних эпох и т. д. Не следует думать, будто сведения, показывающие картину одного региона в далеком прошлом, репрезентативны для размышлений о стране в целом, или тем более о Европе или, скажем, Китае. Различие местных условий в Средние века или в начале Нового времени было невероятно большим.

Иными словами, мы имеем сегодня не объективные количественные данные (как принято думать в тех случаях, когда исследователи пользуются математикой и приводят различные коэффициенты

с двумя-тремя знаками после запятой), а лишь данные, полученные на основе той информации, которая доступна. Многие наверняка скажут, что лучше иметь такие оценки, чем никаких. Я, честно говоря, в этом не уверен, поскольку иногда неточность оценок может быть столь значительной, что даст нам совершенно искаженное представление о предмете. Тем не менее я все же готов согласиться с полезностью исследований, которые проводят авторы вроде Вальтера Шайделя. Но с одной оговоркой.

Читатель должен быть очень бдителен. Из «цифр» самих по себе не стоит делать никаких выводов. Вообще никаких!!! Надо помнить, что «цифры» могли бы оказаться совершенно иными, если бы история обошлась с исследователями будущих веков более благосклонно и оставила им больше качественных, заслуживающих доверия материалов. Тем не менее, если расчеты всяких коэффициентов выглядят логичными с учетом иной доступной нам информации, их можно принимать во внимание. В случае с книгой Шайделя они подтверждают, как уже говорилось, достаточно очевидный без всяких количественных оценок вывод о влиянии на неравенство войн, революций, пандемий и распадов государства.

Есть, правда, у Шайделя и неочевидный вывод, изложенный на последней странице книги. Он полагает, что сейчас (в отсутствие Четырех всадников) неравенство вновь усиливается и «политика мирных реформ вряд ли способна противостоять грядущим вызовам», а потому люди, желающие большего равенства, должны быть «осторожны в своих желаниях» [Там же: 577]. История показывает, что достигались эти желания отнюдь не мирными реформами.

Данный вывод может показаться нам несколько странным, поскольку социал-демократическая политика 1950–1970-х годов в разных западных странах существенно перераспределила ВВП от богатых к бедным. Шайдель, правда, трактует эту историю

не как следствие мирной государственной политики, а как наследие больших войн, создавших основные условия для перераспределения. Трудно сказать, насколько это действительно так. Влияние Первой и Второй мировых войн на усиление госрегулирования не вызывает сомнения. Но можно ли утверждать, что при отсутствии сильных социалистических и социал-демократических партий, желающих потакать своему избирателю, мир изменился бы столь сильно в XX веке? Мне представляется, что политика выравнивания бывает эффективной и в мирных условиях. А потому нам следует бояться еще и желаний, связанных с осуществлением такой политики. Поскольку эффективное устранение неравенства может обернуться растущей неэффективностью производства.

Библиография

- Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015.
- Аджемоглу Д., Робинсон Д. Узкий коридор. М.: АСТ, 2021.
- Аллен Р. Глобальная экономическая история. Краткое введение. М.: Издательство Института Гайдара, 2013.
- Аллен Р. Британская промышленная революция в глобальной картине мира. М.: Издательство Института Гайдара, 2014.
- Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах. М.: Мысль, 2014.
- Арриги Д. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2006.
- Арриги Д. Адам Смит в Пекине. Что получил в наследство XXI век? М.: Институт общественного проектирования, 2009.
- Боббитт Ф. Щит Ахилла. Война, мир и ход истории. Т. 1. М.: Индивидуум, 2021.
- Валлерстайн И. Мир-система Модерна: в 4 т. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015–2016.
- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- Вебер М. Хозяйство и общество»: в 4 т. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016–2019.
- Вебер Мар. Жизнь и творчество Макса Вебера. М.: РОССПЭН, 2007.
- Вельцель К. Рождение свободы. М.: ВЦИОМ, 2017.
- Гайдар Е. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995.
- Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.
- Гайдар Е. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб.: Норма, 2009.
- Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Дело, 2015.
- Голдстоун Д. Почему Европа? Возвышение Запада в мировой истории, 1500–1850. М.: Издательство Института Гайдара, 2014.

- Голдстоун Д. Революции. Очень краткое введение. М.: Издательство Института Гайдара, 2017.
- Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2021.
- Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь. История человеческих сообществ. М.: АСТ, 2010.
- Заостровцев А. О развитии и отсталости: как экономисты объясняют историю? СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2014.
- Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. М.: Фонд «Либеральная миссия», Новое издательство, 2011.
- Инглхарт Р. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. М.: Мысль, 2018.
- Кеннеди П. Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. Екатеринбург: ГОНZO, 2018.
- Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.
- Коллинз Р. Макроистория. Очерки социологии большой длительности. М.: УРСС; ЛЕНАНД, 2015.
- Коуз Р., Ван Н. Как Китай стал капиталистическим. М.: Новое издательство, 2016.
- Крастев И. Управление недоверием. М.: Европа, 2014.
- Крастев И. После Европы. М.: Дело, 2018.
- Лал Д. Непреднамеренные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики на долгосрочные экономические результаты. М.: ИРИСЭН, 2007.
- Лал Д. Похвала империи. Глобализация и порядок. М.: Новое издательство, 2010.
- Лахман Р. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М.: Территория будущего», 2010.
- Лахман Р. Что такое историческая социология? М.: Дело, 2016.
- Лахман Р. Государства и власть. М.: Дело, 2020.
- Липсет С. М. Политический человек. Социальные основания политики. М.: Мысль, 2016.
- Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках. М.: Территория будущего, 2008.
- Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. Киев, Ника-Центр, 2013.
- Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира. М.: РОССПЭН, 2015.

- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Избранные произведения. Т. 1. М.: ОГИЗ, 1948.
- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1: Процесс производства капитала. М.: Политиздат, 1978.
- Мау В. Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций. М.: Издательство Института Гайдара, 2017.
- Миронов Б. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014–2015.
- Миронов Б. Российская модернизация и революция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019.
- Мокир Д. Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний. М.: Издательство Института Гайдара, 2012.
- Мокир Д. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. М.: Издательство Института Гайдара, 2014.
- Мокир Д. Просвещенная экономика. Великобритания и промышленная революция. 1700–1850 гг. М.: Издательство Института Гайдара, 2017.
- Моррис И. Почему властвует Запад... по крайней мере пока еще. Закономерности истории, и что они сообщают нам о будущем». М.: Карьера-пресс, 2016.
- Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016.
- Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010.
- Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издательство Института Гайдара, 2011.
- Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры. М.: Новое издательство, Библиотека Фонда «Либеральная миссия», 2012.
- Олсон М. Возвышение и упадок народов. М.: Новое издательство, 2013.
- Оппенгеймер Ф. Государство. М: RUSTATE.ORG, 2020.
- Парсонс Т. Система современных обществ». М.: Аспект Пресс, 1997.
- Пинкер С. Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
- Померанц К. Великое расхождение: Китай, Европа и создание современной мировой экономики. М.: Дело, 2017.
- Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017.

- Розенберг Н., Бирдцелл Л. Как Запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. М., Челябинск: ИРИСЭН, Социум, 2015.
- Ростоу В. Стадии экономического роста. Нью-Йорк: Фредерик А. Прегер, 1961.
- Скочпол Т. Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.
- Стародубровская И., Мау В. Великие революции от Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001.
- Тилли Ч. Демократия. М.: Институт общественного проектирования, 2007.
- Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Территория будущего, 2009.
- Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650–2000 гг. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010.
- Тилли Ч. От мобилизации к революции. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019.
- Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация: в 2 кн. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2004.
- Травин Д., Гельман В., Заостровцев А. Российский путь: идеи, интересы, институты, иллюзии. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017.
- Травин Д. «Особый путь» России: от Достоевского до Кончаловского. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2018.
- Травин Д. Крутые горки XXI века. Постмодернизация и проблемы России. 2-е изд. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2019.
- Травин Д. Историческая социология в «Игре престолов». СПб.: Страта, 2020.
- Травин Д. Почему Россия отстала? СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2021.
- Фергюсон Н. Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира. М.: АСТ, 2014.
- Франкопан П. Шелковый путь: дорога тканей, рабов, идей и религий. М.: Эксмо, 2021.
- де Фрис Я. Революция трудолюбия. Потребительское поведение и экономика домохозяйств с 1650 года до наших дней. М.: Дело, 2016.
- Фукуяма Ф. Отставание. М.: Астрель, 2012.
- Фукуяма Ф. Государственный порядок. М.: АСТ, 2015.
- Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка. М.: АСТ, 2017.
- фон Хайек Ф. Конституция свободы. М.: Новое издательство, 2018.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003.

- Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004.
- Харари Ю. Н. 21 урок для XXI века. М.: Сбербанк, 2019а.
- Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М.: Синдбад, 2019б.
- Харари Ю. Н. Sapiens: краткая история человечества. М.: Синдбад, 2020.
- Харрисон Л. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике. М.: Новое издательство, 2008а.
- Харрисон Л. Главная истина либерализма. Как политика может изменить культуру и спасти ее от себя самой. М.: Новое издательство, 2008б.
- Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и конец мультикультурализма. М.: Мысль, 2016.
- Шайдель В. Великий уравнитель. Насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия. М.: АСТ, 2019.
- Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. — 1917–1922 гг. М.: Весь мир, 1997.
- Шанин Т. Неудобный класс: политическая социология крестьянства в развивающемся обществе: Россия, 1910–1925. М.: Дело, 2020.
- Шарп Д. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения. М.: Новое издательство, 2012.
- Эйзенштадт Ш. Революции и преобразования обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект Пресс, 1999.

Научное издание

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ТРАВИН
КАК ГОСУДАРСТВО БОГАТЕЕТ...
Путеводитель
по исторической социологии

Главный редактор издательства ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Научный редактор издательства АРТЕМ СМЕРНОВ
Выпускающий редактор ЕЛЕНА ПОПОВА
Художественное оформление ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ
Корректор ОЛЬГА ЧЕРКАСОВА
Верстка ЯРОСЛАВ АГЕЕВ

Издательство Института Гайдара
125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1



Подписано в печать 17.05.2022
Формат 60×90¹/₁₆. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в филиале «Чеховский печатный двор»
ОАО «Первая образцовая типография»
www.chpd.ru. Факс (496) 726-54-10, (495) 988-63-87
142300, Московская обл., г. Чехов,
ул. Полиграфистов, 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

Спрашивайте в книжных магазинах

МОСКВА

Специализированные магазины деловой книги
«Академия», расположенные в РАНХиГС по адресу:
Москва, проспект Вернадского, 82
+7 (499) 270-29-78
«Москва», Тверская ул., 8; Воздвиженка ул., 4/7, стр. 7
+7 (495) 629-64-83
«Библио-глобус», Мясницкая ул., 6/3, стр. 1
+7 (495) 781-19-00
«Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27, стр. 3,
вход в арке
+7 (495) 629-88-21, +7 (495) 504-47-95
«Фаланстер на Винзаводе» 4-й Сыромятнический пер., 1,
стр. 6
+7 (495) 926-30-42
«Читай Город (Новый Книжный)»
+7 (495) 937-85-81, +7 (499) 177-22-11
«Циолковский», Новая площадь, 3/4
(Здание Политехнического музея), подъезд 7Д
+7 (495) 628-64-42
«Гнозис», Турчанинов пер, 4
+7 (499) 255-77-57
«36'6», ул. Бакунинская, 71, стр. 10
+7 (495) 926-45-44
«Аргумент», Ленинские горы, МГУ, 1, сектор «Б»
+7 (495) 939-42-95
Дом педагогической книги, ул. Большая Дмитровка, 7/5,
стр. 1
+7 (495) 629-43-92
«Ходасевич», ул. Покровка, 6
+7-965-179-34-98
«Гараж», ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
+7 (495) 645-05-21

«Гиперион», Хохловский пер., 7-9, стр. 3
+7-916-613-42-86
«У Кентавра», Миусская площадь, 6, корп. 6
+7 (495) 250-65-46
«Книга Максима», Ленинские горы 1, стр. 51

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

Санкт-Петербургский дом книги, Невский проспект, 28
(дом Зингера)
+7 (812) 448-23-55
«Подписные издания», Литейный просп., 57
+7 (812) 273-50-53
«Порядок слов», наб. реки Фонтанки, 15
+7 (812) 310-50-36
«Все свободны», ул. Некрасова, 23
+7-911-977-40-47
Дом культуры имени Крупской, Проспект Обуховской
обороны, 105
+7 (812) 412-34-78

ЕКАТЕРИНБУРГ:

«Пиотровский», ул. Бориса Ельцина, 3а
(Ельцин-Центр)
+7 (343) 312-43-43
Екатеринбургский дом книги, ул. Антона Валека, 12
+7 (343) 253-50-10
Книжный магазин «Йозеф Кнехт», ул. 8 Марта, 7
(вход с набережной)
+7-909-015-79-68

НОВОСИБИРСК:

«Капиталь», ул. Максима Горького, 78
+7 (383) 223-69-73

КАЗАНЬ:

«Смена», ул. Бурхана Шахиди, 7
+7 (843) 249-50-23

ПЕРМЬ:

«Пиотровский», ул. Ленина, 54
+7 (342) 243-03-51

СТАВРОПОЛЬ:

Князь Мышкин, пр. К. Маркса, 54в
Тел.: +7 (928) 963-94-81

ТОМСК:

Догма 80, пр. Ленина, 85а, 2 этаж, оф. 4

КИЕВ:

«Книжный бум», книжный рынок «Петровка»,
ряд 62, место 8 (павильон «Академкнига»)

Тел.: +380-67-273-50-10

Книжный магазин «Архе»

ул. Максима Берлинского, 14

Тел.: +380-63-134-18-93

МИНСК:

ТЦ «Купаловский», павильоны 7 и 64,

Октябрьская пл., 2

Тел.: +375-29-696-52-87, +375-33-696-52-89

Книги издательства можно приобрести в сетевых книжных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах (о наличии книг в вашем городе можно узнать на сайте магазина):

«Буквоед»

«Книжный лабиринт»

«Новый книжный»

«Читай-Город»

«Семафор»

«Медленные книги»

В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Доставку по всей России осуществляет
интернет-магазин **Wildberries**

Доставку по всему миру осуществляет
интернет-магазин **Ozon**



Институт экономической политики
имени Егора Тимуровича Гайдара —
крупнейший российский научно-иссле-
довательский и учебно-методический центр.

Институт экономической политики был
учрежден Академией народного хозяйства
в 1990 году. С 1992 по 2009 год был известен
как Институт экономики переходного периода,
бессменным руководителем
которого был Е. Т. Гайдар.

В 2010 году по инициативе коллектива
в соответствии с Указом Президента РФ
от 14 мая 2010 г. № 601 институт вернулся
к исходному наименованию и ему было
присвоено имя Е. Т. Гайдара.

Издательство Института Гайдара основано
в 2010 году. Задачей издательства является
публикация отечественных и зарубежных
исследований в области экономических,
социальных и гуманитарных наук, трудов
классиков и современников.